



ЧЕРНЫЙ СТОЛЬ

ЧЕРНЫЙ СТОЛБ

*Сборник
научно-фантастических
повестей
и рассказов*

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ЗНАНИЕ»
Москва
1963

Составитель
К. Андреев

Е. Войскунский, И. Лукодянов

ЧЕРНЫЙ СТОЛБ

Что такое в нас тяжесть? Разве тело наше тянет? Тело наше, милый человек, на весу ничего не значит: сила наша, сила тянет, не тело!

Н. С. Лесков.

НЕ ОБ ИМЕНИ, А О ЧЕЛОВЕКЕ, потому что он вовсе не был героем. Он был самым обыкновенным парнем. Просто на него можно было во всем положиться.

Газеты того времени печатались на бумаге — непрочном, быстро портящемся пластике из древесно-целлюлозной массы. Но есть снятые с них микро. К счастью, сохранился прекрасный очерк о Кравцове (микро № кммА2рк-2681438974), написанный Оловянниковым.

Рассказывать об этом нелегко. Дело в том, что на фоне гигантского события всепланетного масштаба — а Великое Замыкание было именно таким событием — любая попытка рассказать об индивидуальной человеческой судьбе выглядит несколько претенциозной. Вольно или невольно приходится вести речь не о человеке, а о человечестве, ибо одному ему — человечеству — под силу укрощение мировых катастроф.

А человечество в то время было разделено на два лагеря — социалистический и капиталистический. И капиталистический лагерь тогда был еще очень силен, собственнические, расовые, религиозные и тому подобные интересы в нем ставились выше элементарных требований здравого смысла, выше интересов человечества.

Поэтому объединение сил в борьбе с Черным Столбом было трудным не только с точки зрения техники...

И все же мы попытались, насколько это возможно, проследить личную удивительную судьбу Александра Кравцова — активного участника описываемых событий.

Словом, судите сами.

Вы, наверное, видели портрет Александра Кравцова: его помещают во всех учебниках геофизики, в том разделе, где идет речь о Кольце Кравцова. А когда-то этот портрет из номера в номер печатали все газеты мира.

С портрета смотрит молодой парень в распахнутой на груди белой одежде, какую тогда называли «тенниска». В глазах его, прищуренных, должно быть, от яркого солнца, есть что-то детское и в то же время непреклонное. Портрет, в общем-то, не из блестящих: чувствуется, что он получен путем воздействия сфокусированного светового пучка на бромистое серебро, как было принято во второй половине XX века. Такие аппараты можно увидеть в Центральном музее истории техники.

Этот снимок сделал на борту «Фукуока-мару» корреспондент «Известий» Оловяников, и, конечно, он никак не мог предположить, что запечатлел лицо человека, имени которого было суждено остаться в веках.

Но, как это часто бывает, имя заслонило человека.

Спросите первого попавшегося школьника, знает ли он, кто такой Александр Кравцов.

— Кравцов? Ну как же! — ответит мальчишка. — Кольцо Кравцова!

— Я спрашиваю тебя не о Кольце, а о самом Кравдове.

Он наморщит лоб и скажет:

— Ну, это было очень давно. Он сделал что-то героическое во время Великого Замыкания.

«Сделал что-то героическое...»

Так вот. Нужно рассказать этому всезнающему школьнику нашего времени

о самом Кравдове.

Странное состояние — пробуждение от сна! Древние считали, что спящего нельзя неожиданно будить: на время сна душа покидает тело, и пока она не вернется сама, спящий мертв. Но древние ничего не знали об электро-физико-химической деятельности клеток мозга и о свойствах нуклеиновых кислот.

За несколько мгновений проснувшийся человек вспоминает все: кто он такой, где находится, что ушло в прошлое и что предстоит...

Еще не открывая глаз, Кравцов представил себе, что над ним привычный с детства беленый потолок с лепной розеткой в середине. Потом, все еще не открывая глаз, он понял, что розетка находится за двенадцать тысяч километров отсюда, а здесь над ним — узкие доски, крашенные белой эмалью, а по ним бродят, переливаются отблески океанской зыби. Он вспомнил все и с неудовольствием открыл глаза.

Будет жаркий день с неподвижным воздухом. Будут споры с Уиллом. Да, сегодня у них русский день: они будут разговаривать только по-русски. Он, Кравцов, будет готовить еду по своему усмотрению. Чем бы отплатить Уиллу за вчерашний омлет, политый кислым вареньем из крыжовника?

Он надел защитные очки, вышел на палубу, взглянул на полуоткрытую дверь каюты Уилла. Оттуда доносилось жужжание электробритвы: старый педант скорее отдаст себя на завтрак акулам, чем появится утром с небритой физиономией. Что до Кравцова, то он уже второй месяц ходит небритый. Все равно на триста миль окрест ни одной живой души. Но дело даже не в этом. Кравцов знал, что его реденькая коричневая борода раздражает Уилла, а это доставляло ему не то что радость, а... ну, развлекало его, что ли.

— Доброе утро, Уилл, — сказал Кравцов. — Что бы вы хотели на завтрак?

— Доброе утро, — раздался за дверью ворчливый голос. — Вы очень внимательны, благодарю вас.

Кравцов хмыкнул и пошел на камбуз. В раздумье постоял перед холодильником, затем решительно направился к полкам и взял жестянку с гречневой крупой. Гречневая каша на завтрак — как раз то, чего Уилл терпеть не мог.

Пока попевала каша, Кравцов обошел плот. Это заняло

с полчаса: круглый плот имел пятьсот метров в диаметре. Он был неподвижен, хотя и не стоял на якорях: здесь, над глубочайшей океанской впадиной, якорная стоянка была невозможна.

Шесть мощных гребных винтов удерживали плот на месте: три винта — правого вращения, три — левого. Спущенные за борт датчики непрерывно сообщали электронно-вычислительной машине все, что надо, о ветре, волне и течении. Машина непрерывно обрабатывала эти сведения и давала команду на приводы винтов.

Винты второй группы — тоже шесть — стояли вертикально под плотом. Они противодействовали крену и качке. Как бы ни бесновался океан — Кравцов и Уилл дважды убеждались в этом, — плот оставался почти неподвижным; его дрейф не превышал ста метров, и колонна труб, проходившая сквозь плот до дна океанской впадины, отклонялась от вертикали меньше, чем на один градус.

Самые высокие волны не достигали края палубы, поднятой на тридцатиметровую высоту. Только ветер изредка швырял на нее клочья пены, сорванной с гребней штормовых волн.

Сегодня, как всегда, все было в порядке. Атомный котел исправно грел воду, опресненную ионообменными агрегатами, пар исправно вращал роторы турбин. Генераторы электростанции работали на минимальном режиме, потому что океан был тихим, оправдывая свое старинное название. Излишки энергии шли на побочное дело — электролиз серебра, содержащегося в океанской воде, что в какой-то степени оправдывало немалые расходы Международного геофизического центра.

Автоматика работала безотказно, не требовала вмешательства людей. Кравцов поглядел на синюю океанскую равнину, мягко освещенную утренним солнцем. Первое время у него дух захватывало от этой величественной картины. Теперь океан вызывал у него только скуку, больше ничего.

«Двадцать семь дней до конца вахты», — подумал он и поскреб бородку под левым ухом — новая, приобретенная привычка.

Кравцов прошел к центру плота, где возвышалась стопятидесятиметровая буровая вышка, посмотрел на ленту в окошке самописца. Взгляд его стал внимательным: за минувший день слабина талевого каната увеличилась на

пятнадцать миллиметров. Еще вчера они с Уиллом заметили, что канат чуть-чуть свободнее обычного, но не придали этому значения. Но пятнадцать миллиметров за сутки?..

Уилл плескался в «бассейне» — небольшом участке океана, огороженном противоакульей сеткой. Ровно в четверть восьмого он вылезет из лифта, отфыркается и скажет: «Сегодня очень теплая вода». В сухопаром теле Уилла сидела точная часовая пружина, заведенная раз навсегда.

Кравцов положил в кашу масло, посолил ее, заварил чай и вышел из камбуза в тот самый момент, когда Уилл поднялся на палубу. Кравцов вяло отсалютовал ему рукой, Уилл кивнул, стянул с головы белую резиновую шапочку, согнал ладонями воду с загорелого тела и сказал:

— Сегодня очень теплая вода.

— Кто бы мог подумать, — буркнул Кравцов.

Они завтракали под навесом. Уилл словно бы и не заметил гречневой каши. Он надрезал булку, зарядил ее толстым ломтем ветчины и налил себе в стакан чаю и рома.

— Напрасно вы не едите кашу, — сказал Кравцов.

— Спасибо. В другой раз, — спокойно ответил Уилл. — Как вы спали?

— Плохо. Меня мучили кошмары.

— Не читайте на ночь журналов на испанском.

— Лучше заниматься испанским, чем лепить из пластилина отвратительных гномов.

— Да, — сказал Уилл, отхлебывая чай с ромом. — Мне пока не удастся вылепить вас. Может быть, потому, что я не совсем ясно представляю себе вашу духовную сущность.

— Духовная сущность? — Кравцов, ухмыльнувшись, посмотрел на короткий седоватый ежик Уилла. — Хотите, расскажу сказку? Заяц спросил у оленя: «Зачем ты носишь на голове такую тяжесть?» — «Как зачем? — отвечает олень. — Для красоты, конечно. Терпеть не могу тех, кто ходит с пустой головой». Заяц обиделся и говорит: «Зато у меня богатый внутренний мир».

— Теперь я расскажу, — сказал Уилл, окутываясь дымом. — Один ирландец попал в лапы к медведю. «Вы хотите меня съесть?» — спросил он. Медведь сказал: «Да, я вас съем». Ирландец говорит: «Но как вы будете есть меня без вики?» Медведь был очень самолюбив, не хотел при-

знать, что не знает, что такое вила. Думал, думал и говорит: «Да, вы правы». И отпустил ирландца.

— Это все?

— Да, это все.

Кравцов хмыкнул.

— Слабина каната — пятнадцать миллиметров, — сказал он, помолчав.

Уилл выколотил пепел из трубки и сплюнул в ящик с песком.

— Полезем вниз, парень. — С этими словами он встал и неторопливо направился к вышке.

Кравцов поплелся за ним, глядя на его крепкие волосатые ноги и аккуратную складку на светло-зеленых шортах.

Они отвалили тяжелую крышку люка в палубе и спустились под пол буровой вышки. Здесь было темно и душно. Кравцов включил свет.

Перед ними был верхний край обсадной колонны, увенчанный набором превентеров*, сквозь которые уходила вверх бурильная труба.

Уилл постоял в раздумье, потом залез на верхний фланец, вытащил линейку и замерил расстояние до подроторных брусьев.

— Ну, что вы обнаружили? — спросил Кравцов.

Уилл спрыгнул вниз, снова осмотрел превентеры, забормотал себе под нос:

На литерхедском берегу
В засаде Мак-Дугал.
Шесть дюймов стали в грудь врагу
Отмерит мой кинжал...

— Ну и что? — Кравцов начал терять терпение.

— А то, что я сам устанавливал эти превентеры шесть лет назад. И будь я проклят, если обсадная колонна не поднялась на добрых шесть дюймов!

— Вы твердо помните, как было, Уилл?

Уилл промолчал. Он не отвечал на такие вопросы.

* Модная задвижка для герметизации всякой скважины или кольцевого пространства между бурильными и обсадными трубами на случай выброса подземных газов.

Шесть лет назад по решению очередного МГГ — Международного геофизического года — здесь, в океанской впадине, было начато бурение сверхглубокой скважины для изучения состава Земли. Все страны-участницы внесли свой вклад в сооружение плавучего основания. Четыре бригады бурильщиков, отобранных международной комиссией, обосновались на плоту. Все они были опытными морскими нефтяниками, но бурить на глубину пятьдесят километров приходилось впервые. Правда, океанская впадина сэкономила свыше десяти километров, но и сорок километров — не шутка.

Буровому инструменту впервые предстояло войти в подкорковую оболочку Земли — загадочную мантию. Здесь, под океанским дном, слой Мохоровичича — зона изменения свойств — ближе всего подходила к поверхности планеты.

Для проходки скважины были применены новейшие достижения мировой техники. Металлические обсадные трубы из особо прочного сплава не опускались до забоя; они проходили сквозь толщу океанской воды и углублялись в донный грунт всего на несколько километров. Дальше стенки скважины не укреплялись металлом: термopлазменный способ бурения, сжигавший породу до газообразного состояния, одновременно оплавлял стенки и делал их прочными, герметичными, предохраняя от обвалов и наглухо перекрывая встречные водоносные пласты.

Сквозь этот колодез уходили в неизведанную глубину бурильные трубы. Они не соединялись, как обычно, резьбовыми замками. Высокочастотный сварочный автомат сваривал их между собой почти мгновенно во время спуска колонны. А при подъеме трубы разрезались на стыках автоматическим плазменным резакom.

Если бы вся скважина бурилась термopлазменным способом, то проходка была бы закончена сравнительно быстро, «с одного захода». Но целью было не само бурение, а последовательное взятие образцов породы из всех встреченных пластов. Поэтому приходилось то и дело переходить на старинное вращательное бурение с промывкой забоя утяжеленным глинистым раствором: только медлительное колонковое долото могло выгрызть алмазными зубами керн — образец породы в неискаженном природном состоя-

нии, с ясно различимым углом падения пласта, с сохранением естественной пористости, насыщения и множеством других важных для геологов показателей.

Подчас приходилось прибегать не только к электробурам и турбобурам, но и к роторному бурению, вращая всю огромную колонну труб. Пользоваться ротором на таких глубинах удавалось только потому, что бурильные трубы были изготовлены из нового, специально разработанного легкого и прочного сплава.

Святилищем пласта был «керносклад» — помещение, где на нумерованных стеллажах, в полукруглых лотках лежали керны — длинные цилиндрические столбики породы, выбуренные колонковым долотом. Хранилище занимало добрую половину средней палубы пласта. Там же помещалась лаборатория для исследования образцов: некоторые сведения надо было получать немедленно, сразу после подъема керна на поверхность. Потом образцы консервировались до дальнейших исследований — заливались раствором, быстро полимеризовавшимся в прозрачную пластмассу.

Много раз подымалась бурильная колонна, и геологи медленно читали — буква за буквой — удивительную повесть недр и ломали головы над ее загадками.

На сорок втором километре бурение внезапно застыло. Там, внизу, стотысячеградусная плазма — электронно-ядерный газ — бушевала, билась о забой. Стрелки приборов ушли вправо до упоров, ничего не помогало: плазменная бурильная головка, не знавшая до сих пор преград, встретила на своем пути неодолимое препятствие.

Решили поднять трубы и осмотреть головку, но трубы не поддавались: что-то непонятное держало их в скважине.

Именно тогда один из буровых мастеров, бакинец Али-Овсад Рагимов, сказал фразу, ставшую впоследствии знаменитой:

— Ни туда, ни сюда не хочет, совсем как карабахский ишак.

Несколько недель бились бурильщики, пытаясь сломить сопротивление породы или поднять гигантскую колонну труб. Лучшие геологи мира спорили в кают-компаниях плавающего острова о непонятном явлении. Тщетно. Скважина, уходившая в немислимую глубину, не собиралась выдавать людям свою тайну.

10 И тогда президиум МГГ решил прекратить работы. Круг-

лый плот опустел. Стих разноязычный говор, не приста-вали к причалу транспорты с гематитом, глиной и поверх-ностно-активными веществами для бурильного раствора. Улетели ученые. Опустел керносклад — образцы вывезли для окончательных исследований.

Геологическая комиссия МГГ держала на плоту трехме-сячные вахты. Вначале вахта состояла из двух буровых бригад. Но шли годы, и вахта постепенно сократилась до двух человек — инженеров по бурению.

Так продолжалось почти шесть лет. Каждое утро вах-тенные инженеры запускали лебедку, пытаясь поднять трубы. Каждое утро проверяли натяжение талевых кана-тов. И неизменно в вахтенном журнале появлялась за-пись — на всех языках она всегда означала одно: «Трубы не идут».

«Карабахский ишак» продолжал упорствовать.

Саша Кравцов был еще студентом, когда началось буре-ние сверхглубокой скважины. Его чубатая голова была на-бита уймой сведений об этом небывалом бурении, вычитан-ных из специальных журналов и услышанных от очевид-цев. Кравцов мечтал попасть на круглый плот в океане, но вместо этого, окончив институт, получил назначение на Нефтяные Камни — морской нефтепромысел на Каспии. Там он проработал несколько лет. И вдруг, когда все уже и думать позабыли о заброшенной скважине, Кравцов был назначен на трехмесячную вахту в океане.

Он обрадовался, узнав, что его напарником будет Уилл Макферсон — один из ветеранов скважины. Первое время и впрямь было интересно: шотландец, попыхивая трубкой, смешивая английские и русские слова, рассказывал о «сверхкипящей» воде двенадцатого километра и о чер-ных песках восемнадцатого — песках, которые не подда-вались колонковому буру и за два часа «съедали» алмаз-ную головку. Посмеиваясь, Уилл вспоминал, как темпера-ментный геолог чилиец Брамалья бесновался, требуя во что бы то ни стало добыть с забоя не менее восьми тонн черного песка, и даже молился, испрашивая у бога немед-ленной помощи...

И еще рассказывал Уилл о страшной вибрации и чудо-вищных давлениях, о странных бактериях, населявших бо-гатые метаном пласты тридцать седьмого километра, о грозных газовых выбросах, о пожаре, который был заду-шен ценой отчаянных усилий...

Шотландец не любил повторяться, и когда его рассказы иссякали, Кравцову стало скучно. Выяснилось, что во всем, кроме морского бурения, их взгляды были диаметрально противоположны. Это значительно усложняло жизнь. Они вежливо спорили о всякой всячине — от способов определения вязкости глинистого раствора до сравнительного психоанализа русской и английской души.

— Ни черта вы не понимаете в англичанах, — спокойно говорил Уилл. — Для вас англичанин — смесь из Семюэля Пиквика, полковника Лоуренса и Сомса Форсайта.

— Неправда! — восклицал Кравцов. — Это вы не понимаете русских. Мы в вашем представлении — нечто среднее между братьями Карамазовыми и мастером Али-Овсадом.

Кравцов бесился, когда Уилл рассуждал о вычитанных у Достоевского свойствах загадочной русской души, где добро и зло якобы чередуются параллельными пластами, как глина и песок в нефтеносных свитах. Кравцов усмехался, когда Уилл вспоминал мастера Али-Овсада с его изумительным чутьем земных недр. Однажды шотландец рассказал, как на двадцать втором километре произошел необъясненный до сих пор обрыв труб. В скважину опустили фотокамеру, чтобы по снимкам определить характер излома. Пленка оказалась засвеченной, несмотря на сильную защиту от радиоактивности. Тогда мастер Али-Овсад тряхнул стариной. Он спустил в скважину на трубах «печать» — свинцовую болванку, осторожно подвел ее к оборванному концу бурильной колонны и прижал «печать» к излому. Когда печать подняли и она повисла над устьем скважины, Али-Овсад, задрав голову, долго изучал вмятины на свинце. Потом, руководствуясь оттиском, он собственноручно отковал «счастливый крючок» замысловатой формы, отвел этим крючком трубу от стенки скважины к центру и, наконец, поймал ее мощным захватом — глубинным овершотом.

— Ваш Али-Овсад — истинный ойлдриллер *, — говорил Уилл. — Он хорошо видит под землей. Лучшего специалиста по ликвидации аварий я не встречал.

Шотландец неплохо говорил по-русски, но с азербайджанским акцентом — следствие близкого знакомства с Али-Овсадом. Он вставлял в речь фразы вроде: «отды-

хай-мотдыхай — такое слово не знаю, иди буровой работа работай». Он вспоминал русское, по его мнению, национальное блюдо, которое Али-Овсад по выходным дням собственноручно готовил из бараньих кишок и которое называлось «джыз-быз».

Кравцов знал Али-Овсада по Нефтяным Камням, и формулы типа «отдыхай-мотдыхай — такое слово не знаю» были ему достаточно хорошо известны.

Любовь к морскому бурению и уважение к мастеру Али-Овсаду были, пожалуй, единственными пунктами, объединявшими Кравцова и Уилла.

3

Прошли еще сутки. Индикаторы показали, что обе колонны труб — бурильная и обсадная — поднялись вверх еще на двадцать миллиметров. Поднять бурильную колонну с помощью лебедки не удавалось по-прежнему. Было похоже, что земля потихоньку выталкивает трубы из своих недр, но произвести эту работу человеку не позволяет.

Уилл заметно оживился. Напевая шотландские песенки, он часами торчал под полом буровой вышки, у превентеров, возился с магнитографом, что-то записывал.

— Послушайте, Уилл, — сказал Кравцов за ужином. — По-моему, надо радировать в центр.

— Понимаю, парень, — откликнулся Уилл, подливая рому в чай. — Вы хотите заказать свежие журналы на испанском.

— Бросьте шутить.

— Бросьте шутить, — медленно повторил шотландец. — Странное выражение, по-английски так не скажешь.

— Повторяю по-английски, — подавляя закипающее раздражение, сказал Кравцов: — надо радировать в центр. В скважине что-то происходит.

Утром они запросили внеочередной сеанс связи и доложили Геологической комиссии МГТ о странном самоподъеме труб.

— Продолжайте наблюдать, — ответил далекий голос вице-председателя комиссии. — Ведь вам не требуется срочной помощи, Уилл?

— Пока не требуется.

— Вот и хорошо. У нас, видите ли, серьезные затруднения на перуанском побережье. Новая военная хунта препятствует бурению.

— Советую вам свергнуть ее поскорее.

— Ценю ваш юмор, Уилл. Привет Кравцову. Всего хорошего, Уилл.

Инженеры вышли из радиорубки, и духота полудня схватила их влажными липкими лапами. Кравцов поскреб бородку, сказал:

— Черт бы побрал военные хунты.

— Не все ли равно? — Уилл вытер платком шею. — Лишь бы они не мешали работать ученым и инженерам.

— Мир состоит не только из ученых и инженеров.

— Это меня не касается. Я не интересуюсь политикой. Смешно на вас смотреть, когда вы со всех ног кидаетесь к приемнику слушать последние известия.

— А вы не смотрите, — посоветовал Кравцов. — Я же не смотрю на вас, когда вы лепите женские фигуры и плотоядно улыбаетесь при этом.

— Гм... Мои улыбки вас не касаются.

— Безусловно. Так же, как и вас мои броски к приемнику.

— Вы проверили канат?

— Да, я выбрал слабинку. Послушайте, Уилл, какого дьявола вы согласились на вахту здесь? Вы, с вашим опытом, могли бы бурить сейчас...

— Здесь хорошо платят, — отрезал шотландец и полез в люк.

4

А трубы продолжали ползти вверх. Утром шестого дня Кравцов заглянул в окошко самописца — и глазам своим не поверил: полтора метра за сутки!

— Если так пойдет, — сказал он, — то обсадная колонна скоро упрется в ротор.

— Очень возможно. — Уилл, свежевыбритый, в синих плавках, вышел из своей каюты.

— Вы будете купаться? — хмуро спросил Кравцов.

— Да, обязательно.— Уилл натянул на голову шапочку, и пошел к бортовому лифту.

Кравцов спустился в люк. Превентеры лезли вверх прямо на глазах. «Придется вынуть вкладыши из ротора, чтобы превентеры могли пройти сквозь него»,— подумал он и принялся отсоединять трубы гидравлического управления.

Тут заявился Уилл, от него пахло морской свежестью.

— Сегодня очень теплая вода,— сказал он.— Ну, что вы тут делаете, парень?

Они освободили превентеры от подводки, сняли с них все выступающие части и поднялись наверх.

— Ничего не понимаю,— сказал Кравцов.— Ну ладно, самоподъем бурильных труб. Невероятно, но факт. Но ведь низ обсадной колонны сидит в грунте намертво. А она тоже лезет вверх. Дьявольщина какая-то. Не сегодня — завтра верх обсадки с превентерами пожелует сюда.

— Придется срезать верхние бурильные трубы,— сказал Уилл.

Кравцов задрал бороденку и, щуря глаза за стеклами очков, посмотрел на талевый блок. В последние дни они много раз выбирали слабины канатов, и теперь талевый блок оказался вздернутым чуть ли не до самого «фонаря» вышки. Подойдя к пульту, Кравцов взглянул на стрелку указателя.

— Только девять метров запаса,— сказал он.— Да, придется резать.

Уилл встал у клавиатуры пульта. Взвыл на пуске главный двигатель, мягко загудели шестерни редукторов мощной лебедки: Уилл дал натяжку бурильным трубам. Затем он тронул пальцами одну и другую клавиши. Из станины автомата выдвинулся длинный кронштейн с плазменным резаком и приник к трубе. За синим бронестеклом из вольфрамового наконечника со свистом вырвалось тонкое жало струи электронно-ядерного газа. Автомат быстро обернул резак вокруг бурильной трубы, пламя погасло с легким хлопком, и кронштейн ушел назад.

Отрезанная восьмидесятиметровая «свеча» бурильных труб плавно качнулась на крюке, автомат-верховой отвел ее в сторону и опустил на «подсвечник» — будто пробирку в штатив поставил.

Освободившийся крюк с автоматическим захватом-спайдером быстро пошел вниз. Там, наверху, он казался немногим больше рыболовного крючка, теперь же, спустив-

шись, занял чуть ли не все пространство между металлическими ногами вышки.

Спайдер сомкнул стальные челюсти вокруг оставшегося внизу конца бурильной колонны. Уилл включил подъем, «подергал» трубу — на всякий случай. Нет, скважина не отпускала колонну, трубы не поддавались, как и прежде.

Больше делать было нечего. Кравцов уселся в шезлонг под навесом и уткнулся в журнал на испанском. Ветерок приятно обвевал его тело. Уилл снял ленту с магнитографа и, насвистывая, рассматривал запись.

Кравцов поднял голову.

— Что это может быть, Уилл? Скважина будто взбесилась...

— А что мы вообще знаем о земных недрах? — голос Уилла прозвучал необычно резко. — Мы знаем, да и то прескверно, лишь тонкий слой бумаги, наклеенный на глобус.

«Неплохо сказано», — подумал Кравцов.

— Если бы человечество не тратило столько сил и средств на вооружение...

— Что вы сказали?

— Это я так, про себя, — устало проговорил Кравцов. — Мы бы сумели многое сделать, если бы сообща, всем миром...

— Никогда этого не будет, — перебил его Уилл.

— Будет. Обязательно будет.

— Человечество, о котором вы любите рассуждать, более склонно к драке, чем к научным изысканиям.

— Не человечество, Уилл, а отдельные...

— Знаю, знаю. Вы мне уже объясняли: монополисты. Меня это не касается, будь оно проклято.

Впервые Кравцов видел шотландца таким возбужденным.

— Ладно, оставим это, — сказал он, вытягивая длинные загорелые ноги. — Но почему трубы прут вверх? Может быть, подъем морского дна? Какие-нибудь подводные толчки...

Уилл отбросил ленту и что-то отметил в блокноте.

— Вы мне лучше скажите, почему намагничиваются трубы, — проворчал он.

— Намагничиваются? — Кравцов недоуменно вздернул брови. — Вы уверены?

Уилл не ответил.

— Но этот сплав не может намагничиваться...

— Знаю. Но факт есть факт. Вот вам график ежедневных замеров за два месяца.— Он протянул Кравцову раскрытый блокнот.

Кравцов считал возню шотландца с магнитографом причудой. Но теперь, посмотрев на аккуратный график, он поразился. Намагниченность труб, ничем себя не обнаруживавшая прежде, внезапно возникла две недели назад и заметно увеличивалась с каждым днем. В целом она была очень слабенькая, но ведь ей не полагалось быть вовсе...

— Вы хотите сказать, Уилл...

— Я хочу сказать, что надо идти обедать.

5

Кравцов проснулся от завывания ветра. Было еще очень рано, рассвет только начинал подсвечивать густой мрак ночи. Ветер врывается сквозь распахнутые иллюминаторы в каюту, раскачивает шторы, шелестит страницами журналов на столе. Он был прохладный и влажный, пахнул далекой московской осенью, и Кравцову стало тревожно и сладко.

«Скоро конец вахты»,— подумал он и вдруг вспомнил то, что происходило в последние дни на плоту. Дремотная размягченность мигом слетела с Кравцова.

Он оделся и вышел из каюты. Буровая была освещена. Что там делает Уилл в такую рань? Кравцов быстро пошел к вышке. Он слышал, как посвистывает ветер в ее металлических переплетах, слышал, как рокочет океан, разбуженный начинающимся штормом. В темном небе не видно было ни луны, ни звезд.

Кравцов взбежал на мостки буровой. Там, возле устья скважины, стоял шотландец.

— Что случилось, Уилл?

Но он уже и сам увидел, что случилось. Превентеры медленно поднимались сквозь восьмиугольное отверстие ротора, освобожденное от вкладышей. Они лезли вверх прямо на глазах, выносимые обсадной колонной,— дикое, непонятное, небывалое зрелище...

— Придется снять превентеры, — сказал Уилл.

— Не опасно, Уилл? А вдруг газовый выброс...

— Надо их снять, пока они здесь. Когда их унесет наверх, снимать будет трудней.

Они принялись орудовать электрическими гайковертами, освободили массивный фланец и сняли превентер, подцепив его к крюку вспомогательной лебедки. Так же отсоединили они второй и третий превентеры. Когда они возились с последним, он был уже на уровне груди: обсадная колонна продолжала лезть вверх, выталкиваемая таинственной силой.

Правда, она лезла не так быстро, как бурильная колонна, — та уже здорово поднялась, метров на сорок над устьем, но что будет дальше? Что будет, когда она вылезет еще и закроет собой бурильные трубы? Резать? Но автомат плазменного резака рассчитан только на восьмидюймовую бурильную трубу, он не сможет обернуться вокруг двадцатидюймовой обсадной. Да и кому могло прийти в голову, что обсадная колонна вздумает вылезать из скважины?..

Кравцов поскреб бородку, сказал:

— Что сделал бы на нашем месте Али-Овсад?

— То же, что сделаем мы, — ответил Уилл.

Они взглянули друг другу в глаза.

— Спустить в бурильную колонну труборезку? — спросил Кравцов.

— Не успеем. Скорость все время возрастает. Да и не справимся вдвоем. Будем рвать бурильные трубы.

Такие решения принимают лишь в самых крайних случаях. Но тут и был самый крайний случай. Им не справиться с обеими колоннами труб, ведь их скорость все время прибывает. Да, только это и остается: тянуть бурильную колонну, пока она не порвется где-нибудь в глубине, а затем как можно быстрее вытягивать и резать автоматом оборванную плетть. После этого останется только борьба с обсадной колонной.

Снова легли пальцы Уилла на клавиатуру пульта. Взвыл главный двигатель, загудели шестерни редукторов. Поскрипывали, вытягиваясь под страшной нагрузкой, талевые канаты, — жутковато становилось от этого скрипа. Ветер, налетая порывами, путался в туго натянутых канатах, высвистывая пиратскую песню. Стрелка индикатора нагрузки, дрожа, подползла к красной черте. Молча смотрели инже-

неры на стрелку — и вдруг они услышали слабый щелчок. Звук донесся из глубины по длинному телу колонны. Стрелка резко качнулась влево: теперь на крюке висело только десять тысяч триста метров труб.

— Порвали! — радостно воскликнул Кравцов. — Включайте резак.

Крюк продолжал вытягивать из скважины оторванную плетть бурильных труб. Уилл уравнил скорость резака со скоростью подъема, и кронштейн пополз вверх по штанге рядом с трубой, и синее пламя плазмы опоясало трубу. Пока автомат-верховой отводил отрезанную свечу, резак съехал вниз и снова приник к трубе, и так они отрезали свечу за свечой, и резак ходил вверх-вниз, вверх-вниз.

Уже давно рассвело, припустил и перестал дождь, и ветер гнал низко над океаном стада бурых туч.

Потом обсадная колонна вылезла настолько, что мешала резать бурильную. Пришлось заняться ею. Кравцов снял плазменный резак с кронштейна автомата и, держа его в руках, принялся кромсать шершавое, облепленное морскими раковинами тело обсадной трубы, пока не срезал его «под корень». И снова заходил вверх-вниз автомат.

Незаметно текли часы, наступил вечер.

Наконец они закончили эту дьявольскую работу: вся оборванная плетть бурильных труб была вытянута и порезана и расставлена на подсвечнике.

Кравцов поплелся варить кофе. Когда он вышел из камбуза с подносом в руках, Уилл корчился в шезлонге, держась за сердце.

— Нитроглицерин, — прохрипел он. — В стенном шкафу, верхняя полка... Слева...

Кравцов кинулся в каюту Уилла, схватил стеклянную трубочку. Уилл положил под язык две белые горошины.

— Ну, лучше вам? — встревоженно спросил Кравцов.

Уилл кивнул.

Кравцов напоил его кофе и поспешил в радиорубку. Только в одиннадцатом часу вечера ему удалось связаться с центром.

— Да, да! Срочно! — кричал он. — Не менее двух бригад! И врача!.. Что? Да, врача, у Макферсона приступ...

Уилл выхватил у него микрофон.

— Не надо врача, — сказал он ровным голосом. — Четыре аварийные бригады — полный круг — поскорее.

Моросил дождь, и океан был беспокоен.

Кравцов ничего не замечал. Всю ночь он резал обсадные трубы и не заметил, как наступило серое утро. Лишь два раза он позволил себе сделать передышку, чтобы проведать Уилла. Шотландец лежал у себя в каюте без сна.

— Какая скорость? — чуть слышно спрашивал он.

— Четыре метра в минуту, — отвечал Кравцов, беспокойно глядя на него. — Как вы тут? Не лучше?

— Резак, — шептал Уилл. — Резак исправен?

— Исправен. — Кравцов пожал плечами. — Ну, ладно, постарайтесь поспать, Уилл. Пойду.

Плазменный резак работал исправно, только вот руки ныли от его тяжести. Трубы лезли из скважины все быстрее. Кравцов еле успевал цеплять обрезки труб на крюк вспомогательного подъемника.

Кончился аргон, и ему пришлось бежать на склад, грунты на тележку новые баллоны. Он провозился там с полчаса, и, когда он подъехал на тележке по рельсовому пути к буровой, обсадная колонна подбиралась уже чуть ли не к самому кронблоку.

Кравцов переключил управление с главного пульта на пульт лифта и поднялся наверх. С трудом ему удалось сменить восьмидюймовый спайдер на двадцатидюймовый. Затем, когда спайдер двинулся вниз, навстречу трубе, и, лязгнув, обхватил мертвой хваткой ее верхний край, Кравцов отрегулировал скорость подъема, спустился вниз и включил резак.

Он перерезал трубу — рез пошел косо — и оттянул вспомогательным подъемником ее конец, подвел под него тележку.

Несколько осторожных манипуляций — и стодвадцатиметровая плеть легла на мостки по ту сторону вышки.

Теперь над устьем скважины возвышался, как пенёк срубленного дерева, трехметровый обреза. Пока он дойдет до верха, есть немного времени.

Надо напоить Уилла чаем.

Сутулясь и сдва передвигая ноги, Кравцов побрел к каюте шотландца.

Он стянул рукавицы и вытер ими лицо, мокрое от пота и дождя. Голова слегка кружилась от усталости, а может

быть, оттого, что он, в сущности, целые сутки ничего не ел.

Уилла в каюте не было.

Дверь камбуза была распахнута. Кравцов побежал туда. Ну, конечно, торчит у плиты, помешивает ложкой в кастрюле...

— Какого дьявола вы возитесь тут? — заорал Кравцов, не помня себя от ярости. — Сейчас же ложитесь!

— Гречневая каша, — тихо сказал Уилл. — Я не представляю себе, что она так медленно разваривается.

Кравцов помолчал, глядя на синие круги под глазами шотландца.

— Ложитесь, — повторил он. — Я сам доварю ее.

— Вам следовало стать тюремным надзирателем, а не горным инженером, — проворчал Уилл и вышел на веранду.

Кравцов снял с плиты чайник и налил чаю Уиллу и себе. Он сделал несколько глотков — и поставил кружку на стол. Отсюда, с веранды, было видно, как ползла внутри вышки обсадная колонна, скорость ее заметно возросла.

Кравцов побежал к вышке. Но, когда он включил резак, вместо острого синего жала высокотемпературной плазмы вспыхнуло широкое, ленивое, коптящее пламя.

Кравцов выругался и отошел с резаком назад под яркий свет лампы, чтобы посмотреть, в чем дело. Но едва он сделал пять шагов, как резак в его руках исправно выбросил плазму.

Что еще за новости?..

Он поспешил к трубе, наставил резак, но плазма опять превратилась в простой огонь. Кравцов нервно крутил ручки вентиляей, дергал шланги — ничто не помогало.

— Я ожидал этого, — раздался голос за его спиной.

— Послушайте, Уилл, если вы сейчас же не ляжете...

— Потушите резак, он не будет работать.

— Почему?

— Самоподъем ускоряется, и магнитное поле колонны возросло. Ионизатор резака вблизи скважины отказывает. Нейтрализация, понимаете?

— Что же делать? — Кравцов выключил резак и швырнул его на палубу.

— На складе есть газовые горелки.

— Старье, — пробормотал Кравцов.

— Другого выхода нет. Надо резать.

Они взобрались на тележку и поехали в склад. Баллоны с газами пришлось вытаскивать из дальнего, заставленного разным инвентарем угла. Уилл вдруг глухо застонал, сел на ящик. Кравцов оставил баллон, подбежал к шотландцу.

— Ничего... Сейчас... — Уилл трясущейся рукой вынул из кармана стеклянную трубочку, положил под язык белые горошины. — Сейчас пройдет. Поезжайте...

Кравцов погнал нагруженную тележку к буровой. Лихорадочно, до крови сбивая суставы пальцев, он вталкивал баллоны в гнезда ramпы, навертывал соединительные гайки.

Газовая резка шла куда медленнее. Нескончаемо тянулось время, и нескончаемо тянулись из устья скважины новые и новые метры трубы.

Семь метров в минуту!

Он кромсал трубу как попало и уже не оттаскивал отрезанные куски, только отскакивал, когда они с грохотом рушились на мостки. Гудело, не переставая, голубое пламя, и горелка дрожала в его руках, и резы шли вкривь и вкось.

Час прошел? Или сутки? Время остановилось. Гудящее пламя — и грохот отваливающихся кусков труб. Больше ничего. И еще только одна мысль в оступевшем мозгу: «Сам ее добыю... Сам...»

Он не видел, как припелся Уилл и стал следить за давлением, переключая ramпу с пустых баллонов на полные.

Он не слышал рокота воздушных моторов. Не видел, как возле плота сел на беспокойную воду белый гидросамолет и как надувные красные шлюпки с людьми в брезентовых плащах направились, прыгая на волнах, к причалу.

Чья-то тяжелая рука опустилась на его плечо.

— Убирайтесь! — рявкнул он из последних сил и дернулся.

Рука отпустила плечо, но не исчезла. Она выхватила у Кравцова горелку, а другая рука мягко отстранила его.

Кравцов поднял голову и тупо уставился на жесткое, в морщинах, лицо с черными усиками над губой.

— Али-Овсад?.. — проговорил он, с трудом ворочая языком.

В те дни во многих газетах мира появились сообщения собственных корреспондентов из Манилы, Джакарты и Токио, подхваченные затем провинциальными газетами.

«Вести с Тихого океана: ожила двадцатитысячфутовая скважина, заброшенная еще во время прошлого МГГ». (*«Нью-Йорк геральд трибюн»*).

«Загадочное явление природы. Недра выталкивают бурильные трубы из сверхглубокой скважины». (*«Таймс»*).

«Подвиг советского инженера. Сутки напряженной борьбы на плавучем острове в Тихом океане». (*«Известия»*).

«Мастер Али-Овсад приходит на помощь». (*«Бакинский рабочий»*).

«Схватка русского и шотландца с морским дьяволом». (*«Стокгольм тиднинген»*).

«Кара господня за дерзкое проникновение в глубь Земли». (*«Оссерваторе Романо»*).

«Мы встревожены: это опять около нас». (*«Ниппон таймс»*).

«Настало время вешать ученых и цветных». (*«Джорджия он сандей»*).

Кравцов посмотрел на индикатор и, сморщившись, поскреб шею под левым ухом. Бороду он сбрил сегодня утром, но привычка осталась. Десять метров в минуту... Скоро вся обсадная колонна выползет наружу...

Четыре бригады, сменяясь, резали и резали трубы, еле справлялись с бешеным темпом подъема. Плот был завален кусками труб; автокран непрерывно грузил их в самосвалы, а у причала трубы перегружались в трюмы транспортного судна под голландским флагом. Это судно было по радио зафрахтовано президиумом МГГ в Маниле. Туда же, в Манилу, срочно прилетели два представителя Геологической комиссии МГГ, и судно, приняв их на борт, форсированным ходом направилось к плоту. Сразу по его прибытии началась погрузка.

К Кравцову вразвалочку подошел мастер Али-Овсад. Жесткая, дубленая ветрами и зноем кожа его лица лоснилась от пота.

— Жалко,— сказал он.

— Да, жарко,— рассеянно отозвался Кравцов.

— Я говорю: жалко. Такой хороший труба — очень жалко.— Али-Овсад поцокал языком.— Джим! — крикнул он белобрысому долговязому парню в кожаных шортах.— Давай сюда!

Джим Паркинсон прыгнул с мостков и пошел по трубам, размахивая длинными руками. Несмотря на свою молодость, Джим был одним из лучших монтажников тexasских нефтяных промыслов. Он остановился, балансируя на трубе, и с улыбкой посмотрел на Али-Овсада. Тень от зеленого целлулоидного козырька падала на его узкое лицо, челюсть ритмично двигалась, пережевывая резинку.

Али-Овсад указал ему на крюк вспомогательного подъемника.

— Люльку подвешивай, билирсен *? Свои ребята-автогенщик в люльку сажай, поднимай рядом с трубой. Такая же скорость, как труба лезет, да? — Али-Овсад показал руками, как поднимается колонна труб, а рядом с ней люлька.— Лифт! Ап! Билирсен?

Кравцов хотел было перевести это на английский, но оказалось, что Джим прекрасно понял Али-Овсада. Он выплюнул резиновый комок, удачно попав между своими ботинками и ботинками Али-Овсада, и сказал:

— О'кэй!

Затем он нагнулся, дружелюбно хлопнул бакинца по плечу и добавил:

— Али-Офсайт — карашо!

И, хохотнув, пошел отдавать распоряжения своим парням.

Через четверть часа люлька, подхваченная крюком подъемника, поползла вверх рядом с обсадной колонной. Здоровенный черный румын из подсмешной бригады оглушительно свистнул и заорал:

— Давай, давай!

Техасец-газорезчик выглянул из люльки и, ослабившись, оттопырил вверх большой палец. Затем он выставил, как ружье, горелку и впилился огнем в серое тело трубы.

Около семи часов вечера представитель Геологической комиссии чилиец Брамутья созвал в кают-компании совещание.

— Сеньоры, прошу высказываться.— Он залпом осушил стакан холодного лимонада и откинул жирный торс на спинку плетеного кресла.— Уилл, не угодно ли вам?

Уилл, несколько оправившийся после приступа, сидел рядом с Кравцовым и листал свой блокнот.

— Пусть вначале мой коллега Кравцов сообщит результаты последних замеров,— сказал он негромко.

— Да, пожалуйста, сеньор Кравцов.

— Скорость самоподъема — одиннадцать метров в минуту,— сказал Кравцов.— По моим подсчетам, при наблюдаемом нарастании скорости обсадная колонна примерно через четыре часа будет полностью вытолкнута из грунта. Ее нижний край повиснет над дном океана...

— Позвольте, молодой человек,— перебил его сухонький австриец Штамм, единственный из всех обитателей плота при галстукке, в пиджаке и брюках.— Вы употребили выражение «вытолкнута». Если так, то низ колонны никак не может «повиснуть», как вы изволили выразиться. Его, очевидно, будет подпирать то, что вытолкнуло его, не так ли?

— Пожалуй...— Кравцов слегка опешил.— Просто я не так выразился... Теперь о бурильной колонне. Вы знаете, что мы оборвали ее на глубине, но она, несомненно, тоже ползет вверх. По моим подсчетам, ее верхний край находится сейчас на глубине около семи тысяч метров, то есть он поднимается внутри обсадной колонны, в той ее части, которая находится в толще воды.— Кравцов говорил медленно, тщательно подбирая слова.— К шести часам утра можно ожидать появления бурильной колонны над устьем скважины. Я предлагаю...

— Позвольте,— раздался дребезжащий голос Штамма.— Прежде чем перейти к предложениям, следует кое-что уточнить. Считаете ли вы, господин Кравцов, что вместе с обсадной колонной выталкивается и искусственная обсадка, иначе говоря, оплавленная порода стенок скважины, которая служит как бы продолжением обсадной колонны?

— Не знаю,— неуверенно произнес Кравцов. Он немного робел перед Штаммом, чем-то австриец напоминал ему

школьного учителя географии.— Я, строго говоря, не геолог, а всего лишь бурильщик...

— Вы не знаете,— констатировал Штамм.— Пожалуйста, продолжайте.

— Наши газорезчики...— Кравцов прокашлялся.— Газорезчики уже сейчас с трудом управляются. Что же будет, когда трубы попрут... извините, полезут еще быстрее? Я предлагаю срочно радировать в центр, чтобы на плот доставили фотоквантовый нож. У нас в Москве есть прекрасная установка — ФКН-6А. Она мгновенно режет материал какой угодно прочности.

— ФКН-6А,— повторил Брамунья и покивал головой.— Да, это мысль.— Он влил в свою глотку еще стакан лимонада.— Почему вы замолчали?

— У меня все,— сказал Кравцов.

— Сеньор Макферсон?

— Да,— оговорился Уилл.— Мое мнение таково. Скважина прошла в какую-то трещину мантии. Неизвестное вещество, сжатое огромным давлением до пластичного состояния, нашло выход и выталкивает колонну...

— Позвольте,— вмешался Штамм.— Господа, нужна какая-то последовательность. Я возвращаюсь к вопросу об искусственной обсадке. Считаете ли вы...

— Не думаю, мистер Штамм, что стенки скважины могут быть столь сильно разрушены,— сдержанно сказал Уилл.

— Вы не думаете,— резюмировал австриец.— А я думаю, что надо немедленно спустить телекамеру и посмотреть, что происходит с грунтом. Телекамера на плоту имеется, не так ли? Пока мы будем ее опускать, обсадная колонна выйдет из грунта, и мы увидим, как ведет себя искусственная обсадка. Я удивлен, господин Макферсон, что вы не предприняли спуска телекамеры с самого начала явления. Прошу вас, продолжайте.

— Да, насчет камеры — моя оплошность, согласен,— сказал Уилл.— Вещество, которое выдавливает трубы, обладает магнитными свойствами. Я проводил измерения с начала вахты и убедился: трубы намагничены. Минуточку,— повысил он голос, видя, что австриец открыл рот.— Я предвижу ваш вопрос. Да, трубы сделаны из немагнитного сплава, но тем не менее это факт: они намагничены. Их магнитное поле нейтрализует ионизатор плазменного резака. Прошу ознакомиться со сводным графиком моих наблюдений.

Штамм поспешно надел очки и склонился над графиком. Брамуля, шумно отдуваясь и оттопыривая толстые губы, смотрел через его плечо. Али-Овсад подставил Кравцову волосатое ухо, и тот, понизив голос, переводил ему слова Уилла. Выслушав до конца, Али-Овсад задумчиво поковырял мизинцем в ухе. Старый мастер, на своем веку основательно издырявивший землю буровыми скважинами, был озадачен.

— Хотите что-нибудь сказать, сеньор Али-Овсад? — спросил Брамуля, и Кравцов перевел мастеру его вопрос.

— Что сказать? Бурение-мурение — это я, конечно, немножко понимаю, — нараспев ответил Али-Овсад. — А такую породу, честное слово, никогда не встречал. Давай подождем, это вещество наверх пойдет — тогда посмотрим.

Штамм поднял голову от графика.

— Ждать нельзя ни в коем случае. Неизвестно, что произошло в недрах. Извержение обсадки может вызвать сильные толчки. После спуска телекамеры предлагаю эвакуировать всех на голландский транспорт.

— Ну уж нет! — вскричал Кравцов. — Простите, мистер Штамм, но я поддерживаю Али-Овсада: надо подождать, посмотреть, что последует за выбросом труб. Надо получить информацию!

— Согласен, — кивнул Уилл. — Приборы здесь, уходить нельзя.

Теперь все посмотрели на Брамую — за ним осталось последнее слово. Толстяк-чилиец размышлял, поглаживая себя по лысой голове.

— Сеньоры, — сказал он наконец. — Вопрос, насколько я понимаю, стоит так: есть ли прямая опасность? Ответить трудно, сеньоры, поскольку мы столкнулись с непонятным природным явлением. Но я привык подходить к подобным вопросам как сейсмолог. Мне кажется, коллега Штамм, что с сейсмической точки зрения непосредственной опасности нет... Карамба! — воскликнул он вдруг, посмотрев в окно. — Что это такое?

Из устья скважины ползла вверх серая обсадная колонна, а на ней, обхватив ее руками и ногами, висел человек в синей кепке и синем комбинезоне. Монтажники, стоявшие внизу, свистели и орали ему вслед. Из люльки, поднимавшейся рядом с колонной, свесился газорезчик и тоже что-то кричал в совершенном восторге.

— Это ваш парень, Джим? — встревоженно спросил Брамутья.

Паркинсон, хладнокровно жевавший резинку, мотнул головой.

— Это мой бурильщик Чулков-Мулков немножко хулиганит, — сказал Али-Овсад и, выйдя из каюты, вразвалку пошел по обрезкам труб к вышке.

Все последовали за ним.

— Чулков-Мулков? — переспросил Брамутья.

— Да нет, просто Чулков, — усмехнулся Кравцов.

Али-Овсад прокричал что-то вверх. Автогенщик в люльке, повинуясь команде мастера, перерезал колонну метрах в двух ниже висящего Чулкова. Обрезок трубы с Чулковым медленно опустился на крюке.

— Прыгай! — крикнул Али-Овсад.

Чулков рывком оторвался от трубы, упал на четвереньки и сразу поднялся, потирая колени. Его круглое, мальчишеское лицо было бледно, светлые глаза смотрели ошалело.

— Зачем хулиганишь? — грозно сказал Али-Овсад.

— С ребятами поспорил, — пробормотал Чулков, озираясь и нища взглядом кепку, слетевшую при прыжке.

Из толпы бурильщиков выдвинулся коренастый американец с головой, повязанной пестрой косынкой. Ухмыляясь, он протянул Чулкову зажигалку с замысловатыми цветными вензелями.

— Не надо, — сказал Чулков и отвел его руку.

Брамутья обратился к бурильщикам с краткой речью, и бригады, посмеиваясь, вернулись к работе. Инцидент был исчерпан.

И только Кравцов заметил, что у Чулкова дрожали руки.

— Что это у вас с руками? — тихо спросил он парня.

— Ничего, — ответил Чулков. И вдруг, подняв на ниже-нера растерянный взгляд, сказал: — Труба притягивает, Александр Витальич...

— То есть как?

— Притягивает, — повторил Чулков. — Не очень сильно, правда... Будто она магнит, а я железный...

Кравцов поспешил в кают-компанию, где Брамутья заканчивал совещание.

— Эвакуировать плот пока не будем, — говорил чилиец. Он вдруг засмеялся и добавил: — С такими отчаянными парнями нам ничего не страшно.

Штамм пригладал жесткой щеткой льняные волосы и направился к лебедке телекамеры, бормоча под нос что-то о русской и чилийской беспечности.

Под навесом Кравцов отозвал Уилла в сторонку и сообщил ему о том, что услышал от Чулкова.

— Вот как? — сказал Уилл.

10

Уже четвертый час шел спуск телекамеры. Кабель-трос сматывался с огромного барабана глубоководной лебедки и, огибая блок на конце решетчатой стрелы, уходил в черную воду. Полуголый монтажник из бригады Али-Овсада дымил у борта сигаретой, изредка поглядывая на указатель глубины спуска.

Подошел Али-Овсад.

— Папиросу курят, когда гулять идут, — сказал он строго. — Рука на тормозе держи.

— Ничего не случится, мастер, — добродушно отозвался монтажник и щелчком отправил сигарету за борт. — Кругом автоматика.

— Автоматика сама по себе, ты сам по себе.

Для порядка старый мастер обошел лебедку, пощупал ладонью, не греются ли подшипники.

— Интересно, в Баку сейчас сколько времени, — сказал он и, не дожидаясь ответа, направился в каюту телеприемника.

Там у мерцающего экрана сидели Штамм, Брамалья и Кравцов.

— Ну, как? — Кравцов сонно помигал на вошедшего.

— Очень глубокое море, — печально сказал Али-Овсад. — Еще полчаса надо ждать. Или час, — добавил он, подумав.

В дверь просунулась голова вахтенного радиста.

— Кравцов здесь? Вызывает Москва. Быстро!

Кравцов выскочил на веранду.

Плот был ярко освещен прожекторами, лязгали трубы у автокрана, слышался разноязычный говор. Кравцов помчался в радиорубку.

— Алло!

Сквозь шорохи и потрескивания — далекий, родной, взволнованный голос:

— Саша, здравствуй! Ты слышишь, Саша?

— Маринка? Привет! Да, да, слышу! Как ты дозвони...

— Саш, что у вас там случилось? О тебе пишут в газетах, я очень, очень тревожусь...

— У нас все в порядке, не тревожься, родная!.. Черт, что за музыка мешает... Маринка, как ты поживаешь, как Вовка, как мама? Маринка, слышишь?

— Да, да, мешает музыка... У нас все хорошо! Саша, ты здоров? Правду говори...

— Абсолютно! Как Вовка там?

— Вовка уже ходит, бегает даже. Ой, он до смешного похож на тебя!

— Уже бегает? — Кравцов счастливо засмеялся. — Ай да Вовка. Ты его поцелуй за меня, ладно?

— Ладно! Тут пришли твои журналы на испанском, переслать тебе?

— Пока не надо! Много очень работы, пока не посылай.

— Саша, а что все-таки случилось? Почему трубы ползают?

— А шут их знает!

— Что? Кто знает?

— Никто пока не знает. Как у тебя в школе?

— Ой, ты знаешь, очень трудные десятые классы. А вообще — хорошо! Сашенька, меня тут торопят...

Монотонный голос на английском языке произнес:

— Плот МГГ. Плот МГГ. Вызывает Лондон.

— Марина! Марина! — закричал Кравцов. — Марина!

Радист тронул его за плечо. Кравцов положил трубку на стол и вышел.

Белый свет прожекторов. Гудящее, осыпающее искры пламя горелок. Палуба, заваленная обрезками труб. И вокруг — черный океан воды и неба. Душная, влажная ночь вокруг...

Кравцов, прыгая с трубы на трубу, пошел к вышке. Работала бригада Джима Паркинсона.

— Как дела, Джим?

— Неважно. — Джим отпрянул в сторону: со звоном упал отрезанный кусок трубы. Он откатил его и посмотрел

на Кравцова.— Как бы вышку не разнесло. Прислушайтесь, сэр.

Кравцов уже и сам слышал смутный гул и ощущал под ногами вибрацию.

— Вода стала горячей,— продолжал Паркинсон.— Ребята полезли купаться и сразу выскочили. Сорок градусов на поверхности — не меньше.

У Кравцова еще звучал в ушах высокий голос Марины. «О тебе пишут в газетах...» Интересно, что там понаписали? «Я очень тревожусь...» Я и сам тревожусь. Приближается что-то непонятное, грозное...

В каюте Уилла горел свет. Кравцов постучал в приоткрытую дверь и услышал ворчливый голос:

— Войдите.

Уилл, в расстегнутой белой рубашке и шортах, сидел за столом над своими графиками. Он указал на кресло, придвинул к Кравцову сигареты.

— Как телекамера? — спросил он.

— Скоро. Уилл, я разговаривал с Москвой.

— Жена?

— Жена. Оказывается, о нас пишут в газетах.

Шотландец презрительно хмыкнул.

— А у вас, Уилл, есть семья? Вы никогда не говорили.

— У меня есть сын,— ответил Уилл после долгой паузы.

Кравцов взял со стола фигурку, вылепленную из зеленого пластилина. Это был олень с большими ветвистыми рогами.

— Я был с вами немного невежлив,— сказав Кравцов, вертя оленя в руках.— Помните, я накричал на вас...

Уилл сделал рукой короткий жест.

— Хотите, расскажу вам short story *? — Он повернул к Кравцову утомленное лицо, провел ладонью по седоватому ежику волос.— В Ирландии, в горах, есть ущелье, оно называется Педди Блек. В этом ущелье самое вежливое эхо в мире. Если там крикнуть: «Как поживаете, Педди Блек?», то эхо немедленно ответит: «Очень хорошо, благодарю вас, сэр».

— К чему вы это?

— Просто так. Вспомнилось.— Уилл повернул голову к открытой двери.— В чем дело? Почему все стихло у вышки?

* Короткая история (англ.).

Бригада Паркинсона толпилась на краю мостков буровой.

— Почему не режете, Джим? — осведомился Уилл.

— Посмотрите сами.

Обсадная колонна была неподвижна.

— Вот так штука! — изумился Кравцов. — Неужели кончился самоподъем?..

Тут труба дрогнула и вдруг подскочила вверх и сразу упала до прежнего положения, даже ниже. Плот основательно трянуло: автоматический привод гребных винтов не успел среагировать.

Опять дернулась обсадная колонна — вверх, вниз, и еще рывок, и еще, без определенного ритма. Палуба заходила под ногами, по ней с грохотом перекатывались обрезки труб.

— Берегите ноги! — крикнул Кравцов. — Крепите все, что можно!

Из жилых помещений выбегали монтажники отдохавших бригад. Уилл и Кравцов бросились в каюту телеприемника. Там Брамалья сидел, чуть ли не уперев нос в экран, а рядом стояли Штамм и Али-Овсад.

— Обсадная труба скачет! — выпалил Кравцов, переводя дух.

— Я предупреждал, — ответил Штамм. — Смотрите, что делается с грунтом.

На экране телеприемника передвигалось и сыпалось что-то серое. Изображение исчезло, потом возникла мрачноватая картина пустынного и неровного океанского дна — и снова все задвигалось на экране. Видимо, телекамера медленно крутилась там, в глубине.

Теперь Кравцов разглядел: над грунтом высилась гора обломков, она шевелилась, росла и опадала, по ее склонам скатывались камни — не быстро, как на суше, а плавно, как бы нехотя.

Штамм слегка повернул рукоятку. Экран замутился, а потом вдруг резко проступила в левом верхнем углу труба...

— *Tubo de entubaction* *! — воскликнул Брамалья.

Труба на экране вылядела соломинкой. Она качнулась,

под ней вспучилась груда обломков, опять все замутилось, и тут же плот трянуло так, что Брамалья упал со стула.

Кравцов помог ему подняться.

— Мадонна... Сант-Яго... — пробормотал чилиец, отдуваясь.

— Я предупреждал, — раздался голос Штамма. — Искусственная обсадка выбрасывается из скважины вместе с породой, нижний конец обсадной колонны танцует на горе обломков. Неизвестно, что будет дальше. Надо срочно эвакуировать плот.

— Нет, — сказал Уилл. — Надо поднимать обсадную колонну на крюке. Как можно быстрее.

— Правильно, — поддержал Кравцов. — Тогда она перестанет плясать.

— Это опасно! — запротестовал Штамм. — Я не могу дать согласия...

— Опасно, когда человек неосторожный, — сказал Али-Овсад. — Я сам смотреть буду.

Все взглянули на Брамалью.

— Поднимайте колонну, — сказал чилиец. — Поднимайте и режьте. Только поскорее, ради всех святых...

Плот трясло, как в лихорадке.

Али-Овсад встал у пульта главного двигателя, крюк пошел вверх, вытягивая обсадную колонну. Поскрипывали тросы, гудело голубое пламя.

— Давай, давай! — покрикивал Али-Овсад, зорко следя за подъемом. — Мало осталось!

Отрезанные куски трубы рушились на мостки. И вскоре, когда колонна была достаточно высоко поднята над грунтом, тряска на плоту прекратилась.

А потом — над океаном уже сияло синее утро — из скважины полезли бурильные трубы, выталкиваемые загадочной силой. Плазменный резак не действовал, как и прежде, газовый резал медленно. Но теперь можно было установить горелку на автомат круговой резки. Автомат полз вверх на одной скорости с трубой, режущая головка шла по кольцевой направляющей вокруг трубы. Закончив рез, автомат съезжал вниз и снова полз рядом с трубой...

Но скорость самоподъема росла и росла, автомат уже не поспевал, резы получались косые, по винтовой линии. Пришлось остановить автомат и резать вручную, сидя в люльке, подвешенной к крюку вспомогательного подъемника.

Газорезчики часто сменялись, их изматывал бешеный темп работы, да и дни стояли жаркие. Транспорт с трюмами, набитыми трубами, ушел, но палуба вокруг буровой уже снова была завалена обрезками труб.

На всю жизнь запомнились людям эти дни, заполненные раскаленным солнцем, сумасшедшей работой, влажными испарениями океана, и эти ночи в свете прожекторов, в голубых вспышках газового пламени.

На всю жизнь запомнился хрипавый голос Али-Овсада — боевой клич:

— Давай, давай, мало осталось!

12

Гидросамолет прилетел на рассвете. С немалым трудом переправили на плот ящики с фотоквантовой установкой ФКН-6А.

Кравцов полистал инструкцию. Да, установка была ему знакома, она проста в употреблении, но, кажется, пускать ее в ход уже поздно...

Двести метров бурильных труб осталось в скважине. Сто пятьдесят...

Али-Овсад велел снять люльку: опасно висеть наверху, когда лезут последние трубы.

Сто двадцать... Восемьдесят...

Восток полыхал красным рассветным огнем, но никто не замечал этого, плот по-прежнему был залит резким белым светом прожекторов. Рабочие всех четырех бригад заканчивали расчистку прохода от обрезков труб. Это Брамудья так распорядился: возле буровой дежурил открытый «газик», чтобы, в случае опасности, вахтенные газорезчики могли быстро отъехать к краю плота.

Теперь у скважины остались четверо: два газорезчика, Кравцов и Али-Овсад.

Шестьдесят метров...

Плот вздрогнул. Будто снизу поддели его плечом и встряхнули.

— Тушить резаки! В машину! — скомандовал Кравцов.

Он повел машину по проходу к краю плота и затормозил возле навеса, и тут трянуло снова. Кравцов и остальные

выпрыгнули из машины, лица у всех были серые. В середине плота загрохотало, заскрежетало. Последние трубы, похныавшись почти до кронблока, рухнули, в общем грохоте казалось, что они падали бесшумно.

Что-то кричал Брамуля, схватив Уилла за руку, а Штамм стоял рядом в своем пиджаке, неподвижный, как памятник.

Грохот немного стих. Несколько мгновений напряженного ожидания—и все увидели, как ротор, сорванный с фундаментной рамы, приподнялся и сполз вбок. Треск! Толстенная стальная рама лопнула, рваные концы балок отогнулись кверху. Вспучилась палуба под вышкой. Повалил пар, повеяло жаром.

В разодранном устье скважины показалось нечто черное, закругленное. Черный купол рос, взламывая настил. Вырос в полусферу... Еще несколько минут — и стало ясно, что внутри вышки поднимается толстый цилиндрический столб, закругленный сверху.

Кравцов смотрел на него остановившимся взглядом. Время шло незаметно. Черный столб уперся верхушкой в кронблок вышки. Со звоном лопнули ее длинные ноги у основания.

Али-Овсад вдруг сорвался с места, пошел к вышке. Кравцов кинулся за ним, схватил за плечи, потянул назад.

— Вышку сорвало! — заорал Али-Овсад. И вдруг, поняв бессмысленность своего невольного движения, горестно махнул рукой.

Черный столб полз и полз вверх, унося на себе, как детскую игрушку, стопятидесятиметровую вышку.

13

Теперь плот был пронзен насквозь гигантским столбом. Вытолкнув из скважины трубы и пройдя толщу океанской воды, столб черной свечой вздымался к небу, рос неудержимо.

Люди на плоту оправились после первого потрясения. Толстяк Брамуля быстро прошествовал в радиорубку. Кравцов подошел к Уиллу, спросил отрывисто:

— Попробуем резать?

Уилл, прислонясь спиной к бортовому ограждению, смотрел на столб в сильный бинокль.

— Будь я проклят, — сказал он, — будь я проклят, если его можно перерезать. — Он протянул бинокль Кравцову.

Столб имел в диаметре метров пятнадцать. Его черная поверхность матово поблескивала в свете прожекторов. Из каких глубин вымахнул этот столб, покрытый стекловидной коркой оплавленных минералов? Из какого вещества он состоит?

— Надо что-то делать, — сказал Кравцов. — Если он будет так быстро расти, он не выдержит своей тяжести, обломится, и наш плот...

— Наш плот! — проворчал Уилл. — Не валяйте дурака, парень. Брамалья связался с президиумом МГГ, международные бухгалтеры уже списывают наш плот к чертовой матери.

— Почему это я валяю дурака? — Кравцов насупился.

— Не знаю, почему. Вы что, не понимаете? Плот — чепуха. Грозит опасность побольше.

— Что вы имеете в виду?

Уилл не ответил. Он повернулся и пошел в радиорубку.

— Я могу вообще с вами не разговаривать! — запальчиво крикнул Кравцов ему вслед.

Дохнуло жаром. Кравцов расстегнул мокрую рубашку. Изумленно смотрел он на бегущую тускло-черную поверхность. «Ну и пусть! — думал он. — Пусть они что хотят, то и делают. В конце концов, это не мое дело. Моя специальность — бурение скважин. Черт, он уже до неба достает. Не выдержит собственной тяжести, рухнет же... Ну и пусть... Мне-то что... Я не ученый, я инженер, мое дело бурить, а не...»

Али-Овсад, стоявший рядом, взял бинокль у него из рук и посмотрел на столб.

— Наверно, он железный, — сказал Али-Овсад. — Надо его резать. Наверно, хорошая сталь — зачем пропадает? Резать надо. Иди спроси Брамальяна.

— Кого, кого?

— Ты что, Брамальяна не знаешь?

Из радиорубки вышли Штамм и Брамалья. Австрийский геолог вытирал платком лицо и шею, он позволил себе расстегнуть пиджак на одну пуговицу. Уилл говорил ему что-то, австриец упрямо мотал головой, не соглашался.

Кравцов подошел к ним и, прервав разговор, сказал самым официальным тоном, на какой только был способен:

— Господин Брамалья, я считаю необходимым немедленно начать резать столб.

Чилиец повернул к нему потное рыхлое лицо, глаза у него были, как две черные сливы.

— Чем? — выкрикнул он. — Чем, я спрашиваю, вы будете резать? Если плазменный резак не берет даже трубы...

— ФКН срежет его как бритвой, — сказал Кравцов. — Я готов немедленно приступить к...

— Он готов приступить! Вы слышали, Штамм? Он готов полезть в это дьявольское пекло! Я не разрешаю приближаться к столбу!

— Господин Кравцов, — ровным голосом сказал Штамм, — пока не будет выяснена природа явления, мы не имеем права рисковать...

— Но для выяснения природы явления надо хотя бы иметь образец вещества, не так ли?

Зной становился нестерпимым, палуба вибрировала под ногами, у Брамальи дрожал тройной подбородок. Бурильщики из всех четырех бригад жались к бортовому ограждению, не слышно было обычных шуток и смеха, многие прислушивались к разговору геологов и инженеров.

— У меня раскалывается голова! Я не могу держать людей здесь, на плоту. Я не знаю, что будет дальше! — Брамалья говорил беспрерывно, так ему было немного легче. — Мадонна, где «Фукуока-мару»? Почему эти японцы вечно запаздывают? Почему все должно было свалиться на голову Мигеля Брамальи!

— Он свалится, — резко сказал Кравцов. — Он обязательно свалится на вашу голову, сеньор Брамалья, если вы будете причитать вместо того, чтобы действовать.

— Что вы от меня хотите? — закричал Брамалья, выкапывая глаза из орбит.

— У нас есть жаростойкие костюмы. Разрешите мне...

— Не разрешаю!

Несколько секунд они молча смотрели друг на друга.

Тут подошел долговязый Джим Паркинсон, голый по пояс. Он притронулся кончиком пальца к целлулоидному козырьку.

— Сэр, — сказал он Кравцову, — я хотел, чтобы вы знали. Если вам разрешат резать эту чертову свечку, то я к вашим услугам.

Рослый румын выдвинулся из-за плеча Джима, гулко кашаянул и сказал на ломаном русском, что и он готов и его ребята тоже.

— Они все посходили с ума! — вскричал Брамутья. — Штамм, что вы скажете им в ответ?

— Я скажу, что элементарные правила безопасности требуют соблюдать крайнюю осторожность. — Штамм отступил еще одну пуговицу.

— А вы, Макферсон? Почему вы молчите, ради всех святых?!

— Можно попробовать, — сказал Уилл, глядя в сторону. — Может быть, удастся отхватить кусочек для анализа.

— А кто будет отвечать, если...

— Насколько я понимаю, вы их не посылаете, Брамутья. Они вызвались добровольно.

И Брамутья сдался.

— Попробуйте, сеньор Кравцов, — сказал он, страдальчески вздернув брови. — Попробуйте. Только, умоляю вас, будьте осторожны.

— Я буду крайне осторожен. — Кравцов, повеселев, зашагал к складу.

За ним увязался Али-Овсад.

— Ай балам *, куда бежишь?

— Буду резать столб!

— Я с тобой.

Мастер смотрел, как Кравцов расшвыривает на стеллажах склада спецодежду и инструмент, и приговаривал нараспев:

— Ты еще молодо-ой. Мама-папа здесь не-ет. Профсоюз здесь не-ет. Кроме Али-Овсад за тобой смотреть — не-ет...

14

Пятеро в жароупорных скафандрах медленно шли к середине плота. Грубая стеклоткань топорщилась и гремела, как жесть. Они шли, толкая перед собой тележку с фотоквантовой установкой, тележка мирно катилась по рельсам. Кравцов сквозь стекло герметичного шлема в упор смотрел на приближающийся столб.

* Сыночек (азерб.).

«Пускай у него температура триста градусов,— размышлял он.— Ну, пятьсот. Больше — вряд ли, его здорово охлаждает толща воды, сквозь которую он прет... Конечно, фотоквантовый луч должен взять. Обязательно возьмет... Перерезать бы... Нет, нельзя: неизвестно, как он упадет... Но кусочек мы от него отхватим».

Вблизи столба рваные стальные листы палубы коржились, ходили под ногами. Кравцов жестом велел товарищам остановиться. Завороженно они смотрели на бегущую тускло-черную оплавленную поверхность. Столб то суживался, и тогда вокруг него образовывался промежуток, куда свободно мог провалиться человек, то вдруг разбухал, подхватывал рваные края настила и, скрежеща, отгибал их кверху.

— Устанавливайте,— сказал Кравцов, и ларингофон, прижатый к горлу, донес его голос в шлемофоны товарищей.

Чулков, Джим Паркинсон и рослый румын по имени Георги сняли с тележки моток проводов, размотали водяные шланги охлаждения и подвели их к палубному стояку. Затем они осторожно приблизились метров на десять к столбу, закрепили направляющую штангу на треноге и подключили провода.

Кравцов встал у пульта рубинового концентратора.

— Внимание — включаю! — крикнул он.

Прибор показал, что излучатель выбросил невидимую тончайшую нить света страшной, концентрированной силы.

Но столб по-прежнему бежал вверх, его черная оплавленная поверхность была неуязвима, только клочья пара за клубились еще сильнее.

Кравцов подскочил к монтажникам и сам схватился за рукоятку излучателя. Он повел луч наискось по столбу. Черное вещество не поддавалось. Было похоже, что луч токнул в нем или... или искривлялся.

— Попробуем ближе, сэр,— сказал Джим.

Кравцов выключил установку. Он был зол, очень зол.

— Придвигайте! — крикнул он. — На метр.

— Очень близко не надо,— сказал Али-Овсад.

Монтажники подтащили треногу поближе к столбу, палуба шевелилась у них под ногами, и вдруг Чулков, стоявший впереди, вскрикнул и, раскинув руки, пошел к рваному краю скважины. Он шел заплетающимися шагами прямо на столб. Джим кинулся за ним, обхватил обеими

руками. Несколько мгновений они странно барахтались, будто балансируя на канате, тут подоспел Георги, он схватился за Джима, а Кравцов — за Георги, а за Кравцова — Али-Овсад. Точь-в-точь как в детской игре... Пятясь, они оттащили Чулкова, и Чулков повалился на палубу — сел, подогнув под себя ноги, ноги его не держали...

Все молча смотрели на Чулкова. Раздался голос Али-Овсада:

— Разве можно! Технику безопасности забыл — я так тебя учил? Зачем на столб полез?

— Я не полез,— сказал Чулков хрипло.— Притянуло меня.

— Иди отдыхай,— сказал старый мастер. И повернулся к Кравцову: — С этим столбом шутку шутить нельзя.

Он принялся убеждать Кравцова прекратить работу и вернуться к краю плота, но Кравцов не согласился. Монтажники оттащили установку чуть дальше, и снова невидимая шпага полоснула столб — и утонула в нем.

Ох, как не хотелось Кравцову отступать. Но делать было нечего. Пришлось погрузить установку на тележку и вернуться. У Чулкова все еще дрожали ноги, и Кравцов велел ему сесть на тележку.

— Не берет? — спросил Уилл, когда Кравцов выпроstaлся из гремящего скафандра.

Кравцов покачал головой.

15

Верхушка Черного столба уже терялась в облаках, была неразличима. Подножие столба окуталось паром, над плотом повисла шапка влажных испарений — нечем было дышать. Люди изнывали от жары и духоты.

Мастер Али-Овсад лучше других переносил адский микроклимат, но и он признал, что даже в Персидском заливе было не так жарко.

— Верно говорю, инглиз? — обратился он к Уиллу, вместе с которым много лет назад бурил там морские скажины.

— Верно,— подтвердил Уилл.

— Чай пить не хочешь? От жары хорошо чай пить.

— Не хочу.

— Очень быстро идет.— Али-Овсад поцокал языком, глядя на бегущий Черный столб.— Пластовое давление очень большое. Железо выжимает, как зубная паста из тюбика.

— Зубная паста? — переспросил Уилл.— А! Очень точное сравнение.

Из радиорубки вышел, шумно отдуваясь, полуголый Брамутья. Голова у него была обвязана мокрым полотенцем, толстое брюхо колыхалось. Вслед за ним вышел Штамм, он был без пиджака и явно стеснялся своего необычного вида.

— Ну что? — спросил Уилл.— Где «Фукуока»?

— Идет! Вечером будет здесь! Мы все испаримся до вечера! Штамм, имейте в виду, вы испаритесь раньше, чем я. Ваша масса меньше моей. Я только начну испаряться, а вы уже превратитесь в облако.

— Облако в штанах,— проворчал Кравцов. Он лежал в шезлонге у дверей радиорубки.

— На «Фукуока» к нам идет председатель МГГ академик Токунага,— сообщил Брамутья.— И академик Морозов. И должен прилететь академик Бернштейн из Штатов. Но пока они все заявятся, мы испаримся! Небывалый случай в моей практике! Я наблюдал столько извержений вулканов, Штамм, сколько вам и не снилось, но я вам говорю: в такую дьявольскую переделку я попадаю в первый раз!

— Все мы попали в первый раз,— уточнил Штамм.

— Брамутья,— сказал Али-Овсад.— Пойдем чай пить. От жары очень хорошо чай.

— Что? Что он говорит?

Уилл перевел предложение мастера.

— Сеньоры, я никогда не пил чая! — закричал Брамутья.— Как можно брать в рот горячий чай — это кошмар! А что, он действительно помогает?

— Пойдем, сам посмотришь.— Али-Овсад повел чилийца в свою каюту, и Штамм неодобрительно посмотрел им вслед.

Уилл тяжело опустился в шезлонг рядом с Кравцовым и навел — в тысячный раз — бинокль на Черный столб.

— По-моему, он искривляется,— сказал Уилл.— Он изгибается к западу от вращения Земли. Взгляните, парень.

Кравцов взял бинокль и долго смотрел на столб. «Чудовищная, уму не постижимая прочность,— думал он.— Что же это за вещество? Ах, добыть бы кусочек...»

— Кумулятивный снаряд *, — сказал он. — Как думаете, Уилл, возьмет его кумулятивный снаряд?

Уилл покачал головой.

— Думаю, только атомная бомба...

— Ну, знаете ли...

Не было сил даже разговаривать. Они лежали в шезлонгах, тяжело и часто дыша, и пот ручьями катился с них, и до вечера было еще далеко.

На веранде кают-компани сидели полуголые монтажники, разноязычный говор то вскипал, то умирал. Чулков в десятый раз принимался рассказывать, как его притянул столб и что бы с ним было, если б не подоспел Джим. А Джим, сидя на ступеньке веранды, меланхолично пощипывал банджо и хриловато напевал:

Oh Susanna, oh don't cry for me,
For I came from old Savanna
With my banjo on my knee. **

— Это что ж такое? — раздавался быстрый говорок Чулкова. — Вроде, я не намагниченный, а он, подлец, меня тянет. Притягивает — спасу нет. Сейчас, думаю, упаду на него — и крышка.

— Крышка. — Американцы и румыны понимающе кивали. — Магнетто.

— То-то и оно! — Чулков растопырил руки, показывая, как он шел на столб. — Тянет, понимаешь, собака. Хорошо, Джим меня обхватил и держит. А то бы тью-тью!

— Тью-тью, — кивали монтажники.

— Oh Susanna, — вздыхало банджо.

— Джим дыржалу Чулков, — пояснил Георги. — Я дыржалу Джим. О! — Георги показал, как он держал Джи-ма. — Инженер Кравцов дыржалу моя...

— В общем, дедка за репку, бабка за дедку...

— Потом держалу Али-Овсад.

— Али-Офсайт, — уважительно повторяли монтажники.

— Это же он скоро до луны достанет, — говорил Чулков. — Ну и ну! Чего инженеры ждут? Дотянется до луны — хлопот не оберешься...

Коренастый техасец с головой, повязанной пестрой косынкой, стал рассказывать, как он восемь лет назад,

* Снаряд для направленного взрыва.

** О, Сюзанна, не плачь по мне,
Ведь я пришел из старой саванны
С моим банджо на колене (англ.).

когда еще был мальчишкой и плавал на китобойном судне, своими глазами видел морского змея длиной в полмили.

Пошли страшные рассказы. Монтажники — удивительное дело! — отлично понимали друг друга.

Над океаном сгустился вечер. Он не принес прохлады. Пожалуй, стало еще жарче. В белом свете прожекторов столб, окутанный паром, казался фантастическим смерчем, вымахнувшим из воды и бесконечно бегущим вверх, вверх...

Люди были бессильны остановить этот бег. Люди жались к бортам плавучего острова, глотая тугой раскаленный воздух. Глубоко внизу плескалась океанская волна, но и она была горячая — не освежишься...

Брамуля лежал в шезлонге и смотрел на сине-черную равнину океана. Губы его слегка шевелились. «Мадонна... мадонна...» — выдыхал он. Рядом, неподвижный, как памятник, стоял Штамм. Он стоял в одних трусах, со свистом дыша и стесняясь своих тонких белых ног.

16

Дизель-электроход «Фукуока-мару» — дежурное судно МГТ — пришел около полуночи. Он лег в дрейф в одной миле к северо-западу от плота, его огни обещали скорое избавление от кошмарной жары.

Грузовой и пассажирский лифты перенесли людей с верхней палубы плота вниз, на площадку причала. Странно выглядела на ярко освещенном причале толпа полуголых мужчин с рюкзаками, чемоданами, саквояжами. Стальной настил вибрировал под ногами. Близились мокрые спины и плечи, распаренные небритые лица. Кто-то спустился по трапу, тронул босой ногой воду и с проклятиями полез обратно.

Наконец пришел белый катер с «Фукуока-мару». Расторопные матросы перебросили сходню, и тотчас по ней взбежала на причал худощавая блондинка в светлых брюках и голубом свитере. Те, кто стоял на краю причала, шаркнулись в сторону, — чего-чего, а этого они никак не ожидали.

— О, не стесняйтесь! — сказала по-английски женщина, снимая с плеча кинокамеру. — Силы небесные, какая жара! Кто из вас доктор Брамуля?

Брамуля, в необъятных синих трусах, смущенно кашлянул.

— Сеньора, тысячу извинений...

— О, пустяки! — женщина нацелилась кинокамерой, аппарат застрекотал.

Чилиец замахал руками, попятился. Штамм, юркнув в толпу, лихорадочно распаковывал свой чемодан, извлекал брюки, сорочку.

— Кто это? — удивленно спросил Кравцов Уилла. — Корреспондентка, что ли?

Уилла не ответил. Он смотрел на блондинку, в прищуре его голубых глаз было нечто враждебное. Да и то сказать, какого дьявола нужно здесь этой женщине! Кравцов повернулся спиной к объективу кинокамеры.

Женщина протянула Брамулье руку.

— Норма Хемптон, «Дейли телеграф», — сказала она. — Какая страшная жара! Не могли бы вы, доктор Брамуля, рассказать...

— Нет, сеньора, нет! Прошу вас, когда угодно, только не сейчас! Извините, сеньора! — Брамулья повернулся к молодому японцу в белой форменной одежде, который поднялся на причал вслед за Нормой Хемптон и терпеливо ждал своей очереди: — Вы капитан «Фукуока-мару»?

— Помощник капитана, сэр. — Японец притронулся кончиками пальцев к козырьку фуражки.

— Сколько человек вмещает ваш катер?

— Двадцать человек, сэр.

— Нас тут пятьдесят три. Сумеете вы перевезти всех за два рейса?

— Да, сэр. Конечно, без багажа. За багажом мы сделаем третий рейс...

Кравцов ушел со вторым рейсом. Стоя на корме катера, он смотрел на удаляющуюся громаду плавучего острова. Огни наверху погасли, теперь был освещен только опустевший причал.

Вот как окончилась океанская вахта... Фактически ему, Кравцову, больше здесь делать нечего. Он может с первой же оказией возвратиться на родину. Ох, черт, какое счастье — увидеть Марину, Вовку, маму. Вовка уже бежит, надо же, ведь ему только-только год исполнился, вот постреленок!.. Пройтись по Москве, окунуться в столичную сутолоку... В Москве уже осень, дожди — ух, прохладный дождичек, до чего хорошо!

Пусть тут расхлебывают ученые, а с него, Кравцова, хватит.

Он видел, как белесый пар клубился вокруг столба, потом тьма поглотила плот, и уже ничего не было видно, кроме освещенного пятна причала.

Он слышал надтреснутый голос белокурой корреспондентки:

— На борту, доктор Брамуля, вас ожидает мировая пресса, приготовьтесь к их атаке. Мои коллеги хотели пойти на катере, но капитан судна не разрешил, он сделал исключение только для меня. Японцы не менее галантны, чем французы. Почему все-таки не ломается этот столб?

— Сеньора, я же говорил вам: мы ничего еще не знаем о веществе мантии. Видите ли, огромное давление и высокие температуры преобразуют...

— Да, вы говорили, я помню. Но наших читателей интересует, может ли столб подниматься до бесконечности.

— Сеньора,— терпеливо отбивался Брамуля,— поверьте, я бы очень желал сам знать...

Белый корпус электрохода сверкал огнями. Катер подбежал к спущенному трапу, «островитяне» гуськом потянулись наверх. Они ступили на верхнюю палубу «Фукуоки» и были ослеплены вспышками фоторепортерских «блицев». Мировая пресса ринулась в наступление...

— Господа журналисты,— раздался высокий голос.— Я призываю вас к выдержке. Эти люди нуждаются в отдыхе. Завтра в шесть вечера будет пресс-конференция. Покойной ночи, господа.

Кравцов, окруженный несколькими репортерами, благодарно взглянул на говорившего — пожилого морщинистого японца в сером костюме.

Вежливый стюард провел Кравцова в отведенную для него каюту, на плохом английском языке объяснил, что ванная в конце коридора.

— О'кэй,— сказал Кравцов и бросился на узкую койку, с наслаждением потянулся.— Послушайте! — окликнул он стюарда.— Не знаете, в какой каюте разместился инженер Макферсон?

— Да, сэр.— Стюард вытащил из кармана листок бумаги, посмотрел.— Двадцать седьмая каюта. На этом же борту, сэр. Через две каюты от вас.

Кравцов полежал немного, глаза стали слипаться.

Осторожный стук в дверь разбудил его. Тот же стюард скользнул в каюту, поставил в углу чемодан Кравцова, погасил верхний свет, неслышно притворил за собой дверь.

Нет, так нельзя. Так и опуститься недолго. Кравцов заставил себя встать. Его качнуло, пришлось упереться руками в письменный стол. Качка, что ли, началась. А может, просто его качает от усталости... «К чертям,— подумал он.— Хватит. Завтра же подаю это... Тьфу, уже слова из головы выскакивают... Ну, как его... Рапорт».

Он собрал белье и вышел в длинный, усталый серым ковром коридор. Навстречу, в сопровождении Брамული и Штамма, шел высокий человек в светло-зеленом костюме, у него была могучая седая шевелюра и веселые зоркие глаза. Кравцов посторонился, пробормотал приветствие. Высокий человек кивнул, Брамуля сказал ему:

— Это инженер Кравцов.

— А! — воскликнул незнакомец и протянул Кравцову руку.— Рад с вами познакомиться. Морозов.

Кравцов, придерживая под мышкой сверток с бельем, пожал академику руку.

— Мы в Москве высоко оценили вашу работу на плоту, товарищ Кравцов,— сказал Морозов.— Вы вели себя достойно.

— Спасибо...

Сверток шлепнулся на ковер. Кравцов нагнулся за ним, и тут его опять качнуло, он упал на четвереньки.

— Ложитесь-ка спать,— услышал он голос Морозова.— Еще успеем поговорить.

Кравцов поднялся и посмотрел вслед академику.

— Мерзавец,— сквозь зубы сказал он самому себе.— Не можешь на ногах держаться, идиотина...

В ванной он с отвращением взглянул на свое отражение в зеркале. Хорош! Волосы всклокочены, морда небрита, в пятнах каких-то, глаза провалившиеся. Охотник за черепами, да и только.

Кравцов принял ванну, потом долго стоял под прохладным душем. Душ освежил его и вернул интерес к жизни.

В коридоре было тихо, безлюдно, плафоны лили мягкий свет. Возле каюты № 27 Кравцов остановился. Спит Уилл или нет? Дверь была чуть приотворена, Кравцов подошел и согнул палец, чтобы постучать, и вдруг услышал надтреснутый женский голос:

— ...Это не имеет значения. Только не думай, что я приехала ради тебя.

— Прекрасно,— ответил голос Уилла.— А теперь лучшее, что ты можешь сделать, это уехать.

— Ну нет.— Женщина засмеялась.— Так скоро я не уеду, милый...

Кравцов поспешно отошел от двери. «Норма Хемптон — и Уилл! — подумал он изумленно.— Что может быть общего между ними?.. Не мое это дело, впрочем...»

Он вошел в свою каюту. А каютка — ничего. Маленькое, но уютное жилье для мужчины. Он поскреб реденькую бородку. Побриться сейчас или утром?..

Кравцов щелкнул выключателем — и увидел на столе пачку писем.

17

Он проснулся с ощущением радости. Что это могло быть? Ах, ну да, письма от Марины! Он читал их и перечитывал до трех часов ночи... Сколько же времени сейчас? Ого, без двадцати десять!

Кравцов вскочил, отдернул шторы и распахнул иллюминатор. Голубое утро ворвалось в каюту. Он увидел синюю равнину океана, небо в легких клочьях облаков, а на самом горизонте — коробочку плота, накрытую белой шапкой пара. Солнце слепило глаза, и Кравцов не сразу разглядел тонкую черную нитку, вытягивающуюся из клубов пара и теряющуюся в облаках. Отсюда загадочный столб казался даже не ниткой, а ничтожным волоском на мощной груди Земли. Так, пустячок, не заслуживающий и сотой доли сенсационного шума, который он произвел в мире.

Взгляд Кравцова упал на листок бумаги, лежавший поверх пачки писем. Улыбаясь, Кравцов поднес листок к глазам, снова прочел слова, написанные кривыми печатными буквами: «Папа, приезжай скорее, я соскучился». Это Марина водила Вовкиной рукой. Внизу был нарисован дом, тоже кривой, из его трубы шел дым завитушками. Ай да Вовка, уже карандаш в лапе держит!

Ну ладно, надо идти завтракать, а потом разыскать Морозова. Если он, Кравцов, здесь не нужен, то с первой же оказией...

Он вздрогнул от неожиданности: зазвонил телефон.

— Александр? Вы уже позавтракали? — услышал он глуховатый голос Уилла.

— Нет.

— Ну, тогда вы не успеете.

— А что такое, Уилл?

— В десять отходит катер. Вы не успеете. Идите завтракайте.

— Я успею! — сказал Кравцов, но Уилл уже дал отбой.

Кравцов торопливо оделся и выбежал в коридор. В просторном холле его перехватил какой-то журналист, но Кравцов, пробормотав «Soggy» *, побежал дальше. Он попал в узенький коридор, в котором ревел вентилятор, и понял, что заблудился. Назад! Расспросив дорогу, он выскочил, наконец, на спардек и сразу увидел глубоко внизу катер, приплясывающий на волнах у борта «Фукуоки». Прыгая через ступеньки, Кравцов сбегал по трапу на верхнюю палубу. Возле группы людей остановился, переводя дыхание, и тут его окликнул Али-Овсад:

— Зачем пришел? Я сказал, тебя не будить, пусть спит. Тебе инглиз сказал?

— Да. Где он?

Али-Овсад ткнул пальцем в катер:

— Там. Ты не ходи, отдыхай.

— Отдыхай-молдыхай... — Кравцов с досадой отмахнулся и бочком пролез сквозь тесное кольцо журналистов к Брамуде и Штамму. Они разговаривали с давешним пожилым японцем возле трапа, спущенного к катеру.

Кравцову было стыдно за свою сонливость. Он стесненно поздоровался, и Брамудя, схватив его за руку, подтащил к японцу:

— Это инженер Кравцов.

Морщины на лице японца раздвинулись в улыбке. Он втянул в себя воздух и сказал высоким голосом:

— Масао Токунага. — И добавил на довольно чистом русском языке: — Удалось ли вам отдохнуть?

— Да, вполне...

Так вот он, знаменитый академик! Когда-то, двадцать пять лет тому назад, он с первой группой японских ученых обследовал пепелище Хиросимы и выступил с гневным заявлением против атомного оружия. Ходили слухи, что

Токунага поражен лучевой болезнью. Вид у него и в самом деле неважный...

— Господин Токунага,— сказал Кравцов.— Разрешите мне пойти на катере.

— А вы знаете, зачем отправляется катер?

— Нет...

Токунага тихонько засмеялся.

— Но я хорошо знаю плот,— сказал Кравцов, чувствуя, как краска заливает лицо,— и... смогу быть полезен...

Тут подошел академик Морозов.

— Последние известия, Токунага-сан,— весело сообщил он.— Локатор показывает высоту столба около тридцати километров. Он движется со скоростью восьмисот метров в час, но это надо еще проверить.

— Тридцать километров! — ахнул кто-то из журналистов.

— Так. Ну, все готово? — Морозов ступил на тран.— Кравцов, вы с нами?

— Да!

— Поехали.

Они спустились в катер, и тотчас матрос оттолкнулся от нижней площадки трапа, и катер побежал вдоль белого борта «Фукуоки». Морозов помахал рукой, Токунага грустно закивал в ответ.

Кравцов поздоровался с Уиллом, Джимом Паркинсоном и Чулковым.

— Вы тут как тут,— сказал он Чулкову.

— А как же! — ухмыльнулся тот.— Куда вы, туда и я.

— Без завтрака? — спросил Уилл.

— Ерунда,— сказал Кравцов.

Уилл задумчиво посмотрел на него, попыхивая трубкой. Кроме них, на катере был не знакомый Кравцову бело-брысый парень в пестрой рубашке с изображением горы Фудзияма. Он возился с приборами, негромко переговаривался с Морозовым. Приборов было пять или шесть, самый большой из них напоминал газовый баллон, самый маленький, в деревянном футлярчике, парень держал в руках.

По мере приближения к плоту разговоры на катере замирали. Все взгляды были прикованы к Черному столбу, поднимающемуся из облака пара. Теперь он уже не казался Кравцову безобидным волоском — в нем было что-то жуткое и грозное.

— Н-да,— сказал Морозов после долгого молчания.— Неплохим хвостиком обзавелась матушка-Земля.

Вода возле плота была беспокойна. Катер подошел к причалу, и Морозов прежде всего велел спустить в воду контейнер с термометром-самописцем для долговременных замеров температуры. Затем перетащили приборы в кабину грузового лифта и сами поднялись на верхнюю палубу плота.

Ух, как на раскаленной сковородке... Кравцов с беспокойством взглянул на Морозова: все же пожилой человек, как он перенесет такую дьявольскую жарницу? Морозов, мокрый от пота, натягивал на себя скафандр из стеклоткани, и все поспешили сделать то же самое.

— Все слышат меня? — раздался в шлемофоне Кравцова голос Морозова — по-русски и по-английски.— Отлично. Итак, начинаем первичные измерения. Замеры будем делать через каждые двадцать пять метров. Юра, у вас все готово?

— Да, Виктор Константинович,— ответил белобрысый парень. Он был, оказывается, техником-прибористом.

— Ну, начали.

Джим Паркинсон пошел вдоль рельсов к середине плота, разматывая рулетку. Отмерив двадцать пять метров от борта, он обмакнул кисть в ведро с суриком и сделал красную отметку. Морозов нажал кнопку и прильнул к зрительной трубке, которая торчала из контейнера, похожего на газовый баллон. Он смотрел долго, его глаз освещался вспышками света из трубки. Затем Морозов вытащил записную книжку, снял с правой руки рукавицу и принялся писать.

Юра тем временем снимал показания с двух других приборов, а Уилл возился со своим магнитографом. Кравцову Морозов поручил замеры радиоактивности.

Юра и Чулков перетащили приборы к отметке, сделанной Джимом—здесь было 225 метров от Черного столба,— и замеры были повторены. Джим ушел с рулеткой вперед, отмеряя очередные двадцать пять метров, и Кравцов поглядывал на него с беспокойством. Конечно, до столба еще далеко, но кто его знает, на каком расстоянии он сегодня начнет притягивать...

— Товарищ Кравцов,— раздался голос Морозова.— На каком расстоянии потянуло вчера вашего Чулкова к столбу?

— Примерно десять метров.

— Десяти не было,— сказал Чулков.— Метров восемь.

— Ну нет,— возразил Кравцов и, окликнув Джима, повторил вопрос по-английски.

— Ровно двенадцать ярдов,— заявил Джим,— ни дюйма больше.

Морозов коротко рассмеялся.

— Исследователи,— сказал он.— Вот что: поставьте приборы на тележку. Паркинсон, вернитесь. Будем двигаться вместе.

Палуба вдруг заходила ходуном под ногами. Долговязый Джим упал на ведро с краской. Юра повалился на спину, прижимая к груди ящичек с кварцевым гравиметром. Уилла кинуло на Морозова. У основания столба яростно и то-ропливо за клубился пар, плот заволокло белой пеленой.

Понемногу толчки затихли и прекратились вовсе. Ветер разматывал полотнище пара, гнал его кверху. Пятеро в серо-голубых костюмах из стеклоткани стояли тесной кучкой — бессильные перед грозным могуществом природы.

— Кажется, скорость столба возросла,— проговорил Уилл, задрав голову и щуя глаза за прозрачным щитком.

— Это покажут локационные измерения,— сказал Морозов.— Ну-с, продвигаемся вперед.

И упрямые люди шаг за шагом приближались к столбу, толкая перед собой тележку с приборами и разматывая рулетку.

Замер на отметке 200 продолжался полтора часа: пришлось ждать, пока маятниковый гравиметр, взбудораженный толчками, придет в нормальное положение.

На отметке 125 Морозов велел всем обвязаться канатом.

На отметке 100 Джим обнаружил, что краска в ведре кипит и испаряется; Юра протянул ему кусок мела.

На отметке 75 Уилл сел, скрючившись, на тележку и коротко простонал.

— Что с вами, Макферсон? — обеспокоенно прозвучал голос Морозова?

Уилл не ответил.

— Я отведу его на катер,— сказал Кравцов.— Это сердечный приступ.

— Нет,— раздался слабый голос Уилла.— Сейчас пройдет.

— Немедленно на катер,— распорядился Морозов.

Кравцов взял Уилла под мышки, поднял и повел к борту. Он слышал тяжелое дыхание Уилла и все повторял:

— Ничего, старина, ничего...

В кабине лифта ему показалось, что Уилл потерял сознание. Кравцов страшно испугался, принялся тормозить Уилла, снял с его головы шлем, и свой тоже. Лифт остановился. Кравцов распахнул дверцу и заорал:

— На катере!

Двое проворных японских матросов избежали на причал. Они помогли Кравцову стянуть с Уилла скафандр. Слабым движением руки шотландец указал на кармашек под поясом своих шортов. Кравцов понял. Он вытащил из кармашка стеклянную трубочку и сунул Уиллу в рот белую горошину.

— Еще,— прохрипел Уилл.

Его отнесли на катер, положили на узкое кормовое сидение. Один из матросов подоткнул ему под голову пробковый спасательный жилет.

— Срочно доставьте его на судно,— сказал Кравцов старшине по-английски.— Вы понимаете меня?

— Да, сэр.

— Сдайте мистера Макферсона врачу и возвращайтесь сюда.

— Да, сэр.

Катер отвалил от причала. Кравцов постоял немного, глядя ему вслед. «Уилл, дружище,— думал он с тревогой.— Я очень к вам привык. Уилл, вы не должны... Вы же крепкий парень...»

Только теперь он заметил, что солнце уже клонилось к западу. Сколько же часов провели они на плоту?.. По небу ползли облака, густые, плотные, они наползали на солнце, зажигались оранжевым огнем.

Духота мертвой хваткой брала за горло. Кравцов нагнул шлем и вошел в кабину лифта. Потом, медленно идя в шуршащем скафандре по верхней палубе, окутанной паром, он испытал странное чувство — будто все это происходит не на Земле, а на какой-то чужой планете, и сам обругал себя за нелепые мысли.

Он подошел к серо-голубым фигурам — они все еще делали замеры на отметке 75 — и услышал обращенный к нему вопрос Морозова, и ответил, что отправил Макферсона на судно.

Морозов был чем-то озабочен. Он сам проверил показания всех приборов.

— Резкий скачок,— пробормотал он.— Поехали дальше. Держаться всем вместе.

Они двинулись, локоть к локтю, толкая перед собой тележку, на которой стоял контейнер с маятниковым гравиметром. Остальные приборы несли в руках. Джим размазывал рулетку.

Они не прошли и пятнадцати метров, как вдруг тележка сама покатилась по рельсам к столбу.

— Назад! — ударил в уши голос Морозова.

Люди попятились. Тележка с контейнером катилась все быстрее, влекомая загадочной силой. Облако пара поглотило ее, потом она снова вынырнула в просвете. Там, где кончались рельсы, она взлетела, будто оттолкнулась от трамплина, мелькнула серым пятном и исчезла в клубах пара.

— Вот она! — крикнул Чулков, тыча рукавицей.

На высоте метров в двадцать между рваными клочьями пара был виден столб, бегущий вверх. Он уносил контейнер, а чуть пониже к нему прилепилась тележка... Вот они скрылись в облаках...

Люди оторопело смотрели, задрав головы.

— Тю-тю, — сказал Чулков. — Теперь ищи добро на Луне...

Джим бормотал проклятия.

А Кравцов чувствовал страшную усталость. Каменной тяжестью налились ноги. Скафандр весил десять тонн. В висках стучали медленные молотки.

— На сегодня хватит, — услышал он голос Морозова. — Пошли на катер.

18

— Хочешь чаю? — спросила женщина.

— Нет, — ответил Уилл.

Он лежал в своей каюте, сухие руки с набухшими венами вытянулись поверх голубого одеяла, — руки, сжатые в кулаки. Лицо его — загорелое и бледное одновременно, — было неподвижно, как лицо сфинкса. Нижняя челюсть, обросшая седой щетиной, странно выпятилась.

Норма Хемптон сидела возле койки Уилла и вглядывалась в его неподвижное лицо.

— Я бы хотела что-нибудь сделать для тебя.

— Набей мне трубку.

— Нет, Уилл, только не это. Курить нельзя.

Он промолчал.

— Теперь тебе не так больно?

— Теперь не так.

— Три года назад ты никогда не жаловался на сердце. Ты изнуряешь себя работой. Ты забираешься в самые гиблые места. За три года ты и трех месяцев не провел в Англии.

Уилл молчал.

— Почему ты не спросишь, как я очутилась в Японии?

— Как ты очутилась в Японии? — спросил он бесстрастно.

— О, Уилл!.. — Она прерывисто вздохнула и подалась вперед. — Не думай, пожалуйста, что мне хорошо жилось эти три года. Он оказался... Ну, в общем, в июне, когда освободилось место корреспондента в Токио, я попросилась туда. Я ушла от него.

— Ты всегда уходишь, — сказал Уилл ровным голосом.

— Да. — Она невесело засмеялась. — Такая у меня манера... Но вот что я скажу тебе, Уилл: мне очень хочется вернуться.

Он долго молчал. Потом скосил глаза, посмотрел на нее.

— Ушам не больно? — спросил он.

— Ушам?

— Да. Слишком тяжелые подвески.

Норма невольно тронула пальцами серьги — большие зеленые треугольники с узором.

— Я узнала из газет, что ты здесь, на плоту, и поняла, что это мой последний шанс. Я телеграфировала в редакцию и отплыла на «Фукуоке».

— Уйди, — сказал он. — Я хочу спать.

— Ты не хочешь спать. Мы уже не молоды, Уилл. — Голос женщины звучал надтреснуто. — Я бы набивала тебе трубку и сажала розы и петунии в цветнике перед домом. Хватит нам бродить по свету. Мы бы проводили вместе все вечера. Все вечера, Уилл... Все оставшиеся вечера...

— Послушай, Норма...

— Да, милый.

— Говард пишет тебе?

— Редко. Когда ему нужны деньги. Он уже не очень-то нуждается в нас.

— Во мне — во всяком случае.

— Все-таки, он наш сын. И ты бы мог, Уилл...

— Нет, — сказал он. — Довольно. Довольно, черт побери.

— Хорошо. — Она провела ладонью по одеялу — погладила его ногу. — Ты только не волнуйся. Может, налить тебе чаю?

В дверь постучали.

— Войдите, — сказал Уилл.

Вошел Кравцов, всклокоченный, в широко распахнутой на груди белой тенниске и помятых брюках.

— Ну, как вы тут? — начал он с порога и осекся. — Простите, не помешал?

— Нет. Норма, это инженер Кравцов из России. Кравцов, это Норма Хемптон, корреспондентка.

Норма тряхнула золотистой гривой и, улыбаясь, протянула Кравцову руку.

— Очень рада. О вас писали во всем мире, мистер Кравцов. Читатели «Дейли телеграф» будут рады прочесть несколько слов, которые вы пожелаете для них...

— Подожди, Норма, это потом, — сказал Уилл. — Вы давно вернулись с плота?

— Только что. Как вы себя чувствуете?

— Врач, кажется, уложил меня надолго. Ну, рассказывайте.

Кравцов, торопясь и волнуясь, рассказал о том, как Черный столб притянул и унес тележку с контейнером.

— Вот как! Что же это — магнитное явление или, может, гравитационное?

— Не знаю, Уилл. Странная аномалия.

— А Морозов что говорит?

— Морозов помалкивает. Сказал только, что горизонтальная сила притяжения растет по мере приближения к столбу не прямо пропорционально, а в возрастающей степени.

— Что же будет дальше?

— Дальше? Новые измерения. Ведь сегодня были грубые, первичные. Теперь на плоту установят дистанционные приборы постоянного действия. Они будут передавать все данные оттуда на «Фукуока-мару». Ну, Уилл, я рад, что вам лучше. Пойду.

— Мистер Кравцов, — сказала Норма Хемптон. — Вы должны рассказать мне подробнее о столбе.

Кравцов посмотрел на нее.

«Сколько ей лет? — подумал он. — Лицо молодое, и фигура... А руки — старые. Тридцать? Пятьдесят?»

— Вы что-нибудь ели сегодня? — спросил Уилл.

— Нет.

— Вы сумасшедший. Сейчас же идите. Норма, оставь мистера Кравцова в покое.

— В восемь часов будет пресс-конференция, миссис Хемптон, — сказал Кравцов.

— Почему в восемь? Назначено на шесть.

— Перенесли на восемь.

Кравцов кивнул и пошел к двери. Он распахнул дверь и столкнулся с Али-Овсадом.

— Осторожно, эй! — сказал старый мастер; он держал в руках заварной чайник в розовых цветочках. — Я так и знал, что ты здесь. Иди, кушай, — проговорил он строго. — Голодный ходишь-бродишь, совсем кушать забыл.

— Иду, иду. — Кравцов, улыбаясь, зашагал по коридору. От голода его слегка поташнивало.

Али-Овсад вошел в каюту Уилла, искоса глянул на Норму, поставил чайник на стол.

— Пей чай, инглиз, — сказал он. — Я сам заварил, хороший чай, азербайджанский. Такого нигде нет.

19

Косматая шапка туч накрыла океан. Свежел ветер, сгущалась вечерняя синь. На «Фукуока-мару» зажглись якорные огни. Покачивало.

У входа в салон, в котором должна была состояться пресс-конференция, Кравцова придержал за локоть румяный молодой человек.

— Товарищ Кравцов, — сказал он, дружелюбно глядя серыми улыбчивыми глазами. — Неуловимый товарищ Кравцов, разрешите представиться: Оловянных, спецкор «Известий».

— Очень рад. — Кравцов пожал ему руку.

— Вчера не хотел беспокоить, а сегодня утром пытался поймать вас за фалды, но вы бежали со страшной силой. Будучи вежливым человеком, вы мне кинули английское извинение...

56 — Это были вы? — Кравцов усмехнулся. — Извините, товарищ Оловянных. На сей раз — по-русски.

— Охотно, Александр Витальевич. Возможно, вам безынтересно будет узнать, что перед отлетом из Москвы я звонил вашей жене...

— Вы звонили Марине?!

— Я звонил Марине и заключил из ее слов, что она прекрасно к вам относится.

— Что еще она говорила? — вскричал Кравцов, проникаясь горячей симпатией к улыбчивому спецкору.

— Говорила, что очень вас ждет. Что дома все в порядке, что ваш Вовка — разбойник и все больше напоминает характером своего папку...

Кравцов засмеялся и принялся трясти руку Оловянникова.

— Как вас зовут? — спросил он.

— Лев Григорьевич. Если хотите, можно без отчества. Мама ваша здорова, она тоже просила передать привет и что ждет. С Вовкой поговорить не удалось — он спал младенческим сном. Марина просила захватить для вас журналы на испанском, но я, к сожалению, спешил в аэропорт...

— Большущее вам спасибо, Лев Григорьевич!

— Не за что.

Они вошли в салон и сели рядом на диванчике возле стены.

В ожидании начала мировая пресса шумно переговаривалась, курила, смеялась, Норма Хемптон загнала в угол Штамма и, потрясая львиной гривой и блокнотом, извлекала из австрийца какие-то сведения. Али-Овсад, принарядившийся, в синем костюме с орденами, подошел к Кравцову и сел рядом, заставив потесниться его соседей. Кравцов познакомил его с Оловянниковым, и Али-Овсад сразу начал рассказывать спецкору о своих давних и сложных отношениях с прессой.

— Про меня очень много писали, — степенно текла его речь. — Всегда писали: мастер Али-Овсад стоит на буровой вышке. Я читал, думал: разве Али-Овсад всегда стоит на буровой вышке? У Али-Овсада семья есть, брат есть — агроном, виноград очень хорошо знает, сыновья есть. Почему надо всегда писать, что мастер Али-Овсад стоит на буровой-муровой?

— Вы правы, Али-Овсад, — посмеиваясь, сказал Оловянников. — Узнаю нашу газетную братию. Мастера пре-
вращать человека в памятник...

— Ай, молодец, правильно сказал! — Али-Овсад поднял узловатый палец. — Человека — в памятник. Зачем такие слова писать? Других слов — нету?

— Есть, Али-Овсад. Это самое трудное — найти другие, настоящие слова. В спешке не всегда удастся...

— А ты не спеши. Если каждый будет свою работу спешить — работа плакать будет.

В салон вошли Токунага, Морозов, Брамуля и два незнакомых Кравцову человека. Они прошли за председательский стол, сели. Разговоры в салоне стихли.

Поднялся Токунага. Замигали вспышки «блицев». В при-
тихшем салоне раздался высокий голос японца:

— Господа журналисты, от имени президиума МГГ я имею честь открыть пресс-конференцию. Оговорюсь сразу, что пока мы можем сообщить вам только самые первоначальные сведения и некоторые предположения, которые, — я подчеркиваю это, господа, — ни в какой мере не претендуют на абсолютную истинность и нуждаются в многократной проверке.

Два переводчика переводили гладкую, несколько церемонную речь японца на русский и английский языки.

— Итак, что произошло? — продолжал Токунага. — Шесть лет назад на глубине сорока двух километров от уровня океана было приостановлено бурение сверхглубокой скважины. Долото перестало дробить породу, а подъем труб оказался невозможным по необъяснимой причине. Вы помните, господа, споры и гипотезы того времени? Мы тогда установили международный график дежурств у скважины — и не напрасно. Теперь, на шестом году, произошло новое, более серьезное событие. Предварительно напомним, что скважина бурилась в дне глубоководного желоба — там, где, по нашим расчетам, толщина земной коры значительно меньше. Вышла ли скважина в глубинную трещину, растревожило ли плазменное бурение нижележащие слои — неизвестно. Можно предположить, что Черный столб — это вещество глубочайших недр, находившееся в пластичном состоянии под действием огромного давления; оно нашло где-то слабое место и поднялось вверх, ближе к границам коры. Встретив на своем пути скважину, оно начало медленно, а потом быстрее и быстрее подниматься наружу. Кто-то довольно удачно сравнил это с выдавливанием зубной пасты из тюбика. Вещество, как вы знаете, выдавило из скважины колонну труб и, значительно расширив сква-

жину, продолжает столбом подниматься вверх, несколько отклоняясь к западу. Химический состав и физическая структура столба пока неизвестны. Видите ли, господа, многие ученые считают, что таблица Менделеева верна только для обычных давлений и температур. А на больших глубинах, где действуют чудовищные давления и высочайшие температуры, строение электронных оболочек атомов изменяется: в них как бы вдавливаются орбиты электронов. А еще глубже электронные оболочки атомов смешиваются. Там все элементы приобретают совершенно новые свойства. Там нет железа, нет фосфора, нет урана, нет йода, нет никаких элементов, а только некое универсальное вещество металлического характера. Так мы полагаем. Вы, вероятно, знаете, что храбрая попытка получить образец вещества столба, к сожалению, не удалась. Бесспорно одно: это вещество обладает особыми свойствами...

20

Было уже за полночь, когда Кравцов вышел из прокуренного салона. Болела голова, поламывало спину. Зайти бы к врачу, какую-нибудь таблетку пролотить. Да разве разыщешь в этом плавучем городе санчасть?..

Али-Овсад и Оловянников потерялись где-то в толпе корреспондентов, ринувшихся после окончания пресс-конференции к радиорубке.

Кравцов не совсем представлял себе, в каком коридоре находится его каюта. Он спустился по первому попавшемуся трапу. Опять пустой коридор, устланный джутовой дорожкой. Двери, двери. А номера кают — четные. Надо перейти на другой борт. Вообще надо разобраться на «Фукуока-мару», где что. Кажется, не день и не два придется здесь прожить.

Еле передвигая ноги от усталости, он брел по коридору, и в голове вертелся навязчивый мотивчик: «Позарастили стежки-дорожки... где проходили милого ножки...»

Где-то впереди прозвучал обрывок разговора по-английски, раздался взрыв смеха. Потом послышались меланхолические звуки банджо. Распахнулась дверь одной из кают, в коридор вышли коренастый техасец (его голова была по-

визана пестрой косынкой) и еще двое — монтажники из бригады Паркинсона. Они были сильно навеселе.

— А, инженер! — воскликнул малый в косынке. — Ну что вы там навыдумывали с учеными джентльменами?

— Пока ничего не придумали, — устало ответил Кравцов.

— Выходит, зря денежки вам платят!

Кравцов посмотрел на красное, возбужденное лицо техасца и молча двинулся дальше, но тут один из монтажников остановил его.

— Минуточку, сэр. Вот Флетчер, — он мотнул головой на техасца, — интересуется, не упадет ли этот проклятый столб на Америку. У него, сэр, полно родственников в Америке, и он беспокоится...

— Пусть он напишет им, чтобы они поставили над домами подпорки, — сказал Кравцов.

Монтажники покатались со смеху. Из соседней каюты выглянул Джим Паркинсон со своим банджо. Он кивнул Кравцову и сказал:

— Иди-ка спать, Флетчер.

— Я бы пошел, — ухмыльнулся техасец, — да вот беда: боюсь пожелтеть во сне...

Снова взрыв хохота.

Кравцов, морщась от головной боли, поплелся по коридору дальше.

«Позарастили стежки-дорожки... Где проходили... дикие кошки...»

Он свернул в поперечный коридор и чуть не носом к носу столкнулся с Али-Овсадом.

— Ай балам, ты куда идешь? Я там был, там не наша улица. Такой большой пароход — надо на углу милиционера ставить.

— Действительно... А куда этот трап ведет?

Они поднялись по трапу и оказались на верхней палубе. Здесь было понятнее. Они прошли на спардек и уселись, вернее улеглись, в шезлонгах.

Судно покачивалось, поскрипывало. В свете топовых огней было видно, как низко-низко плыли смутные облака.

— Дождь будет, — сказал Али-Овсад.

Кравцов, глубоко вдыхая ночную прохладу, смотрел на тучи, непрерывно бегущие над судном.

«Что за чепуху нес этот Флетчер? — подумал он. — Боюсь пожелтеть во сне — что это значит?»

— Саша, — сказал Али-Овсад. — Помнишь, толстый

журналист что спросил? Бог обиделся на бурильщиков и послал Черный столб.

Кравцов улыбулся, вспомнив вопрос корреспондента «Крисчен сенчури» — не является ли столб божьим знаменем? — и ответ Токунаги, попросившего, ввиду отсутствия серьезных доказательств существования богов и ограниченности времени, задавать вопросы по существу.

— Такой хорошо одетый, на министра похож, а не знает, что бога нет. — Али-Овсад поцокал языком. — А я думал, он культурный.

— Разные люди бывают, Али-Овсад. Вот ваш друг Брамунья тоже имеет привычку обращаться к господу-богу.

— Э! Просто так, привык. Саша, я не совсем понял, зачем япон про Хиросиму вспомнил?

— Про Хиросиму? Ну, этот, в пестрой рубашке, из «Нью-Йорк пост», кажется, спросил, откуда вообще берется энергия. Что-то в этом роде. Токунага и ответил, что, по Эйнштейну, энергия равна произведению массы на квадрат скорости света в пустоте и, значит, в одном грамме любого вещества дремлет скрытая энергия — кажется, двадцать с лишним триллионов калорий. Она может проявиться как угодно. И тут он добавил, что с частичным проявлением этой энергии они, японцы, познакомились в Хиросиме...

Кравцов умолк. Странная фраза Флетчера — «боюсь пожелать» — снова вспомнилась ему, и вдруг он понял ее смысл. Понял и помрачнел.

Звякнула дверная ручка. Слева возник освещенный овал. Из внутренних помещений вышли на спардек несколько человек; они громко переговаривались, смеялись, чиркали зажигалками. Один из них подошел к шезлонгам Кравцова и Али-Овсада.

— Вот вы где, — сказал он. Это был Оловяников. — Недурно устроились. — Он тоже бросился в шезлонг и потянулся. — Черт его знает, что в редакцию передавать, — пожаловался он. — Смутно, смутно все... С трудом пробился к Морозову, просил написать хоть несколько слов для «Известий», — нет, отказался. Преждевременно... Александр Витальевич, вы что-нибудь знаете о теории единого поля?

— Знаю только, что ее еще нет. К чему это вы?

— Морозов вскользь упоминал; у него какие-то свои взгляды... Представляю себе магнетизм. Могу с некоторым умственным напряжением представить гравитационное по-

ле. Но что за поле возникло вокруг Черного столба? Что за горизонтально действующее притяжение?

— Все это связано, — сказал Кравцов. — Нужна теория, объединяющая все теории полей. Вот, как раньше была теория эфира, — и все, и ведь казалась незыблемой... Верю, что скоро появится теория единого поля.

— Я тоже, — откликнулся Оловяников. — А то разноречивый... Знаете, что очень тревожит Морозова?

— Что?

— Ионосфера. Скоро, он говорит, столб достигнет ионосферы, и еще что-то хотел сказать, но переглянулся с Токунагой и замолчал. Что может быть, по-вашему?

Кравцов пожал плечами.

— Удивительное дело, — сказал он. — В некоторых космических проблемах мы разбираемся лучше, чем в недрах собственной планеты. Наша скважина — меньше одного процента пути к центру Земли, а уже напоролись на такое явление... Не знаем, ни черта не знаем, что у нас под ногами... — Он помолчал и добавил, поднимаясь: — Но мы все равно узнаем. Наша скважина — это только начало.

21

Кравцова разбудил гулкий пушечный выстрел. Он бросился к иллюминатору. Темное небо было сплошь в грозных тучах. Сверкнула молния, снова загрохотал протяжный громовой раскат. Стакан на полочке умывальника, медные колечки портьер отозвались тоненьким дребезжанием.

Кравцов поспешно оделся и побежал на спардек. У борта, обращенного к плоту, толпились люди. Они тревожно переговаривались, и раскаты грома то и дело покрывали их слова.

Обычно в это время над океаном сияло голубое утро, но теперь было похоже, что стоит глухая полночь.казалось, все тучи мира тянулись к Черному столбу. Пучки молний вырывались из туч, били в столб, только в столб, и небо раскалывалось от нараставшего грохота.

Фантастическое зрелище! Вспышки молний освещали неспокойный океан, и он казался светлее низкого сумрачного

неба, и на горизонте белые клинки вели дьявольскую дуэль у столба, окутанного паром.

Хлынул ливень.

Кравцов увидел Брамую, протолкался к нему. Толстяк впился руками в фальшборт, губы его шевелились.

— О, Сант-Яго ди Баррамеда, — бормотал он. — Черная мадонна монтесерратская...

Штамм, безмолвно и неподвижно стоявший рядом, повернул к Кравцову бледное лицо, кивнул.

— Ну и гроза! — крикнул Кравцов. — Никогда такой не видел...

— Никто такой грозы не видел, — ответил Штамм. Удар грома заглушил его слова.

«Фукуоку» изрядно клало с борта на борт. Цепляясь за поручни, Кравцов пошел к трапу, спустился в коридор, постучал в каюту Уилла. Откликнулся незнакомый голос. Кравцов приоткрыл дверь, тут судно накренилось, и он влетел в каюту, чуть было не сбив с ног японца в белом халате.

— Простите, — прошептал он и посмотрел на Уилла.

Уилл лежал на спине, выставив костистый подбородок, глаза его были закрыты. Врач тронул Кравцова за руку, сказал что-то непонятное, но Кравцов и так понял: надо уйти, не мешать. Он кивнул и вышел, притворив дверь. За дверью звякнуло металлическое.

По коридору быстро шла Норма Хемптон. Волосы у нее были как-то наспех заколоты, на губах ни следа помады.

— Не входите, — сказал ей Кравцов. — Там врач.

Она не ответила, не остановилась. Без стука вошла в каюту Уилла.

Кравцов постоял немного, прислушиваясь. Глухо ревели гроза, из каюты не доносилось ни звука. «Надо что-то делать, — билась тревожная мысль. — Надо что-то делать...»

Он сорвался с места, побежал. В ярко освещенном салоне завтракали несколько японцев из судовой команды. Морозова здесь не было. Токунаги тоже.

— Где академик Морозов? — спросил Кравцов, и один из моряков сказал, что Морозов, возможно, в локационной рубке.

Кравцов по крутому трапу поднялся на мостик. Дождь колотил по спине, обтянутой курткой, по непокрытой голове. На мгновение Кравцов остановился. Отсюда, сверху, картина грозы представилась ему еще фантастичней. Внизу

бесновался океан, буро-лиловое небо полосовали изломанные молнии, рябило в глазах от пляски света и тьмы. Пахло озоном. Мостик уходил из-под ног.

По стеклу локационной рубки струились потоки воды. Кравцов рванул дверь, вошел.

Здесь, зажатые серыми панелями приборов, работали двое японцев в морской форме, давешний техник-приборист Юра и Морозов. Мерцал зыбким серебром экран локатора, по нему ползла светящаяся точка. Морозов вскинул на Кравцова пронзительный взгляд:

— А, товарищ Кравцов! Что скажете?

— Виктор Константинович,— сказал Кравцов, смахивая ладонью дождевые капли со лба,— Макферсону плохо. Эта гроза и качка...

— Насколько я знаю, у него дежурит врач.

— Да, это так, но... Нельзя ли отвести судно подальше? Из зоны грозы...

Морозов кинул карандаш на столик, поднялся. С минуту он смотрел на развертку локатора.

— Воздух буквально насыщен электричеством,— сказал Кравцов.

— Вы что — медик? — резко спросил Морозов.

— Нет, конечно, но посудите сами...

Морозов почесал кончиками пальцев щеку. Потом выдернул из гнезда телефонную трубку, набрал номер.

— Это... миссис Хемптон? Говорит Морозов. Врач у вас? Попросите его... Ну так спросите, каково состояние Макферсона.— Некоторое время Морозов слушал, хмурясь и подергивая щекой.— Благодарю вас.

Щелкнул зажим, приняв трубку на место.

— Ладно, Кравцов,— сказал Морозов, берясь за карандаш.— Кажется, вы правы. Мы примем меры, не надо волноваться.

«Фукуока-мару», отведенный подальше, снова лег в дрейф. Гроза продолжала реветь над океаном. Молнии взяли Черный столб в кольцо, они непрерывно били в него со всех сторон. Кто-то заметил шаровую молнию: огненный

сгусток энергии, разбрызгивая искры, плыл над волнами, повторяя их очертания.

В десятом часу утра от «Фукуоки» к плоту отплыл катер — в нем отправилась группа добровольцев, среди них был и Чулков. Возглавляя группу Юра — он получил от Морозова подробные инструкции: где и какие приборы ставить.

— Опасно, — сказал Али-Овсад. — Разве нельзя подождать, пока гроза кончится?

Но всеведущий Оловянников объяснил, что ждать бессмысленно: гроза пройдет не скоро, может быть, через много дней.

Добровольцы в защитных костюмах поднялись на плот и установили стационарные приборы, снабженные автоматическими радиопередатчиками. Теперь в локационной рубке «Фукуока-мару» треугольные перья самописцев выписывали на графленых лентах дрожащие цветные линии. Вычислители обрабатывали поступающую информацию. Ученые непрерывно совещались.

Журналистов в приборную рубку не пускали. Они чуяли: происходит нечто грандиозное, надвигается небывалая сенсация. Иные из них пытались уже отправить в свои газеты описание грозы, одобренное собственными домосдами, но радиорубка не принимала информации без визы Штамма, а австриец был неумолим. Он безжалостно вычеркивал все, что так или иначе относилось к научным предположениям, и в результате от корреспонденций оставались жалкие огрызки.

Несколько раз Токунага и Морозов вели радиопереговоры с Международным геофизическим центром. Юркий Лагранж, корреспондент «Пари-суар», подстерег однажды академиков, возвращавшихся из радиорубки. Он тихонько прокрался за ними по коридору, включив портативный магнитофон, и успел записать обрывок разговора.

Нечего было и думать передать бесценную запись в редакцию: Штамм просто отобрал бы магнитную ленту. Долго крепился Лагранж, не желая выпускать из рук добытую сенсацию, и не выдержал наконец. Он собрал журналистскую братию в салон прессы, потребовал тишины и запустил магнитофон.

Раздался характерный шорох, а затем приглушенный разговор на английском языке:

— ...Скорость возрастает.

— Да, он обгоняет нас и не оставляет нам времени. Вы слышали доклад штурмана корабля? Магнитный компас вышел из меридиана.

— Очень сложная картина. И все же ваше предположение о магнитах...

— Я хотел бы ошибиться, поверьте. Но при такой перестройке структуры... Простите, Масао-сан. Вам что нужно, господин корреспондент?

— Мне? — раздался быстрый говорок Лагранжа. — О, *cher maître* *, решительно ничего. Я просто...

— Ну, дальше неинтересно. — Лагранж под общий хохот выключил магнитофон.

— Продайте мне этот текст, Лагранж, — попросил дюжий американец в гавайской рубашке.

— Зачем вам, Джекобс? Не думаете ли вы, что ваше обаяние смягчит сердце австрийского цербера?

— Моя газета не поскупится на расходы.

— Ну, так вы ошибаетесь, Джекобс, — закричал Лагранж и хлопнул себя по бедрам. — Штамм неподкупнее Робеспьера! Я ничего не смыслю в науке, но уж в людях я разбираюсь, будьте покойны! Этого Штамма можно распилить тупой пилой — и все равно...

Кто-то дернул Лагранжа за рукав.

В дверях салона стоял Штамм, прямой и бесстрастный.

— Мне очень лестно, господа, — проговорил он дребезжащим голосом, — что вы не подвергаете сомнению мою профессиональную добросовестность.

Штамм прошествовал к столу, положил перед собой папку и строго оглядел журналистов.

— Господа, — сказал он, выждав тишины и поправив очки. — Я уполномочен сделать вам экстренное сообщение. Ввиду чрезвычайности положения решено, чтобы вы немедленно информировали свои газеты. Вам раздают печатный текст сообщения президиума МГГ. Просим без искажений и добавлений передать его в свои редакции. Аналогичный текст уже отправлен по радио в ООН и некоторые другие международные организации.

— Что произошло? — раздались голоса.

— Прокомментируйте сообщение!

— За тем я сюда и пришел, — сказал Штамм. И начал комментировать, тщательно взвешивая каждое слово: — Ло-

кационные измерения показывают, что скорость Черного столба быстро возрастает. Его вершина достигла восьмидесяти с лишним километров над уровнем океана и отклоняется на запад — следствие вращения Земли. У поверхности Земли, вы это должны знать, воздух почти не проводит электрического тока, но на высоте восьмидесяти километров проводимость воздуха резко увеличивается и равна проводимости морской воды. Вот почему, достигнув указанной высоты, Черный столб, который, очевидно, обладает высочайшей электропроводностью, близкой к сверхпроводимости, — вот почему столб вызвал небывалую, невиданную грозу, то есть мощные разряды атмосферного электричества.

Штамм чуть передохнул после длинной фразы. Слышно было глухое ворчание грозы.

— Теперь о главном, — продолжал Штамм. — К вечеру столб достигнет ионизированных слоев атмосферы. Ионосфера, это вы тоже должны знать, электрически заряжена, ее потенциал относительно поверхности Земли колоссален. Наблюдения показывают, что в столбе возникли токи проводимости и уже появилось собственное, весьма специфичное поле столба. Оно резко усилится, когда столб войдет в ионосферу и вступит с ней в своеобразное взаимодействие. Земля будет накоротко замкнута со своей ионосферой.

Журналисты, напряженно ожидавшие сенсации, разочарованно вздыхали, переглядывались: опять малопонятные рассуждения о полях...

— При этом Земля не потеряет своего заряда, — продолжал Штамм, — ибо *Zustrom* — постоянный приток заряженных частиц из космоса, — разумеется, не прекратится. Магнитное поле Земли — огромная ловушка этих частиц, так считают многие ученые. Но вследствие прямого замыкания свойства магнитной ловушки значительно изменятся. У нас возникли серьезные опасения, господа, что весь этот комплекс явлений, и прежде всего необъяснимая пока специфика поля столба, повлечет за собой существенное изменение структуры магнитного поля планеты. По некоторым признакам, это может... Мы опасаемся, что это вызовет размагничивание всех постоянных магнитов.

Штамм умолк.

— Почему же они размагнитятся? — раздался спокойный голос Джекобса.

— Магнит размагничивается при нагреве или ударе. —

воскликнул Оловянников.— Но ведь тут ни того, ни другого...

— Да, господа,— сказал Штамм, он как будто немного разволновался.— При ударе и нагреве выше точки Кюри. Перестройка структуры земного магнитного поля, по некоторым данным, вызывает в магните примерно такой же эффект, как и сильный удар или нагрев. Точнее, как то из комплекса этих явлений, что влияет на магнитное состояние тела... Впрочем, я немного отвлекся от цели своего сообщения.— Штамм откашлялся, поправил очки.— Итак, если наши опасения справедливы, размагнитятся магниты — все, какие есть на планете. Надеюсь, вы понимаете, господа: это означает, что электрического тока не будет. Его не даст ни один генератор.

Некоторое время в салоне стояла мертвая тишина. Затем ошеломление взорвалось выкриками.

— Как мы будем жить без электричества?

— Когда вы, ученые, прекратите ваши дьявольские опыты?

— Неужели вы не можете остановить этот чертов столб?

Штамм терпеливо переждал бурю. Когда страсти немного улеглись, он сказал:

— Господа, ученые всего мира ищут способ остановить столб, но он обогнал нас. Необходимо тщательно изучить явление. Это мы и делаем. Безусловно, ученые найдут выход из положения. Как скоро? Не могу сказать. Может быть, месяц, а может и больше, придется пожить без электромагнитной техники. Разумеется, придется широко пользоваться паровыми двигателями. Повторяю: временно. Заверяю вас, что ученые ликвидируют короткое замыкание и восстановят статус-кво. Мы просим соблюдать спокойствие и призвать к этому ваших читателей.

Журналисты ринулись к столу, и каждый получил листок с официальным сообщением.

23

Вечером гроза усилилась. Лил дождь. Несколько раз над «Фукуока-мару» проплывали шаровые молнии, они словно приглядывались к кораблю и уплывали дальше, к Черному столбу.

От бесконечной пляски молний, от неприкаянности, от близости непонятных и грозных событий у Кравцова было смутно на душе. Али-Овсад затащил его к себе, стал пить чаем и расспрашивать об ионосфере. Оловянников сидел с ними, приглядываясь к обоим.

— Слушай,— говорил Али-Овсад, держа блюдце на кончиках пальцев,— бензиновый мотор будет работать? Ему ток не нужен...

— А зажигание? — отвечал Кравцов. — Как без электрической искры?

Али-Овсад задумчиво отхлебывал чай, откусывал сахар.

— Надо мне в Баку ехать,— объявил он вдруг. — Если тока не будет, надо много керосина делать. — Он встал щелкнул выключателем, плафон послушно зажегся. — Горит,— сказал Али-Овсад. — Это, наверно, япон придумал, что электричества не будет. Зачем Морозов его слушает?

— Морозов зря не станет пугать.

— Ай балам, ошибаться каждый человек может.

Али-Овсад, прихлебывая чай из блюдца, стал неторопливо рассказывать про геолога Новрузова, который никогда не ошибался. Однако в один прекрасный день скважина, пробуренная в выбранном самим Новрузовым месте и доведенная уже до двух тысяч метров глубины, внезапно ушла под землю.

— Когда это было? — спросил Оловянников, вытаскивая из кармана блокнот.

— Давно, в сорок девятом. Не пиши, уже наша газета «Вышка» писала — мастер Али-Овсад стоит на буровой вышке, спасает ротор, лебедку, насос. Ротор и лебедку спас это правда, а насос не успел. Совсем новый насос был — завода «Красный молот». Потом мы все бежали — сама вышка в землю ушла. Теперь там вода — озеро.

— А что говорили геологи?

— Каждый свое говорил. Пласты, структура... Земля, а под землей что есть, мы не знаем.

Кравцов слушал рассеянно, про нашумевший когда-то случай в Ширваннефти он прекрасно знал. Чай уже не лез в горло.

— Пойду письма писать,— сказал он и побрел к себе.

Перед каютой Уилла он постоял в раздумье, потом тихонько постучал, и сразу дверь отворилась. Норма Хемптон стояла у порога, она приложила палец к губам и покачала головой.

— Кто там? — раздался слабый голос Уилла.

— Ты не спишь? — сказала Норма. — Ладно, заходите, мистер Кравцов.

— Ну, Уилл, как вы тут? — Кравцов сел, беспокойно вглядываясь в лицо шотландца. В каюте был полумрак, горела лишь настольная лампа, прикрытая газетой.

— Ничего, лучше. Зажгите свет.

Вспыхнул плафон. В его желтом свете сухое лицо Уилла показалось Кравцову незнакомым. Может, потому, что щеки обросли седой щетиной. И в глазах появилось что-то новое, не было уже иронической усмешечки. Движимый внезапным приливом нежности, Кравцов осторожно коснулся руки Уилла ладонью.

— Выкладывайте новости, парень, — сказал Уилл.

— Новости? Да, новости есть, и не очень-то веселые... — Он принялся рассказывать.

— Не будет электрического тока? — изумилась Норма Хемптон. — Вы правильно поняли Штамма?

Кравцов усмехнулся.

— Я передаю вам то, что слышал, слово в слово. Кстати, миссис Хемптон, вы не получили текста... Эх, не догадался взять для вас!... В пресс-центре, должно быть, еще есть...

— Бог с ним, с текстом, — сказала Норма.

«А ведь она совсем, совсем не молода», — подумал Кравцов, глядя на усталое лицо женщины.

— Пойди, — сказал Уилл. — Это твоя обязанность.

— И отдохните заодно, — добавил Кравцов. — Я посижу с Уиллом.

— Ну что ж, — Норма нерешительно поднялась, — если вы побудете здесь... Вот флакон, мистер Кравцов. Ровно в девять накапайте из него двадцать капель и дайте ему выпить.

Она вышла.

— Короткое замыкание, — сказал Уилл после паузы. — Вот как.

— Да. Колоссальный пробой ионосфера — Земля. Трудно представить.

— Я был уверен, что здесь просто магнитная аномалия, — сказал Уилл. — Потому и напросился на вахту, что хотел проверить свое предположение. Да, собственно, не мое. Его еще тогда, шесть лет назад, высказывали Гилар, Нуаре...

— И Комарницкий, — вставил Кравцов.

В дверь постучали. Стюард-японец скользнул в каюту, вежливо пошипел, поставил на столик свечу на черном блюдечке.

— Это зачем? — сказал Кравцов.

— Распоряжение капитана, сэр.

Стюард неслышно притворил за собой дверь.

— Свечи... Керосиновые лампы... — Кравцов покачал головой. — Дожили...

— Парень, пойдите и скажите им: атомная бомба. Только атомная бомба возьмет столб.

— Да перестаньте, Уилл.

— Я не шучу. Другого выхода нет.

Они помолчали. Кравцов взглянул на часы, накапал в стакан с водой двадцать капель из флакона, дал шотландцу выпить.

— У вас есть родители? — спросил вдруг Уилл.

— У меня мама. Отца я не помню, он погиб в сорок восьмом, когда мне было три года. Он был летчик-испытатель.

— Он разбился?

— Да. Реактивный истребитель.

Уилл помолчал, а потом задал новый вопрос, и опять неожиданный:

— Зачем вы изучаете испанский?

— Ну, просто интересно. — Кравцов улыбнулся. — Помоему, было бы неплохо, если б все люди изучали иностранные языки. Легче общаться.

— А вы обязательно хотите общаться?

— Не знаю, что вам сказать, Уилл. Общение людей — что в этом дурного?

— А я не говорю, что дурно. Бесплезно просто.

— Не хочу сейчас спорить с вами. Поправляйтесь, тогда поспорим.

— Что-то в вас раздражает меня.

Кравцов внимательно посмотрел Уиллу в глаза. Решил перевести в шутку:

— Это, должно быть, оттого, что я злоупотреблял гречневой кашей на завтрак...

Плафон стал тускнеть, тускнеть — и погас. Настольная лампа тоже погасла.

— Началось, — сказал Кравцов, нашаривая спички в кармане. — Прощай, электричество.

Он чиркнул спичкой, зажег свечу.

Это случилось не сразу на всей планете. Вначале зона размагничивания захватила район Черного столба, потом она медленно и неравномерно стала растекаться по земному шару.

Дольше всего электромагнетизм задержался на крошечном клочке суши, затерянном в просторах Атлантики, — на острове Вознесения, являющемся по своему географическому положению почти антиподом района Черного столба. Там электрические огни погасли на одиннадцать дней позже.

Казалось, что жизнь на планете гигантским скачком вернулась на целое столетие назад.

Напрасно воды Волги, Нила и Колорадо-ривер, падая с гигантских плотин, вращали колеса гидроэлектростанций; соединенные с ними роторы электрических генераторов крутились вхолостую: их обмотки не пересекали магнитных силовых линий и в них не наводилась электродвижущая сила.

Напрасно атомные котлы грели воду — пар так же бессмысленно вращал роторы генераторов.

Напрасно линии электропередач густой сетью оплели планету, напрасно тянулись провода в заводские цехи, в городские квартиры и дома крестьян — по ним не бежал животительный поток электронов, неся людям свет, тепло и энергию.

Конечно, электрический ток не исчез вовсе. Его давали химические элементы — батарейки карманных фонариков. Его давали аккумуляторные батареи — пока не разрядились, а зарядить их было нечем. Его вырабатывали электростатические машины трения, термоэлектрические и солнечные батареи. Их пробовали присоединять к обмоткам возбуждения генераторов, но ток протекал по катушкам зря, не возбуждая искусственного магнитного поля.

Остановилась могучая земная индустрия, энергетика которой базировалась на электромагнетизме. Погрузились во мрак вечерние улицы городов. Замерли троллейбусы, токарные станки, лифты в многоэтажных зданиях, стиральные машины, магнитофоны и мостовые краны. Двигатели внутреннего сгорания лишились зажигания. Умолкло радио. Телефонные станции онемели.

Люди оказались разобщены, как столетие назад.

Усложнилась навигация: картушки магнитных компасов бестолково крутились под стеклом, не указывая штурманам истинного курса.

Не только люди страдали от неожиданного бедствия. Рыбы потеряли свои таинственные дорожки в электрических токах океанских течений и нерестились, где попало.

Перелетные птицы не могли найти привычных дорог...

Полярные сияния двинулись к экватору и остановились над ним, опоясав планету мерцающим, переливающимся кольцом.

Поползли грозные слухи об увеличении потока первичного космического излучения в нижних слоях атмосферы, защитные свойства которой начали заметно изменяться. Жители горных районов покидали свои жилища, спускались в долины. Из уст в уста передавали страшную весть о гибели на Памире персонала высокогорной обсерватории.

Перед катастрофой Генеральная ассамблея Объединенных Наций была занята разрешением запутанного вопроса о некоем княжестве, где девять принцев крови одновременно претендовали на престол. Высокородным отпрыскам велели образовать коалицию. Не до них теперь было. При Генеральной ассамблее создали Комитет Черного столба, составленный из крупнейших ученых мира. А пока этот комитет напряженно изыскивал способ ликвидации Черного столба, миру предстояло приспособиться к жизни в новых условиях.

Но мир этот не был един.

В социалистических странах плановая система позволила организованно осуществить переселение жителей горных районов, временную консервацию электропромышленности и перевод предприятий с электрической энергетики на паровую. Работники электропромышленности спешно осваивали новые, временные виды производства, где теперь, без электричества, требовалось больше людей.

А капиталистический мир лихорадило. Вспыхнула ожесточенная борьба монополий за правительственные заказы. Угольные и нефтяные акции взлетели до небес, акции электрических и алюминиевых компаний обесценились. Те, кто верил в ликвидацию замыкания, скупали их. На биржах царил паника. Рыцари наживы быстрее всех приспособились к условиям катастрофы. Колоссальные спекуляци

охватили капиталистический мир. Цены росли, налоги увеличивались...

Газеты подогревали панику аршинными заголовками о «последних днях человечества», но и за этими заголовками нередко скрывались корыстные интересы монополий. Трансатлантическая транспортная компания заключила сделку с газетным концерном, и по Америке прокатился слух, будто антипод Черного столба, остров Вознесения, будет поражен космическими лучами гораздо позже остальных районов земного шара. Состоятельные люди устремились на этот крохотный, жаркий, почти лишенный воды конус, торчащий из глубин Атлантического океана. В Джорджтаун — единственный населенный пункт на острове, в котором жило сотни две человек, обслуживающих порт, — ежедневно прибывали богатые эмигранты. Они привозили с собой продовольствие, строительные материалы, воду. Платили бешеные деньги за проезд, за каждый квадратный метр каменной почвы у подножья горы. Очень скоро здесь не осталось ни одного свободного участка, пригодного для жилья. Цены взвинчивались до астрономических масштабов. На острове вспыхивали кровавые столкновения.

Британское правительство, которому принадлежал остров Вознесения, направило правительству Соединенных Штатов решительный протест. Вашингтон его отклонил, указав в ответной ноте, что остров Вознесения захвачен частными лицами, за действия которых американское правительство не несет ответственности.

К острову Вознесения и к близлежащему острову Святой Елены, на который тоже устремился поток эмигрантов, были посланы английские военные корабли.

Темные силы невежества, плохо скрытые благопристойным покровом религии и капитала, всплыли наружу.

— Конец света! Ждите всадников Апокалипсиса! — кричали на площадях перед соборами небритые люди, отвыкшие от неэлектрических средств бритья.

— Вот до чего довели нас ученые! Бей ученых! — надрывались давочники, готовые к погромам.

В Принстон, штат Нью-Джерси, на лошадях, покрытых пылью южных дорог, приехала целая рота вооруженных молодых людей. Рассыпавшись цепью по аккуратным газонам, они пошли в атаку на главное университетское здание. Студентов и преподавателей, встречавшихся на пути, зверски избивали, а двоих, оказавших яростное сопротив-

ление, пристрелили на месте. Погромщики врывались в лаборатории и старательно били посуду, опрокидывали столы, разрушали приборы.

— Где тут работал бандит Эйнштейн? — орали они. — Покончим с евреями! Вешать профессоров! Пора оздоровить нацию!

Улюлюкая, они кинулись громить профессорские коттеджи. Кучка студентов и преподавателей забаррикадировалась в одном из коттеджей и отбросила погромщиков револьверным огнем. До поздней ночи гремели выстрелы, и коттедж отбивал атаку за атакой, пока не кончились патроны. Но и тогда храбрецы не сдались, вступили с бандитами в рукопашную и падали один за другим, изрешеченные пулями. Когда прибыла полиция, коттедж пылал жарким факелом, выстреливая в сумрачное ноябрьское небо снопы искр. Бандиты открыли огонь по полиции, к обеим сторонам прибывали подкрепления, и федеральное правительство послало в Принстон войска. Шесть дней в Принстоне шла настоящая война. Шесть кровавых дней.

25

Мир поневоле приспособлялся к новым условиям. Транспорт вернулся к паровому котлу: паровозы потянули составы, освещенные керосиновыми и ацетиленовыми фонарями; из гаваней отплывали пароходы. Появились переговорные трубы и пневматическая почта. Количество почтовых отделений пришлось увеличить во много раз. Открытки заменили телефон.

По асфальту городов зацокали копыта лошадей, запряженных в грузовые и легковые автомобили. Появились странные гибриды: дизельные двигатели с паровыми пускателями.

А через две недели весь мир облетели имена студентов-дипломатов Московского высшего технического училища имени Баумана — Леонида Мослакова и Юрия Крамера, которые придумали устройство, заменившее электрическое зажигание двигателей внутреннего сгорания. Изобретение было просто до гениальности. Хитроумные студенты смонтировали в корпусе свечи огневое колесо с зубчиками и

длинный пирофорный стержень с механизмом постоянной микроподачи. Толкатель распределительного валика держал пружину, колесо чиркало о стержень и высекало искру. Словом, это была обыкновенная зажигалка — зажигалка Мослакова—Крамера, и именно благодаря ей ожили великие полчища автомашин, и улицы городов снова приняли привычный вид.

Срочно увеличивалась добыча угля и нефти. Форсированно налаживалось производство керосиновых ламп и свечей.

Что до газет, то они продолжали выходить исправно, без перерыва, только печатались они теперь при свете керосиновых или ацетиленовых ламп на ротациях с приводом от паровых машин. И редко, когда первую полосу газет не украшало фото загадочного, окутанного паром, вставшего из океана Черного столба...

«Академик Морозов сообщил, что, по мнению Международного комитета ученых, короткое замыкание будет ликвидировано не позже конца года. Поэтому необходимо, не снижая внимания к нуждам временной паровой энергетики, начать подготовку к переходу на электроэнергию. Сегодня мы публикуем для общего обсуждения проект плана...»

(«Известия»).

«Угольные акции никогда еще не стояли так высоко»,
(«Уолл-стрит джорнел»).

«На острове Святой Елены идет крупное строительство. По слухам, склеп Наполеона снесен и на его месте сооружается вилла для семьи Рокфеллера-самого-младшего. Лондон готовит новую ноту Вашингтону. Третий британский флот направлен для охраны островов Тристан да Кунья».

(«Дейли телеграф»).

«Слово нефтепереработчиков: перевыполнить план по осветительным сортам керосина».

(«Бакинский рабочий»).

«Национализированные угольные копи должны быть возвращены в руки законных владельцев — только это спасет Великобританию».

(«Таймс»).

«Красные вручили желтолицему судьбы мира. Теперь гибель неизбежна, если мы не примем меры».

(«Джорджия он сандей»).

«Фашизм не пройдет! Принстон не повторится!»

(«Уоркер»).

«Наибольшая мировая сенсация с тех пор, как в 1949 году фирма «Сенсон Хоуджери Миллз» выпустила женские чулки с черной пяткой по патенту художников из Филадельфии Блея и Спарджена. Покупайте чулки новой марки «Черный столб»!

(«Филадельфия ньюз»).

«В эту зиму жителей Парижа будет согревать их неистощимый оптимизм».

(«Фигаро»).

«Домохозяйки требуют: дайте нам электричество!»

(«Фор ю умен»).

«Повышение цен на свечи не должно снизить религиозного энтузиазма верующих».

(«Оссерваторе Романо»).

«Этой осенью не состоялось ни одной экспедиции в Гималаи на поиски снежного человека. Ассоциация шерпов-носильщиков встревожена. Его величество король Непала лично изучает вопрос».

(«Катманду уикли»).

«В связи с дороговизной топлива в этом сезоне, к сожалению, ожидается переход на длинные закрытые платья. Наш обозреватель надеется, что удастся создать модели со стекловатными утепляющими подкладками, могущими подчеркнуть специфику женской фигуры. В отношении дамского нижнего белья ожидается...»

(«Ля ви паризьен»).

26

— Шаровая молния! — крикнул в мегафон наблюдатель. — Все вниз! Шаровая молния!

Верхняя палуба «Фукуока-мару» опустела, только аварийная команда осталась наверху.

Таков был строжайший приказ Штаба ученых: при появлении шаровой молнии укрываться во внутренних помещениях, задраивать все иллюминаторы, люки и горловины. Приказ пришлось издать после того, как однажды огненный шар вполз в открытый люк судовой мастерской и вызвал пожар, с трудом потушенный японскими матросами.

Повинуясь приказу, Кравцов спустился вниз. Он заглянул в холл перед салоном, надеясь увидеть там Оловяни-

кова, но увидел только группку незнакомых людей за стойкой бара.

Каждый день прилетали на реактивных гидросамолетах незнакомые люди — ученые, ооновские чиновники, инженеры, журналисты. Одни прилетали, другие улетали. Совещались, спорили, продымили «Фукуоку» насквозь табаком, опустошили огромный судовой склад вин.

А Черный столб между тем лез все выше за пределы земной атмосферы и, пройдя добрую треть расстояния до Луны, загибался вокруг Земли, словно собираясь опоясать планету тоненьким ремешком. Он по-прежнему был окутан мраком бесчисленных туч, и пучки молний били в Столб, и, казалось, грозе не будет конца.

Дистанционные приборы там, на плоту, давно не работали. «Фукуока» ходил вокруг плота, то приближаясь к нему, то удаляясь. Где-то застрял транспорт с горючим, а топливо на «Фукуоке» было на исходе.

Тревожно текла жизнь на судне. Но больше всего Кравцова угнетало вынужденное безделье. Он понимал, что ученым нелегко — поди-ка, разберись в таинственном поле, окружающем Черный столб! Но все же слишком уж затянулись их совещания. Кравцова так и подмывало пойти к Морозову и спросить его напрямик: когда же вы решитесь, наконец, побороться с Черным столбом, сколько, черт возьми, можно ждать?.. Но он сдерживал себя. Знал, как безмерно много работает Морозов.

Брамуля же, с которым Кравцов изредка сталкивался в каюте Али-Овсада за чаепитием, не отвечал на вопросы, отшучивался, рассказывал соленые чилийские анекдоты.

Кравцов в тоскливом раздумье стоял в тускло освещенном холле, поглядывая на дверь салона, за которой совещались ученые.

— Хелло,— услышал он и обернулся.

— А, Джим! Добрый вечер. Что это вы не играете на бильярде?

— Надоело! — Джим Паркинсон невесело усмехнулся. — Сорок партий в день — можно взвыть по-собачьи. Говорят, завтра придет транспорт с горючим, не слышали?

— Да, говорят.

— Не хотите ли выпить, сэр?

Кравцов махнул рукой.

— Ладно.

Они уселись на табуреты перед стойкой, бармен-японец быстро сбил коктейль и поставил перед ними стаканы. Они молча начали потягивать холодный,пряно пахнувший напиток.

— Будет у нас работа или нет? — спросил Джим.

— Надеюсь, что будет.

— Платят здесь неплохо, некоторым ребятам нравится получать денежки за спанье и бильярд. Но мне порядком надоело, сэр. Целый месяц без кино, без девочек. Радио — и то не послушаешь.

— Понимаю, Джим. Мне, признаться, тоже надоело.

— Сколько можно держать нас на этой японской коробке? Если ученые ничего не могут придумать, пусть прямо скажут и отпустят нас по домам. Я проживу как-нибудь без электричества, будь оно проклято.

От пряного напитка у Кравцова по телу разлилось тепло.

— Без электричества нельзя, Джим.

— Можно! — Паркинсон со стуком поставил стакан. — Плевал я на магнитное поле и прочую чушь.

— Вам наплевать, а другие...

— Что мне до других? Я вам говорю: обойдусь! Бурить всегда где-нибудь нужно. Пусть не электричество, а паровая машина крутит долото на забое, что из того?

«Ну вот, — подумал Кравцов, — уже и этот флегматик взбесился от безделья».

— Послушайте, Джим...

— Мало этой грозы, так еще шаровые молнии появились, летают стаями. Наверх не выйти, японцы с карабинами на всех трапах... К чертям, сэр! Ученым здесь интересно, так пусть ковыряются, а мы все не хотим!

— Перестаньте орать, — хмуро сказал Кравцов. — Кто это «мы все»? Ну, отвечайте!

Узкое лицо Паркинсона потемнело. Не глядя на Кравцова, он кинул на прилавок бумажку и пошел прочь.

Кравцов допил коктейль и слез с табурета. Пойти, что ли, к себе, завалиться спать...

Возле двери его каюты стоял, привалившись спиной к стене коридора, Чулков.

— Я вас жду, Александр Витальич... — Чулков сбил кепку на затылок, его круглое мальчишеское лицо выражало тревогу.

— Заходите, Игорь. — Кравцов пропустил Чулкова в каюту. — Что случилось?

— Александр Витальич, — понизив голос, быстро заговорил Чулков, — нехорошее дело получается. Они давно уж нас сторонятся, ребята из бригады Паркинсона, собираются в своей кают-компании, шушукаются... А с полчаса назад я случайно услышал один разговор... Это, извините, в галюне было, они меня не видели — Флетчер и еще один, который, знаете, вечно заливается, будто его щеко-чут, — они его Лафинг Билл * называют.

— Да, припоминаю, — сказал Кравцов.

— Ну вот. Я, конечно, в английском не очень-то, здесь только малость нахватался. В общем, как я понимаю, удирать они собираются. Завтра придет транспорт с горючим, закончат перекачку, тут они сомнут охрану, прорвутся на транспорт, и тью-тью к себе в Америку...

— Вы правильно поняли, Игорь?

— Атак зы транспорт — чего ж тут не понять?

— Ну, так пошли. — Кравцов выскочил из каюты и побежал по коридору.

— Александр Витальич, так нельзя, — торопливо говорил Чулков, поспешая за ним. — Их там много...

Кравцов не слушал его. Прыгая через ступеньки, он сбежал в палубу «Д» и рванул дверь кают-компания, из-за которой доносились голоса и смех.

Сразу стало тихо. Сквозь сизую завесу табачного дыма десятки глаз уставились на Кравцова. Флетчер сидел на спинке кресла, поставив на сиденье ноги в высоких черных ботинках. Он выпятил нижнюю губу и шумно выпустил струю дыма.

— А, инженер, — сказал он, щуря глаза. — Какживаете, мистер инженер?

— Хочу поговорить с вами, ребята, — сказал Кравцов, обводя взглядом монтажников. — Я знаю, что вы задумали бежать с «Фукуока-мару».

Флетчер соскочил с кресла.

— Откуда вы знаете, сэр? — осведомился он с недоброй ухмылкой.

— Вы собираетесь завтра прорваться на транспорт, — сдержанно сказал Кравцов. — Это у вас не получится, ребята.

— Не получится?

— Нет. Честно предупреждаю.

— А я предупреждаю вас, сэр: мы тут вместе с вами подыхать не собираемся.

— С чего вы это взяли, Флетчер? — Кравцов старался говорить спокойно.

— А с чего это нам платят тройной оклад за безделье? Верно я говорю, мальчишки?

— Верно! — зашумели монтажники. — Даром такие денежки платить не будут, знают, что подохнем!

— Атом так и прет из Черного столба!

— Шаровые молнии по каютам летают!

— Макферсон помирает уже от космических лучей, скоро и мы загнемся!

Кравцов опешил. На него наступала орущая толпа, а он был один: Чулков исчез куда-то. Он видел: в углу на диване сидел Джим Паркинсон и безучастно перелистывал пестрый журнал с блондинкой в купальнике на глянцевого обложке.

— Неправда! — выкрикнул Кравцов. — Вас ввели в заблуждение! У Макферсона инфаркт, космические лучи тут ни при чем. Ученые думают, как справиться с Черным столбом, и мы должны быть наготове...

— К черту ученых! — рявкнул Флетчер.

— От них все несчастья!

— Ученые всех загубят, дай им только волю!

— Завтра придет транспорт, и никто нас не удержит! Расшвыряем япошек!

Монтажники сомкнулись вокруг Кравцова. Он видел возбужденные, орущие рты, ненавидящие глаза...

— Мы не позволим вам дезертировать! — пытался он перекричать толпу.

Флетчер с искаженным от бешенства лицом шагнул к нему. Кравцов весь напрягся...

Паркинсон отшвырнул журнал и встал.

Тут с шумом распахнулась дверь, в кают-компанию ввалились монтажники из бригад Али-Овсада и Георги. Запыхавшийся Чулков проворно встал между Кравцовым и Флетчером.

— Но-но, не чуди, — сказал он техасцу. — Осади назад.

— Та-ак, — протянул Флетчер. — Своего защищать... Ребята, бей красных! — заорал он вдруг, отпрыгнув назад и запустив руку в задний карман.

— Стоп! — Джим Паркинсон схватил Флетчера за руку. 81

Тот рванулся, пытаюсь высвободить руку, но Джим держал крепко. Лицо Флетчера налилось кровью.

— Ладно, пусти,— прохрипел он.

— Вот так-то лучше,— сказал Паркинсон обычным вялым голосом.— Расходитесь, ребята. Моя бригада остается, мистер Кравцов. Будем ждать, пока нам не дадут работу.

В кают-компанию быстрым шагом вошел Али-Овсад.

— Зачем меня не позвал? — сказал он Кравцову, шумно отдуваясь.— Кто здесь драку хочет?

— Карашо, Али-Овсад,— сказал Джим.— Карашо. Порьядок.

— Этот? — Али-Овсад ткнул пальцем в сторону Флетчера, который все потирал руку.— Эшшек баласы, кюль башына *! — принялся он ругаться.— Ты человек или кто ты такой?

27

Они ужинали втроем за одним столиком — Кравцов, Оловянных и Али-Овсад. Старый мастер жевал ростбиф и рассказывал длинную историю о том, как его брат-агроном победил бюрократов Азервинтреста и резко улучшил качество двух сортов винограда. Кравцов слушал вполуха, потягивал пиво, поглядывал по сторонам.

— На-днях,— сказал Оловянных, когда Али-Овсад умолял,— я стал невольным свидетелем такой сцены. Токунага стоял у борта — видно, вышел подышать свежим воздухом. Мне захотелось его незаметно сфотографировать, и я принялся менять объектив. Вдруг вижу: японец снял с запястья какой-то браслет, посмотрел на него и бросил за борт. Тут как раз Морозов к нему подошел. «Что это вы кинули в море, Масао-сан? — спрашивает.— Не Поликратов ли перстень?» Токунага улыбается своей грустной улыбкой, отвечает: «К сожалению, нет у меня перстня. Я выбросил магнитный браслет...» Ну, знаете эти японские браслеты, их носят многие пожилые люди, особенно гипертоники....

— Слышал,— сказал Кравцов.

— Да, вот так,— продолжал Оловянников. — Морозов стал серьезным. «Не понимаю,— говорит,— вашего хода мыслей, Масао-сан. Вы что же, полагаете, что нам не удастся...» «Нет, нет,— отвечает Токунага.— Мы, конечно, вернем магнитам их свойства, но не знаю, дождусь ли я этого...» «Ну зачем вы так...» Морозов кладет ему руку на плечо, а тот ему говорит: «Не обращайтесь внимания, Морозов-сан. Мы, японцы, немножко фаталисты».

— А дальше что? — спросил Кравцов.

— Они ушли. Он, видимо, и вправду неизлечимо болен, Токунага...

— Да,— сказал Кравцов.— Не очень-то веселая история.

Некоторое время они молча ели.

— Что это за пигалица с седыми усами? — вполголоса спросил Кравцов, указав движением брови на маленького человечка, который ужинал за столиком Морозова.

— Эта пигалица — профессор Бернштейн,— ответил Оловянников.

— Вон что! — Кравцову стало неприятно из-за «пигалицы». — Никак не думал, что он...

— Такой немощный? А вы читали в американских газетах, как он вел себя в Принстоне? Он забаррикадировался в своей лаборатории и создал вокруг нее мощное электрическое поле. Он получал энергию от электростатического генератора, который вращался ветродвигателем. Бандитов затрясло, как в пляске святого Витта, и они поспешили убраться. Все шесть дней он просидел в лаборатории с двумя сотрудниками, на одной воде. Вот он какой.

— Все-то вы знаете,— сказал Кравцов.

— Профессия такая.

— Между прочим, Чулков рассказывал, что вы извлекали из него различные сведения обо мне. Зачем это?

— Болтун ваш Чулков. Просто я интересовался, как вы подавляли мятеж.

— Ну уж — «мятеж», — усмехнулся Кравцов.

— Он про тебя писать хочет,— вмешался Али-Овсад. — Он хочет писать так: Кравцов стоял возле Черный столб...

Оловянников со смехом протянул мастеру руку, и тот благосклонно коснулся пальцами его ладони.

— Целый месяц крутимся вокруг Столба,— сказал Кравцов. — Наблюдаем, измеряем... Осторожничаем... Надое-

ло.— Он допил пиво и вытер губы бумажной салфеткой.— Действительно, трахнуть его, дьявола, атомной бомбой...

Морозов оглянулся, мельком взглянул на Кравцова. Услышал, должно быть. В тускловатом свете керосиновых ламп седина его отливала медью.

Кельнер-японец неслышно подошел, вежливо втянул воздух, предложил мороженое с фруктами.

— Благодарю, не хочется,— Кравцов поднялся.— Пойду Макферсона проведаю.

Али-Овсад посмотрел на часы.

— Через час Брамульян придет ко мне чай пить,— сказал он.— Один час времени есть.

— Приохотили вы его, однако, к чаю, Али-Овсад,— засмеялся Оловянныхиков.

— Мы с Брамульяном в воскресенье будем джыз-быз делать. Мне повар обещал кишки-мишки от барана.

— Вы идете к Макферсону? — спросил Оловянныхиков.— Разрешите, я тоже пойду.

28

Несколько дней назад врач разрешил Уиллу двигать руками и поворачиваться с боку на бок. Нет-нет да искажала гримаса боли его лицо, и нижняя челюсть как-то особенно выпирала, и Норма Хемптон в ужасе бежала за врачом.

Но все-таки опасность, по-видимому, миновала.

Уилл лепил из пластилина фигурки, а когда лепить надоедало, просил Норму почитать газеты или излюбленные «Записки Перигрина Пикаля». Он слушал, ровно дыша и закрыв глаза, и Норма, взглядывая на него, не всегда могла понять, слушает ли он, или думает о чем-то своем, или просто спит.

— Как только ты поправишься,— сказала она однажды,— я увезу тебя в Англию.

Уилл промолчал.

— Как бы ты отнесся к мысли поселиться в Чeshire, среди вересковых полей? — спросила она в другой раз.

Надо было отвечать, и он ответил:

— Я предпочитаю Камберленд.

— Очень хорошо, — сразу согласилась она. И вдруг просяла: — Камберленд. Ну, конечно, мы провели там медовый месяц. Боже, почти двадцать пять лет назад... Я очень рада, милый, что ты вспомнил.

— Напрасно ты думаешь, что я вспоминаю медовый месяц. Просто там скалы и море, — сказал он спокойно. — Почитай-ка мне лучше эту дурацкую историю о черепахах.

И Норма принялась читать роман «Властелины недр», печатавшийся с продолжением в «Дейли телеграф», — нескончаемый бойкий роман о полчищах неких огненных черепах, которые вылезли из земных недр и двинулись по планете, сжигая и губя все живое, пока их предводитель не влюбился в прекрасную Мод, жену торговца керосином.

Страсть огнедышащего предводителя как раз достигла высшего накала, когда в дверь постучали и вошли Али-Овсад, Кравцов и Оловянныхиков.

— Кажется, вы правы, Уилл, — сказал Кравцов, подсаживаясь к койке шотландца. — Надо перерезать Столб атомной бомбой.

— Да, — ответил Уилл. — Атомная бомба направленного действия. Так я думал раньше.

— А теперь?

— Теперь я думаю так: мы перережем Столб атомным взрывом, и магнитное поле придет в норму. Но Столб все равно будет лезть и снова достигнет ионосферы. Снова короткое замыкание.

— Верно, — сказал Кравцов. — Как же, черт возьми, его остановить?

— Наверно, он сам остановится, — сказал Али-Овсад. — Пластовое давление выжмет всю породу — и остановится.

— На это, Али-Овсад, не стоит рассчитывать.

— Позавчера, — сказал Оловянныхиков, — журналисты поймали Штамма в салоне, зажали его в углу и потребовали новостей. Конечно, ничего выведать не удалось, — просто железобетонный человек, — но зато он стал нам излагать свою любимую теорию. Вы слышали что-нибудь, Саша, о теории расширяющейся Земли?

— Кое-что слышал — еще в институте были у нас споры.

— Очень странные вещи говорил Штамм. Будто Земля во времена палеозоя была чуть ли не втрое меньше в поперечнике, чем теперь. Это что — серьезно или дядя Штамм шутит?

Кравцов усмехнулся.

— Не говорите глупостей, Лев. Штамм скорее... ну, не знаю, укусит вас, чем станет шутить. Есть такая гипотеза — одна из многих. Дескать, внутреннее ядро Земли — остаток очень плотного звездного вещества, из которого некогда образовалась Земля. Ядро будто бы все время уплотняется, его частицы постепенно переходят в вышележащие слои и... ну, в общем расширяют их. Все это, конечно, страшно медленно.

— Вот и Штамм говорил, что внутри Земли возникают новые тяжелые частицы — протоны и нейтроны, кажется, — и наращивают массу Земли. Но откуда берутся новые частицы?

— В том-то и вся сложность вопроса, — сказал Кравцов. — Я сейчас уж не очень помню, а тогда мы бешено спорили об этой гипотезе; у нас одно время преподавал ученик ее автора — Кириллова... Откуда берутся новые частицы?.. Помню разговор о взаимном переходе поля и вещества, качественно разных форм материи, этот переход и создает впечатление... как бы рождения вещества. В общем, тут совместное действие гравитационного, электромагнитного и каких-то других, пока неизвестных полей... Что говорить, только единая теория поля открыла бы нам глаза.

— Уж не хотите ли вы сказать, мистер Кравцов, — раздался насмешливый голос шотландца, — что наш дорогой Столб состоит из протонного или нейтронного вещества?

— Нет, мистер Макферсон. Я просто припоминаю гипотезу, которую исповедует наш дорогой Штамм.

— А вы что исповедуете?

— Гречневую кашу, Уилл, вы же знаете. — Кравцов взял со стола и повертел в руках пластилиновый самолетик. — Я смотрю, в вашем творчестве появилась новая тематика.

— Дайте-ка сюда. — Макферсон отобрал у него фигурку и смял ее в комок.

— Все-таки хорошо, Уилл, что вы стали буровым инженером, а не скульптором, — заметил Кравцов.

— Вы всегда знаете, что хорошо, а что плохо. Всезнающий молодой человек.

— Вот не думал, что вы обидитесь, — удивился Кравцов.

— Чепуха, — сказал шотландец. — Я не обижаюсь, па-рень. Мне только не нравится, когда вы лезете в драку с американцами.

— Вовсе я не лез, Уилл. Не такой уж я драчливый.

Помолчали немного. Мигало пламя в керосиновой лампе, по каюте ходили тени.

— Я много спать теперь хочу, — сказал вдруг Али-Овсад. — Раньше мало спал. Теперь много хочу. Наверно, потому, что магнитное поле неправильное.

— Теперь все можно валить на магнитное поле, — улыбнулся Кравцов. — Или на гравитационное.

— Гравитация, — продолжал Али-Овсад. — Все говорят — гравитация. Я это слово раньше не знал, теперь — сплю и вижу: гравитация. Что такое?

— Я же объяснял, Али-Овсад...

— Ай, бадам, плохо объяснял. Ты мне прямо скажи: тяжесть или сила? Я землю много бурил, я знаю: земля большую силу внутри имеет.

— Кто же спорит? — сказал Кравцов.

— Недаром в русских сказках ее почтительно называют «мать-сыра земля», — заметил Оловяников. — Помните, Саша, былину о Микуле Селяниновиче?

— Былина? Расскажите, пожалуйста, — попросил Уилл.

«До чего любит сказки, — подумал Кравцов. — Хлебом его не корми...»

— Ну что ж, — со вкусом начал Оловяников. — Жил-был пахарь, звали его Микула Селянинович. Пахал он однажды возле дороги, а сумочку свою с харчами положил на землю. Пашет, на солнышко поглядывает — успеть бы. Тут едет мимо на могучем коне Вольга-богатырь. Едет и скучает: дескать, некуда мне свою силу богатырскую приложить, все-де для меня легко и слабо. Услыхал Микула Селянинович, как богатырь похваляется, и говорит ему: попробуй, подыми мою сумочку. Ну, экая важность — сумочка. Нагибается Вольга, не слезая с коня, берет одной рукой за сумочку — не получается. Пришлось спешиться и взяться двумя руками. Все равно не может поднять. Осерчал Вольга-богатырь, да как рванет сумочку — и не поднял ее, а сам по колени в землю ушел. А Микула Селянинович голкует ему: мол, тяга в сумочке от сырой земли.

— Хорошая сказка, — одобрил шотландец.

— С острым социальным смыслом, — заметил Кравцов.

— Микула олицетворяет мирный труд, а Вольга — богатырь.

— Может быть, и так. А может быть, просто ваши умные предки почувствовали непреоборимость земного тяго-

тения. Вон где берут начало фантастические предположения нашего времени... Микула — как вы говорите?

— Микула Селянинович, — сказал Оловянников.

— Да. Его сумочка — и уэллсовский каворит. А, джентльмены?

— Теперь я скажу, — заявил Али-Овсад, тронув пальцем черное пятнышко усов в углублении над губой. — Совсем давно был такой Рустем-бахадур *. Он когда ходил, его ноги глубоко в землю проваливались.

— Такой тяжелый был? — спросил Оловянников.

— Зачем тяжелый? Я разве сказал — тяжелый? Просто чересчур сильный был. Такой сильный, что хочет тихо наступить, а нога полметра в землю идет. Тогда пошел Рустем к один шайтан, говорит: возьми половину моей силы, спрячь, а когда я старый буду, приду — возьму...

Кравцов встал, заходил по каюте, тени на стенах заколыхались, запрыгали.

— Как бы сделать, — проговорил он, остановившись перед койкой Уилла, — как бы сделать, чтобы сила Столба заставила его самого войти в землю?.. Только его собственная сила справится с ним.

— Хочешь перевернуть Черный столб? — засмеялся Али-Овсад. — Ай, молодец!

29

Кравцов томился у входа в салон. Там шло очередное совещание ученых. Гул голосов за дверью то усиливался, то стихал. По матовому стеклу двери равномерно проплывала тень: кто-то из ученых расхаживал по салону взад и вперед.

«Какого дьявола я торчу здесь, — думал Кравцов. — Им не до меня. Лучшие геофизики мира собрались здесь, мозговики, лауреаты всех, какие только есть, премий. А я ползу со своей корявой идеей?.. Использовать силу самого Столба — тоже мне идея...»

В глубине души Кравцов, разумеется, знал, что ему нужен только повод для разговора с Морозовым. Невтерпеж

уже это ожидание и неизвестность. Да, он наберется дерзости и спросит напрямик у Морозова: сколько еще ждать?

Стюард с подносом, заставленным бутылками и сифонами, шмыгнул в салон. В приоткрывшуюся дверь Кравцов увидел чью-то обширную лысину и чьи-то руки, держащие лист ватмана; услышал обрывок фразы на ломаном русском: «...не разместите такую установку...»

Установка! Ага, речь у них идет уже о какой-то установке...

Кравцов то валился в кресло, то снова принимался вышагивать по тускло освещенному холлу. Томительно текло время, подползая к двум часам ночи.

Наконец, отворилась дверь, из салона, переговариваясь, начали выходить ученые. Токунага с утомленным лицом слушал Штамма, который что-то ему доказывал. Промокая платком лысину, прошествовал толстяк Брамалья. Маленький седоусый человечек — профессор Беристайн — прошел, окруженный несколькими незнакомыми учеными; один из них был в индийском тюрбане. А вот из клубов табачного дыма выплыла высокая прямая фигура Морозова с огромной папкой под мышкой.

Зоркими своими глазами Морозов заметил Кравцова, скромно стоявшего в уголке, кивнул ему, бросил на ходу с усмешечкой:

— Значит, атомной бомбой, а?

Кравцов шагнул к нему:

— Виктор Константинович, можно с вами поговорить?

— Некогда, голубчик. Сам давно собираюсь поговорить с вами, но — некогда. Впрочем... — Он обнял Кравцова за плечи и повел по коридору. — Если разговор небольшой, то выкладывайте.

— Понимаете, — волнуясь, сказал Кравцов, — у нас возникла мысль... Нельзя ли использовать силу самого столба... Вернее, изменить направление его поля...

— Понимаю, понимаю, — Морозов засмеялся. — Расскажите-ка лучше, как вы воевали с техасцами.

— Да что говорить. Поскандалили немножко — и помирились... Виктор Константинович, вы простите, что я к вам привязался. Я просто хотел спросить: сколько нам еще ждать?

— Надеюсь, немного, голубчик. Нам надо очень, очень торопиться, потому что... Словом, надо опередить всякие

неприятности. Проект, в сущности, готов, остались проверочные расчеты.

Кравцов повеселел.

— Значит, скоро?

— Значит, скоро.— Морозов остановился у двери своей каюты.— Атомной бомбой хотите перерезать столб? — спросил он снова.

— Это Макферсон придумал,— сказал Кравцов.— Но ведь столб все равно будет расти и снова войдет в ионо...

— Зайдите-ка,— прервал Морозов и пропустил его в просторную каюту, вернее в рабочий кабинет со столами, заваленными чертежами.— Садитесь,— сказал он и сам присел на один из столов.— Скажите-ка, товарищ Кравцов, вы хорошо знаете плот, его помещения и переходы?

— Знаю.

— Взгляните на эту схему. Узнаете?

— Средняя палуба плота,— сказал Кравцов.

— Верно. В какой срок вы считали бы возможным пробить здесь кольцевой коридор? — Морозов обвел карандашом окружность плота.

— Кольцевой коридор? — переспросил Кравцов, сдвинув брови и почесывая пальцем под ухом.

— Вот что. Возьмите схему и подумайте как следует. Кольцевой замкнутый коридор шириной шесть метров и высотой не менее четырех с половиной.

— Я подумаю, Виктор Константинович.

— Прекрасно. Завтра вечером, попозже, приходите с ответом.

30

«Моя дорогая Маринка!

Позавчера воздушная оказия доставила два твоих письма, и очень хорошо сделала, а то я уж волноваться начал. Ты спрашиваешь, почему я не приезжаю, если тут делать нечего. Сам не знаю, честное слово, почему я целый месяц сидел тут без всякой работы. Все ждал, ждал, думал: может, сегодня, может, завтра... Ну, вот и дождался наконец. Проект составлен и утвержден международной комиссией. Он называется «Операция «Черный столб». Ты, наверное,

из газет узнаешь раньше, чем из моего письма, в чем суть операции. Коротко: создан проект установки, которая остановит Черный столб. Тебе, как школьной физичке, конечно, интересно узнать детали проекта. Честно скажу тебе: это настолько сложно, что я не все понимаю. Ученые, вроде бы, раскусили таинственное поле столба, и установка наложит на него определенную комбинацию мощных силовых полей. Предполагается, что их взаимодействие с полем столба остановит его движение вверх.

Конечно, прежде всего придется разрезать столб, чтобы устранить «короткое замыкание», восстановить нормальную структуру магнитного поля и дать ток, тогда установка начнет работать.

Сама установка будет размещена на плоту, для этого мы прорубаем во внутренних помещениях кольцевой коридор. Именно этим я и занят сейчас. Жарковато на плоту, надо сказать, но ничего. К грозе мы давно уже привыкли и к молниям тоже. Ты не беспокойся: ведь столб служит как бы громоотводом.

Сколько времени займет операция? Не знаю, родная. Сама понимаешь, хочется поскорее все закончить и приехать к вам с Вовкой. Любимые вы мои, соскучился я здорово. Ты мне пиши почаще, ладно? И Вовка пусть лапу прикладывает. А я буду писать при любой возможности.

Да, ты спросишь, как собираемся мы перерезать столб. А вот как...

Кравцов не закончил письма. В дверь каюты постучали. Чулков просунул голову, сказал:

— Александр Витальевич, третья смена уходит.

Кравцов сунул недописанное письмо в ящик стола и побежал на катер.

31

Итак, операция «Черный столб» началась.

Целая флотилия судов расположилась вокруг плота. Здесь был авианосец «Фьюриес» со своей гигантской посадочной площадкой, плавучая механическая база «Иван Кулибин», самоходные баржи и плавучие краны. Крупные паровые катера, попуская угольным дымком, непрерывно

бегали между плотом и судами. Штаб операции по-прежнему находился на «Фукуока-мару».

На заводах Советского Союза, Соединенных Штатов, Японии и многих других стран срочно изготавливались узлы и детали кольцевого сердечника невиданных размеров. В трюмах пароходов под голубым флагом ООН, в гондолах грузовых дирижаблей с паровыми турбинами плыли к плоту металлоконструкции, блоки высокочастотных панелей, наборы колоссальных изоляторов, пакеты шинных сборок. Прибывали танкеры, лесовозы, суда, груженные продовольствием, лайнеры с рабочими-монтажниками, инженерами, правительственными комиссиями.

Люди, одетые в защитные комбинезоны, работали днем и ночью, непрерывно: надо было очень торопиться, потому что — это знали ученые — губительный поток космических лучей проникал все глубже в нижние слои атмосферы.

А Черный столб, окруженный кольцом молний, окутанный белой пеленой пара, бежал и бежал сквозь тучи вверх, загибаясь и завершая в околоземном пространстве виток вокруг планеты.

32

В девять вечера смена инженера Кравцова поднялась по зигзагам металлического трапа на среднюю палубу плота. Здесь были монтажники из знакомых нам бригад Али-Овсада, Паркинсона, румына Георги.

Кравцов принял участок от начальника смены, отработавшей свои пять часов.

— Ну и распотрошили вы отсек, Чезаре, — сказал он, оглядывая срезанные балки и узенькие мостки, под которыми зияла черная пустота.

— Тут уровень был выше, пришлось порезать весь настил, — ответил инженер-итальянец, вытирая полотенцем смуглое лицо. — Взгляните на отметку.

Он протянул Кравцову эскиз.

— Знаю, — сказал Кравцов. — Но тут под нами атомная станция...

— Которая не работает.

— Но которая будет работать. А вы обрушили настил на ее перекрытие.— Кравцов посветил фонариком вниз.

— Что вы от меня хотите, Алессандро?

— Придется поднимать настил. Над реактором не должно быть ничего, кроме перекрытия.

Монтажники из обеих смен прислушивались. Ацетиленовые лампы лили голубоватый свет на их обнаженные плечи и спины, лоснящиеся от пота.

— Мы прошли сегодня на семь метров больше нормы,— сказал итальянец.— Главное — скорее закончить коридор, а если под ним будет немножко мусору...

— Только не здесь,— прервал его Кравцов.— Ладно, Чезаре, вводите смену,— добавил он, переходя на английский.— Придется нам поставить тали и малость порасчистить ваш мусор.

— Это что же? — раздался вдруг хриплый голос.— Итальяшки напакостили, а нам за ними подбирать?

— Кто это сказал? — Кравцов резко обернулся.

Несколько секунд в отсеке было тихо, только привычно погромыхивала наверху гроза. Оловянных — он тоже был здесь — перевел Али-Овсаду прозвучавшую фразу. «Ай-й-й», — Али-Овсад покачал головой, поцокал языком.

— Кто сказал? — повторил Кравцов.— Джим, это кто-то из ваших.

Джим Паркинсон, держась длинной рукой за двутавровую балку перекрытия, понуро молчал.

Тут из толпы выдвинулся коренастый техасец с головой, повязанной пестрой косынкой.

— Ну, я сказал,— буркнул он, глядя исподлобья на Кравцова.— А в чем дело? Я за других работать не собираюсь.

— Так я и думал. Знакомый голосок... Сейчас же принесите извинения итальянской смене, Флетчер.

— Еще чего! — Флетчер вскинул голову.— Пусть они извиняются.

— В таком случае я вас отстраняю от работы. Спускайтесь вниз и с первым катером отправляйтесь на «Фуку-оку». Утром получите расчет.

— Ну и плевал я на вашу работу! — заорал Флетчер.— Пропади оно все пропадом, а я и сам не желаю больше вкалывать в этой чертовой жарнице!

Он сплюнул и, прыгая с мостков на мостки, пошел к проходу, ведущему на площадку трапа.

Монтажники заговорили все сразу, отсек наполнился гулом голосов.

— Тихо! — крикнул Кравцов. — Ребята, мы тут работаем сообща, потому что только сообща можно сделать такое огромное дело. Мы можем спорить и не соглашаться с кем-нибудь, но давайте уважать друг друга! Правильно я говорю?

— Правильно! — раздались выкрики.

— Ну его к дьяволу, давайте начинать работу!

— Не имеете права выгонять!

— Правильно, инженер!

— Тихо! — Кравцов выбросил вверх обе руки. — Говорю вам прямо: пока я руковожу этой сменой, никто здесь безнаказанно не оскорбит человека другой национальности. Всем понятно, что я сказал? Ну и все. Надевайте скафандры!

Чезаре подошел к Кравцову и, широко улыбаясь, похлопал его по плечу. Итальянцы, усталые и мокрые от пота, гуськом потянулись к выходу, они переговаривались на ходу, оживленно жестикулировали.

Кравцов велел ставить тали.

— Кто полезет вниз стропить листы настила? — спросил он.

— Давайте я полезу, — сразу отозвался Чулков.

Из полутьмы соседнего отсека вдруг снова возникла фигура итальянского инженера, за ним шли несколько монтажников.

— Алессандро, — сказал он, прыгнув на мостки к Кравцову. — Мои ребята решили еще немножко поработать. Мы расчистим там, внизу.

33

В адской духоте и сырости внутренних помещений плота — долгие пять часов. Гудящее пламя резаков, стук паровой лебедки, скрежет стальных листов, шипение сварки... Метр за метром — вперед! Уже немного метров осталось. Скоро замкнется кольцевой коридор, опояшет средний этаж плавучего острова по периметру. Облицовщики, идущие за монтажниками, покрывают стены и потолок коридора бе-

лым жаростойким пластиком, и уже электрики устанавливают блоки гигантского кольцевого сердечника...

Вперед, вперед, монтажники!

Под утро смена Кравцова возвращается на «Фукуока-мари». Сил хватает только на то, чтобы добраться до теплого дождика душа.

Теперь спать, спать. Но, видно, слишком велика усталость, а Кравцов, когда переутомится, долго не может уснуть. Он ворочается на узкой койке, пробует считать до ста, но сон нейдет. Перед глазами — жмурь не жмурь — торчат переплеты балок, в ушах гудит, поет пламя горелок. Ну что ты будешь делать!..

Он тянется к спичкам, зажигает керосиновую лампу. Почитать газеты?.. Ага, вот что он сделает: допишет письмо!

«...Вчера не успел, заканчиваю сегодня. Ну и жизнь у нас пошла, Маринка! Причесаться — и то некогда. Уж больно надоело без электричества, вот мы и ждем что есть сил. Скоро уже, скоро!

Понимаешь, как только столб будет перерезан, магниты снова станут магнитами и турбогенераторы атомной станции дадут ток в обмотки возбуждителей кольцевого сердечника. Комбинация наложенных полей мгновенно вступит во взаимодействие с полем столба, и он остановится.

Столб обладает чудовищной прочностью, но, по расчетам, его перережет направленный взрыв атомной бомбы. Помнишь, я тебе писал, как столб притянул и унес контейнер с прибором? Так вот...»

Осторожный стук в дверь. Просовывается голова Джима Паркинсона:

— Извините, сэр, но я увидел, что у вас горит свет...

— Заходите, Джим. Почему не спите?

— Да не спится после душа. И потом Флетчер не дает покоя.

— Флетчер? Что ему надо?

— Он просит не увольнять его, сэр. Все-таки нигде так не платят.

— Послушайте, Джим, я многое могу простить, но это...

— Понимаю. Вы за равенство и так далее. Он готов извиниться перед итальянским инженером.

— Хорошо, — устало говорит Кравцов, наконец-то ему захотелось спать, глаза просто слипаются. — Пусть завтра извинится перед всей итальянской сменой. В присутствии наших ребят.

— Я передам ему, — с некоторым сомнением в голосе отвечает Джим. — Ну, покойной ночи. — Он уходит.

Авторучка валится у Кравцова из руки. Он заставляет себя добраться до койки и засыпает мертвым сном.

34

Паровой кран снял с широкой палубы «Ивана Кулибина» последний блок кольцевого сердечника и, подержав его в воздухе, медленно опустил на баржу. Паровой катер поволок баржу к плоту.

Монтажники отдыхали, развалиясь, где попало, на палубе «Кулибина», покуривали, говорили о своих делах. Как будто это был обычный день в длинной череде подобных ему.

А день был необычный. Ведь сегодня будет закончен монтаж кольцевого сердечника. Он опояшет электромагнитным поясом плот, его возбудители нацелятся на столб, готовые к штурму....

Вот и Морозов вышел из внутренних помещений на верхнюю палубу «Кулибина». С ним маленький Бернштейн, Брамудья в необъятном дождевике, несколько инженеров-электриков. Остановились на правом борту, ждут катера, чтобы идти на плот.

Кравцов бросил за борт окурок, подошел к Морозову.

— Виктор Константинович, я слышал, что завтра должны доставить «светлячка»?

«Светлячок» — так кто-то прозвал атомную бомбу направленного действия, которая перережет столб, и кличка прилипла к ней.

— Везут, — ответил Морозов. — Чуть ли не весь Совет Безопасности сопровождает ее, сердешную.

— Посмотреть бы на нее. Никогда не видал атомных бомб.

— И не увидите. Не ваше это дело.

— Конечно... Мое дело скважины бурить.

Морозов прищурил на Кравцова глаз.

— Вы что хотите от меня, Александр Витальевич?

— Ничего... — Кравцов отвел взгляд в сторону. — Чего мне хотеть? Поскорей бы закончить все — и домой...

— Э, нет. Вижу по вашему хитрому носу, что вы задумали нечто.

— Да нет же, Виктор Константинович...

— Так вот, голубчик, заранее говорю: не просите и не пытайтесь. Многие уже просились. Пуск будет поручен специалистам. Атомщикам. Понятно?

— Там специалистам и делать нечего. Включил часовой механизм и ступай себе, не торопясь, на катер...

— Все равно. Напрасно просите.

— А я не прошу... Только, по-моему, право на пуск имеют прежде всего те, кто нес на плоту последнюю вахту...

— Значит, право первооткрывателей?

— Допустим, так.

— Макферсон болен, остается Кравцов. Ловко придумали. — Морозов засмеялся, взглянул на часы. — Что это катер не идет?

Рядышком Али-Овсад беседовал с Брамутьей, и на сей раз разговор их крутился не вокруг чая и блюда из бараньих кишков, а касался высокой материи. Чилиец мало что понимал из объяснений старого мастера, но для порядка кивал, поддакивал, пускал изо рта и носа клубы сигарного дыма.

— Чем вы озабочены, Али-Овсад? — спросил Морозов.

— Я спрашиваю, товарищ Морозов, этот кольцевой сердечник кто крутить будет?

— Никто не будет его крутить.

— Колесо есть, а крутиться — нет? — Али-Овсад недоуменно поцокал языком. — Значит, работать не будет.

— Почему это не будет?

— Машина крутиться должна, — убежденно сказал мастер. — Работает, когда крутится, — все знают.

— Не всегда, Али-Овсад, не всегда, — усмехнулся Морозов. — Вот, например, радиоприемник — он же не крутится.

— Как не крутится? Там ручки-мручки есть. — Али-Овсад стоял на своем непоколебимо. — А электрический ток? Протон-электрон — все крутится.

Морозов хотел было объяснить старику, как будет работать кольцевой сердечник, но тут пришел катер. Ученые отплыли к плоту.

Стоя на корме катера, Морозов щурился от встречного ветра, задумчиво смотрел на приближающийся плот. «Машина крутиться должна...» А ведь, пожалуй, верно: если в момент разрезания столба плот с кольцевым сердечником вращать вокруг него, то можно будет обойтись без громоздких преобразователей, которые, кстати, будут готовы в по-

следнюю очередь. Столб — статор, плот с сердечником — ротор... Надо будет прикинуть, рассчитать... Массу времени сэкономили бы... Можно причалить к плоту пароход, запустить машину...

Он обернулся к Беристайну:

— Коллега, что вы скажете по поводу одной незрелой, но любопытной мысли...

35

«...Что за нескончаемое письмо я тебе пишу! Я как будто разговариваю с тобой, моя родная, и мне это приятно, только вот отрывают все время.

У нас тут — дым коромыслом. Дело в том, что привезли атомную бомбу (мы ее называем «светлячок») и понаехало столько дипломатов и военных, что ткни пальцем и наверняка попадешь. Сама знаешь, после запрещения испытаний ядерного оружия это первый случай, когда потребовалось взорвать одну штуку, естественно, что Совет Безопасности всполошился и нагнал сюда своих представителей. На «Фукуоке» народу сейчас, как летом в воскресенье на пляже в Кунцеве. Помнишь, как мы ездили на моторке? Это было еще в те счастливые времена, когда шарик земной имел при себе нормальную магнитную шубу.

Установку со «светлячком» поставим на платформу и погоним к столбу. Она прилипнет к столбу и...

Ну вот, опять оторвали. Позвонил Морозов, просит зайти к нему. А ведь уже полночь. Покойной ночи, Маринка!..»

36

Уилл сидел в кресле и лепил. Его длинные пальцы мяти желтый комок пластилина. Норма Хемптон — она сидела с шитьем у стола — потянулась, прикрутила коптящий язычок огня в лампе.

— Как же быть с Говардом, милый? — спросила она.

— Как хочешь, — ответил Уилл. — Он обращается к тебе.

— Если бы он попросил, как раньше, двадцать-тридцать фунтов, я бы и не стала спрашивать тебя. Послала бы, и все, Но тут мальчик просит...

— Мальчику двадцать четыре года,— прервал ее Уилл.— В его возрасте я не кланчил у родителей.

— Уилл, он пишет, что если у него не окажется этой суммы, он упустит решающий шанс в жизни. Он с двумя молодыми людьми из очень порядочных семей хочет основать «скрач-клуб» — это сейчас входит в моду, нечто вроде рыцарских турниров, в доспехах и с копьями, только не на лошадях, а на мотороллерах...

— А я-то думал — на лошадях. Ну, раз на мотороллерах, ты непременно пошли ему чек.

— Прошу тебя, не смейся. Если я пошлю такую сумму, у меня ничего не останется. Отнесись серьезно, Уилл. Ведь он наш сын...

— Наш сын! Он стыдится, что его отец был когда-то простым дриллером на промысле...

— Уилл, прошу тебя...

— Я упрям и скуп, как все хайлендеры *. Ни одного пенса — слышишь? — ни единого пенса от меня не получит этот бездельник!

— Хорошо, милый, только не волнуйся. Не волнуйся.

— Пусть подождет,— тихо сказал Уилл после долгого молчания.— В моем завещании есть его имя. Пусть подождет, а потом основывает клуб, будь оно проклято.

Норма со вздохом тряхнула золотой гривой и снова взялась за шитье. Пластинин под пальцами Уилла превращался в голову с узким лицом и сильно выступающей нижней челюстью. Уилл взял перочинный нож и прорезал глаза, ноздри и рот.

В дверь каюты постучали. Вошел Кравцов. Вид у него был такой, словно он только что выиграл сто тысяч. Куртка распахнута, коричневая шевелюра, что кустарник в лесу...

— Добрый вечер! — гаркнул он с порога. И, с трудом сдерживая в голосе радостный звон: — Уилл, поздравьте меня! Миссис Хемптон, поздравьте!

— Что случилось, парень? — спросил шотландец.

— Пуск поручили мне! — Кравцов счастливо засмеялся.— Здорово? Уговорил-таки старика! Мне и Джиму Паркинсону. Советский Союз и Америка! Здорово, а, Уилл?

* Так называют в Шотландии жителей гор.

— Поздравляю,— проворчал Уилл,— хотя не понимаю, почему вас это радует.

— А я понимаю,— улыбулась Норма, протягивая Кравцову руку.— Поздравляю, мистер Кравцов. Конечно же, это большая честь. Я пошлю информацию в газету. А когда будет пуск?

— Через два дня.

«Вас не узнать, миссис Хемптон,— подумал Кравцов.— Какая была напористая, раньше всех узнавала новости. А теперь ничего вам не нужно, только бы сидеть здесь...»

— О, через два дня! — Норма отложила шитье, выпрямилась.— Пожалуй, мне надо написать... Впрочем, Рейтер послал, должно быть, официальное сообщение в Англию...

Поскольку радиосвязи с миром не было, крупнейшие информационные агентства взяли на себя распространение новостей на собственных реактивных самолетах.

Кравцов подтвердил, что самолет агентства Рейтер, как всегда, утром стартовал с палубы «Фьюриес», и Норма снова взялась за шитье.

— Еще два дня будут испытывать,— оживленно говорил Кравцов,— а потом, леди и джентльмены, потом мы подыдем «светлячка» в воздух и расколошматим столб...

— Какого черта вы суетесь в это дело? — сказал Уилл.— Пусть атомщики сами делают.

— Они и делают. Все будет подготовлено, а часовой механизм включим мы с Джимом. Еле уломал Морозова. Токунага не возражал, а Совет Безопасности утвердил...

— Ну-ну, валяйте. Постарайтесь для газет. Перед пуском скажите что-нибудь такое, крылатое.

— Уилл, вы в самом деле так думаете? — Кравцов немного растерялся, радость его погасла.— Неужели вы думаете, что я ради...

Он замолчал. Уилл не ответил, его пальцы с силой разминали желтый комок пластилина.

— Ну ладно,— сказал Кравцов.— Покойной ночи.

Свежее утро, ветер и флаги.

100 Полощутся пестрые флаги расцвечивания на всех кораблях флотилии. Реют на ветру в блеске молний красные,

и звездно-полосатые, и белые с красным кругом, и многие другие, и, конечно, голубые флаги ООН.

Ревет гроза над океаном, клубятся тучи. Давно не видели здесь люди солнечного света.

Но теперь уже скоро, скоро!

Возле белого борта «Фукуока-мару» приплясывает на зыби катер стремительных очертаний. Скоро в него спустятся Александр Кравцов и Джим Паркинсон. А пока они на борту флагманского судна выслушивают последние наставления.

— Вы все хорошо запомнили? — говорит старший из инженеров-атомщиков.

— Господа, желаю вам успеха, — торжественно говорит осанистый представитель Совета Безопасности.

— Жалко, меня не пустили с тобой пойти, — говорит Али-Овсад.

— Не задерживайтесь, голубчики. Как только включите, — немедленно на катер и домой, — говорит Морозов.

— В добрый час, — тихо говорит Токунага.

В гремящих серо-голубых скафандрах они спускаются в катер — Кравцов и Паркинсон. И вот уже катер бежит прочь, волоча за собой длинные усы, и с борта «Фукуоки» люди кричат и машут руками, и на верхних палубах других судов черным-черно от народа, там тоже приветственно кричат и машут руками, а на борту «Фьюриес» гремывает медью военный оркестр, а с «Ивана Кулибина» несется могучее раскатистое «Ура-а-а!».

— Джим, вам приходилось когда-нибудь раньше принимать парад? — Кравцов пытается спрятать за шутливой фразой радостное свое волнение.

— Да, сэр. — Джим, как всегда, непроницаем и как бы небрежен. — Когда я был мальчишкой, я работал ковбоем у одного сумасшедшего фермера. Он устраивал у себя на ранчо парады коров.

Из-за выпуклости океана поднимается плот. Сначала виден его верхний край, потом вылезает весь корпус, давно уже потерявший нарядный белый вид. Закопченный, изрезанный автогеном, в бурых подтеках. И вот уже высокий борт плота заслонил море и небо. Плот медленно вращается вокруг Черного столба, для этого к нему причален пароход с закрепленным в повороте рулем. Команда эвакуирована, топки питают стокер — автокочегар.

Катер останавливается у причала. Старшина, ловко ухватившись отпорным крюком за стойку ограждения, говорит на плохом английском:

— Сегодня есть великий день.

Он почтительно улыбается.

Кравцов и Паркинсон поднимаются на причал. Они идут к трапу, шуршит и скрежещет при каждом шаге стеклоткань их скафандров. Сквозь смотровые щитки гермошлемов все окружающее кажется окрашенным в желтый цвет.

Вверх по зигзагам трапа. Трудновато без лифта: все-таки тридцать метров. Стальные узкие ступеньки вибрируют под ногами. Двое лезут вверх. Все чаще останавливаются на площадках трапа, чтобы перевести дыхание. Белый катер на серой воде отсюда, с высоты, кажется детской пластмассовой игрушкой.

Наконец-то верхняя палуба.

Они медленно идут вдоль безлюдной веранды кают-компаний, вдоль ряда кают с распахнутыми дверями, мимо беспорядочных нагромождений деревянных и металлических помостов, теперь уже ненужных. Паровой кран, склонив длинную шею, будто приветствует их. Только не надо смотреть на океан — кружится голова, потому что кружится горизонт...

Рябит в глазах от бесконечных вспышек молний — они прямо над головой с треском долбят Черный столб.

«Кажется, расширилось еще больше», — думает Кравцов о загадочном поле Черного столба. Он нарочно делает несколько шагов к центру плота, а потом обратно, к краю. Обратно явно труднее.

Да, расширилось. Контрольный прибор, установленный на столбике возле платформы, подтверждает это.

Ну вот и платформа. Громадный контейнер, укрепленный на ней, похож на торпеду. Так и не увидел Кравцов своими глазами атомной бомбы: «светлячок» был доставлен на плот в специальном контейнере с устройством, которое должно направить взрыв в горизонтальной плоскости. Снаружи только рыльца приборов, забранные медными сетками. Глазок предохранителя приветливо горит зеленым светом так же, как вчера вечером, после долгого и трудного дня испытаний, настроек, проверок.

Под рамой платформы — труба, наполненная прессованными кольцами твердого ракетного топлива. Простейший из возможных реактивных двигателей. Вчера такая же

платформа, только не с бомбой, а со стальной болванкой, разогнанная таким же двигателем, покати́лась по рельсам к центру плота, все быстрее, быстрее, столб тянул ее к себе, и, врезавшись в его черный бок, она унеслась вместе с ним ввысь со скоростью пассажирского самолета.

Жутковатое было зрелище...

Они включают батарейные рации. В шлемофонах возникает обычный скребу́щий шорох.

— Слышите меня? — спрашивает Кравцов.

— Да. Начнем?

— Начнем!

Прежде всего вытащить предохранительные колодки. Ого, это, оказывается, нелегко: платформа навалилась на них колесами. Приходится взяться за ломы и подать платформу немного назад.

Колодки сброшены с рельсов.

Так. Затем Кравцов старательно переводит стрелки первого часового механизма, соединенного с запалом реактивного двигателя. Он делает знак Джиму, и тот нажимает пусковую кнопку.

Гаснет зеленый глазок. Вспыхивает красный.

Вот и все. Ровно через четыре часа сработает часовой механизм, и реактивный двигатель, включившись, погонит платформу к Черному столбу. При ударе о столб включится второй механизм, связанный с взрывателем атомной бомбы. Она установит взрыватель на семиминутную выдержку. За семь минут Черный столб унесет контейнер с бомбой на шестидесятикилометровую высоту, и тогда сработает взрыватель, и «светлячок» ахнет по всем правилам. Направленный взрыв разорвет столб, разомкнется короткое замыкание, и сразу включатся автоматы. Мощные силовые поля, излученные установкой, вступят в рассчитанное взаимодействие с полем столба и заставят его изменить направление. Столб остановится. Ну, а верхняя, отрезанная его часть останется в пространстве, она ведь уже сделала больше полного витка вокруг Земли, никому она не мешает.

И нынче вечером по всей планете вспыхнет в городах праздничная иллюминация... Эх, в Москву бы перенестись вечером!..

Дело сделано, можно уходить. За четыре часа можно не только дойти на катере до «Фукуока-мару», но и чайку попить у Али-Овсада.

Кравцов медлит. Он поднимает щиток гермошлема, чтобы

проверить на слух, работает ли часовой механизм. Джим тоже откидывает щиток. Горячий воздух жжет им лица.

Тик, тик, тик...

Четко, деловито отсчитывает секунды часовой механизм на краю огромной безлюдной палубы.

— Ладно, пошли, Джим.

И вдруг в тиканье часового механизма вторгается новый звук. Это тоже тиканье, но оно не совпадает с первым... Потихише, быстрее, с легким музыкальным звоном...

Никто никогда не узнал, почему сам собой включился таймер взрывателя атомной бомбы. Он должен был включиться через четыре часа, при ударе платформы о Черный столб. Но сейчас...

Кравцов оторопело смотрит на Паркинсона. Тот пятится тихонько, губы у него прыгают, в глазах ужас...

Семь минут! Только семь минут — яростная вспышка энергии разнесет плот, а вместе с ним установку...

А Черный столб, в двухстах пятидесяти метрах отсюда, быть может, даже не пострадает. Взрыв не возьмет его: бомба должна быть вплотную к нему!

Дани — дани — дани...

Тиканье таймера впиывается в мозг.

Разобрать механизм, остановить?.. За семь минут? Чепуха...

Бежать, броситься вниз, к катеру? Не успеем отойти на безопасное расстояние...

Нет спасения. Нет спасения.

Что будут делать люди потом, без нас, без плота? Строить новый плот, новую установку... Но космические лучи не станут ждать...

Нет!

Н-е-т!

Сколько уже прошло? Полминуты?

Дани — дани...

Кравцов срывается с места. Он упирается руками в задний борт платформы.

— А ну, Джим, быстро!

Руки Джима рядом. Они пытаются сдвинуть тяжелую платформу, она не поддается, еще, еще...

— Взяли... — хрипит Кравцов. — Взяли!

Пошла!

Сдвинулась платформа, и пошла по рельсам, пошла все быстрее. Они бегут, упираясь в нее руками. Быстрее!

Нечем дышать. Воздух режет горло огнем, они не успели поднять щитки...

Платформа разогналась, ее уже притягивает столб, еще немного, и она побежит сама, и столб подхватит ее и понесет вверх, вверх... Почти девять километров в минуту... Перед глазами Кравцова циферблат таймера. Потеряно только две минуты... Она успеет. Она рванет на высоте! Пусть не шестьдесят километров, пусть на сорокакилометровой... Ни черта с нами не будет, закроем лица, ничком на палубу... Взрыв горизонтально направленный, на большой высоте...

Радияция? У нас герметичные скафандры, и у людей на катере тоже.

Ни черта! Разогнать ее только... А ну, еще!

Не хочу умирать...

Сдавленный голос Джима:

— Хватит... Сама пойдет...

— Еще немного! Взяли!

Безумный бег! Джим спотыкается о торчащую головку болта, падает сrazмаху, в руке острая боль.

— Стоп! — орет он, задыхаясь.

Но Кравцов бежит и бежит...

— Александр! Остановись!

Что с ним?.. Почему он...

Страшная мысль пронизывает Джима.

— А-а-а-а...

Он иступленно колотит здоровой рукой по рельсу, ползет, остановившимися глазами смотрит на удаляющийся скафандр Кравцова.

Кравцов уже не бежит за платформой. Платформа притянула его к себе, он не может оторваться, отскочить, ноги его бессильно волочатся по палубе...

Горизонтальное падение... Все равно, что летишь в пропасть...

— Алекса-а-а-а...

Спазма сжимает горло Джима.

Платформа в облаке пара у подножия столба. Мелькнул серо-голубой скафандр. Глухой удар.

Джим закрывает обожженные глаза.

Вдруг — мысль о людях. О тех, что на катере. Джим вскакивает и бежит, задыхаясь, к краю плота.

Перегнувшись через поручни, он беззвучно открывает и закрывает рот, крика не получается, не отдышаться.

Японцы-матросы на катере замечают его. Смотрят, за-
драв головы.

— Все вниз! — вырывается, наконец, у Джима. — Под
палубу! Задрать люк! Закреть шлемы! Лицом вниз!

Забегали там, внизу.

Джим рывком отваливает крышку палубного люка. За-
мычав от пронзительной боли в руке, прыгает в люк. Тьма
и духота.

Он захлопывает крышку.

И тут плот содрогнулся. Протяжный-протяжный, басо-
витый, далекий, доносится гул взрыва.

38

Приспущены флаги на судах флотилии.

Салон «Фукуока-мару» залит ярким электрическим светом. Здесь собрались все знакомые нам герои этого повест-
ования.

Нет только Уилла и Нормы Хемптон. Должно быть, они
сидят в своей каюте.

Нет Джима Паркинсона. Когда полыхнуло в небе и про-
грохотал взрыв, к плоту направилось посыльное судно с
инженерами-атомщиками и командой добровольцев на бор-
ту. Они нашли в крохотной каютке катера трех испуганных
японских матросов, которые знали лишь то, что перед взры-
вом наверху появился человек в скафандре и крикнул им
слова предостережения. Добровольцы в защитных костю-
мах поднялись наверх и обшарили всю палубу плота. Счет-
чики Гейгера, подвешенные к их скафандрам, показывали
не такой уж сильный уровень радиации. Они искали не-
сколько часов и уже отчаялись найти Кравцова и Паркин-
сона, как вдруг доброволец Чулков, откинув крышку
одного из палубных люков и посветив фонариком, увидел че-
ловека в скафандре. Паркинсон лежал в глубоком обмороке.
Он очнулся на обратном пути, в каюте посыльного судна,
но не сказал ни слова, и глаза его были безумны. Только
в лазерете на «Фукуока-мару» Джим немного оправился
от потрясения и припомнил, что произошло. И тогда по-
иски Кравцова были прекращены. Переломленную руку
Джима уложили в гипс.

Нет Александра Кравцова...

Тихо в салоне. Время от времени стюард приносит на черном лакированном подносе кипы радиограмм и кладет их на стол перед Морозовым и Токунагой. Поздравления сыплются со всех континентов. Поздравления — и соболезнования. Морозов просматривает радиограммы, некоторые вполголоса читает. Японский академик сидит неподвижно в кресле, прикрыв ладонью глаза. Сегодня у него особенно болезненный вид.

Дверь распахивается со звоном. На пороге стоит Уильям Макферсон. Сорочка у него расстегнута на груди, пиджак небрежно накинута на плечи. Нижняя челюсть упрямо и вызывающе выдвинута.

— Хелло,— говорит он, обведя салон недобрый взглядом, голос его звучит громче, чем следует.— Добрый вечер, господа!

Он направляется к столу, за которым сидят руководители операций. Он упирается руками в стол и говорит Токунаге, обдавая его запахом рома: — Как поживаете, сэр?

Японец медленно поднимает голову. Лицо у него усталое, изжелта-бледное, в густой сетке морщин.

— Что вам угодно? — голос у Токунаги тоже больной.

— Мне угодно... Мне угодно спросить вас... Какого дьявола вы отправили на смерть этого юношу?!

Мгновение мертвой тишины.

— Как вы смеете, господин Макферсон! — Морозов гневно выпрямляется в кресле.— Как смеете вы...

— Молчите! — рычит Уилл. Взмахом руки он сбрасывает со стола бланки радиограмм. Запереть его, на ключ запереть надо было...

— Успокойтесь, Мекферсон! Возьмите себя в руки и немедленно попросите извинения у академика Токунаги...

Токунага трогает Морозова за рукав.

— Не надо,— говорит он высоким голосом.— Господин Макферсон прав. Я не должен был соглашаться. Я должен был пойти сам, потому что... Потому что мне все равно...

Голос его никнет. Он снова закрывает глаза ладонью.

В салон врывается Норма Хемптон.

— Уилл! Боже мой, что с тобой делается... — Она отдирает руки Уилла от стола и ведет его к двери.— Ты просто сошел с ума. Ты просто хочешь себя погубить...

У двери Уилл припадает к косяку, от звериного стога содрогается его спина. Норма растерянно стоит рядом, гладит его по плечу.

Али-Овсад подходит к Уиллу.

— Не надо плакать, инглиз,— произносит он с силой.— Ты не девочка, ты мужчина. Кравцов был мне друг. Нам всем был друг.

Он и Норма берут Уилла под руки и уводят. И снова тихо в салоне.

От резкого телефонного зуммера Токунага нервно вздрагивает. Морозов берет трубку, слушает.

— Связь с Москвой,— говорит он, поднимаясь.

Токунага тоже встает и выходит вместе с Морозовым из салона. В радиорубке их встречает Оловянныхиков.

— Она у нас, в редакции «Известий»,— тихо говорит он и передает Морозову трубку.

— Марина Сергеевна? Говорит Морозов. Вы слышите меня?.. Марина Сергеевна, я знаю, что слова утешения бессмысленны, но позвольте мне, старику, сказать вам, что я горжусь вашим мужем...

Вот и все.

Вам, наверное, покажется странным, что для перерезания Черного столба люди использовали такое опасное старинное чудище, как атомная бомба. Но не забывайте, что тогда не было еще гравиквантовых излучателей. Да и о сущности единого поля люди в то время, время разобщенного мира, только еще начинали догадываться....

Что было дальше? Если вы забыли, то включите учебную звукозапись для четвертого класса. Она напомнит вам, как космонавты Мышляев и Эррера вышли на орбиту, эквидистантную отрезанному витку Черного столба, получившему название «Кольца Кравцова»; они уравнили скорость своего корабля со скоростью витка, вылезли в скафандрах наружу, в Пространство, и укрепили на разомкнутых концах кольца первые датчики автоматических станций. А теперь на Кольце Кравцова смонтированы внеземные станции для ракетных поездов, посты космической связи и многое другое; вы прекрасно знаете это.

Быть может, иные из вас побывали с экскурсиями на Большом Плоте — теперь он, конечно, совсем другой — и

видели, как по специальным радиосигналам автоматы включают установку и дают черному веществу немного выдавиться вверх, совсем как зубной пасте из тюбика, а затем отрезанный кусок грузится в трюм стратоплана и отправляется по назначению — чаще всего на какой-нибудь из заводов космического кораблестроения.

Теперь, когда вы познакомились с Александром Кравцовым поближе, всмотритесь снова в его портрет — он помещен в учебнике геофизики, в том разделе, где идет речь о Кольце Кравцова. Парень как парень, не правда ли? Он вовсе не собирался стать героем.

Просто он легко забывал о себе, когда думал о других.

О ПОВЕСТИ «ЧЕРНЫЙ СТОЛБ»

Комментировать произведения научно-фантастического жанра — вещь достаточно затруднительная, особенно в тех случаях, когда фантастика прочно вплетена в художественную ткань повествования.

В повести Е. Войскунского и И. Лукодянова «Черный столб» развернута картина борьбы человечества с мировой катастрофой. Катастрофическая ситуация в повести основана на ряде фантастических допущений.

Первое: пробурена скважина глубиной около 50 километров от уровня океана. К фантастичности этого допущения мы вернемся ниже.

Второе: неизвестное глубинное вещество с таинственными свойствами нашло путь к поверхности Земли. Под влиянием колоссальных сил, действующих внутри планеты, оно начало выдавливаться из скважины, образовав «Черный столб». Здесь авторы приводят некоторые сведения о существующих гипотезах строения и происхождения Земли, дополняя их фантастическими домыслами.

Третье: вследствие «короткого замыкания» Земля — ионисфера — магнитное (и, вероятно, электрическое) поле планеты изменилось так, что все постоянные магниты размагнитились, а сердечники электромагнитов потеряли способность намагничиваться. Это допущение авторы основывают на том, что сущность магнетизма естественных магнитов, как и земного магнетизма в целом, пока неизвестна.

О природе магнетизма по существу известно только то, что спин-моменты электронов определенным образом ориентируются в

вещества. Причина этого — некие, пока еще неизвестные, свойства вещества.

Любопытно, что направление спиновых моментов постоянного магнита может быть сравнительно легко нарушено таким трубным воздействием, как удары молотком по магниту, от которых он теряет свои свойства. В некоторых условиях, наоборот, сталь намагничивается от удара, от механического трения и тому подобных «неэлектрических» воздействий. Кстати, стальные буровые трубы иногда намагничиваются сами в процессе бурения.

Несомненно, в области геологии и геофизики авторы приняли ряд качественных и количественных допущений, основанных на том, что современной науке неизвестны причины многих явлений.

Вполне вероятно, что читатель, обратив свое внимание на наиболее фантастические допущения повести, не задумается над тем, что, на первый взгляд, не вызывает сомнения.

Речь идет о сверхглубоком бурении, которым ныне уже заняты современные наука и техника.

Поговорим об этом подробнее: ведь именно глубокое бурение послужило причиной фантастических событий в повести «Черный столб».

Данные, полученные физическими методами разведки, свидетельствуют о том, что в глубоких недрах Земли скрыты огромные запасы нефти и газа. Нефть и газ — не только топливо. Главным образом это сырье для химической промышленности, для пластмасс и т. д.

Сверхглубокое бурение поможет выявить не только новые месторождения нефти и газа — могут быть найдены и другие полезные ископаемые, не менее важные: месторождения нефтяных вод с большим содержанием йода, брома, бора и других элементов, месторождения торфяных вод и т. д.

Но не только в этом заключаются задачи сверхглубокого бурения. Ученые получают образцы пород, по которым смогут постепенно читать интереснейшую повесть о происхождении, строении и составе нашей планеты.

Глубина современных нефтяных скважин доходит до восьми километров. Ведется подготовка к бурению исследовательских скважин глубиной в 10—15 километров. Несколько таких скважин будет пробурено в Советском Союзе: в Прикаспийской низменности, в Карелии, в районе Курильских островов и в других местах. Возможно, при этом будет применено многое из того, что описано в повести, — буровые установки на плавучем основании, атомные силовые установки и даже плазменное бурение, техника которого изучается нашими специалистами.

110 Велика ли разница между запланированной глубиной 15 километров и глубиной скважины «Черного столба» — 50 километров?

Не покажется ли читателю эта сверхглубокая скважина «мелковатой» на фоне грозных событий, вызванных фантастическим появлением «Черного столба»?

Фантастика, собственно, начинается с труб, с помощью которых осуществляется проводка и крепление (обсаживание) стенок скважины.

При бурении глубоких скважин одной из основных сил, доминирующей над всеми остальными, является сила собственного веса свободной висящей колонны труб. При вполне определенных условиях, зависящих только от материала труб и среды, в которой они находятся, наступает момент, когда напряжение в поперечном сечении трубы от собственного веса уравнивается с пределом прочности данного материала и дальнейшее увеличение длины подвески невозможно. Увеличение толщины стенок труб здесь не поможет, потому что предельная длина подвески труб равна отношению допускаемого материалом напряжения к удельному весу материала.

Так, например, глубина спуска в скважину, допустимая прочностью стальных труб, ограничивается 7—8 тысячами метров. В последнее время начинают успешно применять трубы из высокопрочных легких сплавов на основе алюминия, что может позволить за счет снижения их удельного веса увеличить длину подвески примерно в три раза. При этом не следует забывать о громадных внешних сминающих давлениях. Давление на дне океана в условиях повести не меньше 1000 атмосфер. Чтобы трубы обсадной колонны не были смяты, наружному давлению должно противостоять почти такое же внутреннее давление, которое, в свою очередь, окажется сминающим для труб бурильной колонны.

Элементарные расчеты показывают, что для достижения задуманной авторами глубины скважин материал труб должен обладать поистине фантастическими свойствами — пределом прочности порядка 400 килограммов на квадратный миллиметр при удельном весе, как у стали, или 160—200 килограммов на квадратный миллиметр при удельном весе, как у алюминия.

В настоящее время ведутся исследовательские работы в поисках использования всех прочностных возможностей, заложенных природой в структуре окружающих нас материалов.

Самая лучшая сталь имеет массу субмикроскопических дефектов, уменьшающих площадь действующего сечения. Ученые уже могут создавать в лабораторных условиях бездефектные «усики» сплошной метала, обладающие прочностью 200 килограммов на квадратный миллиметр. Но «усики» — это еще не трубы...

Фантастический материал, который использовали авторы повести для своих труб, не должен терять прочности при нагревании — ведь

температура на дне скважины, по-видимому, может достигать 1200—1500°. Кроме того, по технологии спуска труб, принятой в повести, материал труб должен хорошо свариваться и резаться... даже газосварным пламенем!

Авторы «Черного столба» не без оснований отказались от обычных резьбовых соединений труб. Резьба снижает прочность соединений колонны, вызывает концентрацию напряжений, является источником потери герметичности, что при такой глубине скважины может привести к катастрофе. Еще не созданы резьбовые соединения труб на давление 1000 атмосфер, а ведь давление в скважине «Черного столба» должно превышать 5000 атмосфер.

Надо сказать, что спуск обсадных колонн на сварке дело уже решенное. Комплексный метод разработки газо-конденсатных месторождений, удостоенный Ленинской премии 1962 года (Н. К. Байбаков, А. К. Караев, В. Я. Дубовецкий и др.), предусматривает спуск обсадных колонн на автоматической сварке.

Очевидно, сварка бурильных труб над устьем скважины тоже дело недалекого будущего.

А пока что на Земле не создано материалов с нужными авторам повести свойствами и, увеличивая глубину скважины «всею» с 15 до 40—50 километров, мы попадаем из области реальной в область фантастики.

Здесь мы рассмотрели только одну из проблем глубокого бурения — проблему труб.

Не исключено, что наука пойдет по пути создания автономных агрегатов, управляемых людьми или каким-либо из способов связи с поверхностью Земли, что-нибудь вроде «стального крота», описанного Г. Адамовым в фантастическом романе «Покорители недр», или же «подземхода» Б. Фрадкина в «Пленниках пылающей беды».

Но даже если связь с забоем скважины будет осуществляться с помощью труб, остается еще много нерешенных проблем.

Ведь самая главная цель глубокого бурения — изучить физико-химические свойства пород, залегающих в глубинах нашей планеты. И опять возникает вопрос: как поднять наверх керны породы, и не уподобятся ли эти керны глубоководным рыбам, вытянутым на поверхность? Взятые при огромном давлении и температуре, донесут ли колонки грунта до дневной поверхности неизменными свои первоначальные свойства?

Может быть, придется пойти по еще более фантастическому пути — созданию анализаторов, производящих весь комплекс исследований на дне скважины и передающих наверх готовую информацию.

Таким образом, вопрос бурения скважин на глубины, превышающие 10—15 километров, хотя и рассматривается наукой, еще не вы-

шел, так сказать, «из ведения» фантастов. Надо полагать, что в ближайшее десятилетие ученые с помощью буровиков сумеют «заглянуть» в неизведанные глубины «поверхности Мохоровичича» и получить много ценнейших и интереснейших сведений о недрах Земли.

Кто знает, с какими удивительными свойствами глубинного вещества придется столкнуться на этом нелегком пути!

Комплексное изучение состава нашей планеты, ее строения, ее магнитных и электрических полей только начинается. Оно требует напряженной работы ученых всего мира, объединенных общей целью.

В работах последнего Международного геофизического года приняло участие 30 тысяч специалистов из 67 стран. Огромный вклад сделала при этом советская наука.

Эта армия ученых, действовавших по единому плану, достигла неслыханных побед в борьбе за проникновение в тайны природы.

И как всегда, действительность оказалась куда фантастичнее вымыслов. Кто из фантастов решился бы поменять местами полюсы Земли? Кто решился бы написать о магните, имеющем два северных полюса?

А исследования МГГ показали, что в 1957—1958 годах, в период максимума солнечной активности, южный магнитный полюс Солнца приобрел северную полярность. Около года Солнце имело два северных полюса, затем северный стал южным...

Фантастика, конечно, не самоцель. Ее задача — ориентировать читателя, подготовить его к изумительным открытиям науки, показать, сколько тайн и загадок стоит перед наукой.

И кто знает, какие непредвиденные фантастами тайны раскроет следующий Международный геофизический год!

Т. КОРНЕВ, кандидат технических наук,

РАЗГОВОР С ЧУЖОЙ ТЕНЬЮ

1

В институте было известно, что я и профессор Касьянов, заведующий нашей лабораторией, — «теоретические враги». Вражда эта вполне устраивала нас обоих. Когда кому-нибудь из нас становилось тоскливо от монотонной работы над новыми схемами, он искал другого, чтобы поспорить. Алексей Георгиевич со свойственной его возрасту снисходительностью говорил про меня так:

— Парень молодой, но не в меру консервативный. А в общем генерирует идеи далеко не тривиальные. С ним не скучно.

Дело в том, что Касьянов, свято чтя Колмогорова и Винера, постоянно твердил о принципиальной возможности создания машинной модели человеческой «души» и старался доказать это, а я всячески возражал ему. Разговоры наши велись в таком примерно духе.

— Дорогой, мой мальчик (так он обращается ко мне в мои тридцать шесть лет), вы безнадежный идеалист и виталист. Вы прекрасно знаете, что человек — существо материальное и, следовательно, нет, абсолютно нет никаких оснований отказываться от мысли создать его модель, сколь угодно близкую к натуре.

— Допустим, — отвечал я. — Допустим, что можно создать искусственное существо, которое будет имитировать человеческое мышление, будет более точно решать математические и логические задачи. Но чувства, эмоции, душа — это уже за пределами машинного моделирования. В них миллиардолетняя история жизни на Земле.

Касьянов хитро щурил глаза.

— Вы знаете, в чем разница между конечным и бесконечным? Нет? Конечное — это то, что мы знаем если не фактически, то в принципе. А бесконечностью мы просто именуем то, чего мы не знаем. Или ленимся знать. Мы говорим: люди бывают гениальные, средние, умные, глупые и так далее. В словах «и так далее» сокрыто наше нежелание или неумение анализировать, разобраться, какие еще бывают люди. И так всегда. Если есть бесконечное множество объектов, о которых мы понятия не имеем, то словечками «и так далее» мы прикрываем наше невежество.

— Не понимаю, какое это имеет отношение к нашему разговору.

— Просто вы, дорогой мой мальчик (в тридцать шесть лет!), подсознательно относите чувства, эмоции и душу к разряду «и так далее». Кстати, я бы на вашем месте вообще не касался таких вещей. Вам уже четвертый десяток, а вы еще не женаты. Видимо, в вашем случае эта обыкновенная человеческая слабость попала в «и так далее»...

Подобные споры с Касьяновым мы вели более трех лет, и не было бы им конца, если бы...

Впрочем, все по порядку.

Все началось после моей командировки на Дальний Восток. Я пробыл там на монтаже Большой Вычислительной машины всего четыре месяца, а когда вернулся в институт, то у меня создалось впечатление, будто я отсутствовал по меньшей мере года четыре. В строй вступили два новых четырехэтажных корпуса, и сотрудники расселились по просторным лабораториям. Пополнился штат. У профессора Касьянова появилось два новых заместителя, а моей группе придали три новых «единицы»: двух молодых ребят, дипломников из Института высшей автоматике, и лаборантку Галину Евгеньевну Гурзо.

Дипломники из Института высшей автоматике работали молчаливо и упорно. Они сосредоточенно сопели над монтажом схем и каждый день после обеда брались за паяльники и собирали макеты блоков, которые на бумаге разрабатывали утром. Они оставались в лаборатории после окончания рабочего дня и проверяли результаты своей работы на приборах. На следующее утро собранные накануне схемы оказывались распаянными на детали, а дипломники снова ломали головы над конструированием схем и над расчетами.

Что же касается Галины Гурзо, то она занималась ана-

лизом развернутых формул логических функций, по которым наша лаборатория должна была создать новую вычислительную машину со многими параллельными входами. В случае успеха это позволяло создать машину, которая не простаивала бы, пока программисты составляют алгоритм решения новой задачи. Ровно в 16.00 Галина откладывала тетради в сторону и быстро покидала лабораторию.

— Куда вы всегда так торопитесь? — как-то спросил я.

— Домой. У меня много дел дома, — скороговоркой ответила она.

— Откуда эта девушка? — спросил я одного из дипломников.

Он поднял на меня усталые от напряжения глаза и грустно сказал:

— Не имею представления. Она какая-то дикая.

— Почему дикая?

— Она даже не комсомолка.

«Действительно, дикая», — подумал я.

Я бы не сказал, что она была красавица. Девушка, как девушка. Вздернутый носик, темные каштановые волосы, изящная фигура. Глаза... Впрочем, о ее глазах я мог сказать совсем немного, потому что они всегда были закрыты очками. Чудовищные увеличивающие очки, и глаза Галины сквозь стекла казались огромными и неестественно голубыми.

Как это часто бывает, при исключительном трудолюбии и исполнительности Галина была стеснительной. В обеденный перерыв она удалялась в уголок и, раскрыв сумочку, извлекала из нее несколько бутербродов и торопливо ела, повернувшись ко всем спиной. Однажды я подошел к ней как раз в этот момент. Она сразу перестала жевать, застеснявшись. Мне стало неловко, и я отошел.

— Как вам нравится новая лаборантка? — спросил меня Касьянов.

— Какая-то дикая, — честно сказал я.

— А вы попытайтесь с ней поговорить. Толковая девчонка.

— Где вы ее откопали?

— Случайно. В одном НИИ. Кстати, мой милый мальчик, смотрите, что мне удалось сделать. Я проанализировал схему творческой деятельности одного так называемого талантливого художника. Смотрите, какая железная закономерность.

Я просмотрел столбец рекуррентных формул и про себя позавидовал Касьянову. Умница, ничего не скажешь.

— Понятно? — спросил Алексей Георгиевич.

— Понятно.

— То-то. Скоро я напишу вам уравнения всех ваших эмоций, чувств, увлечений, чего хотите. Хватит дурацких и беспомощных «и так далее».

Я не стал продолжать разговор, потому что в это время в голову мне пришла интересная мысль. Я знал, что многие наши сотрудники поддакивали Касьянову просто из почтительности. Как-никак, человек с мировым именем. Союзников в споре с ним у меня не было, а поддержка мне была очень нужна. Хотя бы одного единомышленника. Так сказать, создать бы единый фронт из двух-трех человек! Я сердито посмотрел на самодовольного старика. Чувствовалось, что у него было настроение со мной поспорить.

«Я найду союзника, — решил я. — Посмотрим, что думает Галина Гурзо». И в этот вечер мне показалось уместным как-нибудь задержать Галину в лаборатории и узнать, на чьей она стороне.

2

— Конечно, это чушь, — сказала она невозмутимо, когда я объяснил ей сущность своих разногласий с профессором Касьяновым. — Старик просто спятил. В пожилом возрасте это бывает.

— Вы понимаете, Галина, что он хочет доказать? Все, что составляет человеческое «я», его эмоциональный мир, его чувственное мировосприятие, его самые возвышенные и иногда лишенные логической основы устремления, могут быть алгоритмизированы!

— Очень модная глупость, — так же невозмутимо заметила Галина.

Впервые мы сидели так близко. Я украдкой рассматривал ее лицо, пылающее свежим румянцем. Теперь я убедился, что глаза ее большие и бездонно-голубые. От ее волос распространялся аромат неизвестных мне духов, а тонкие пальцы медленно перебирали страницы книги. От нее веяло безграничным спокойствием и уверенностью.

— Допустим,— продолжал я,— что можно искусственно создать сколь угодно хорошую имитацию человеческого интеллекта. Да мне ли вам это говорить! Ведь вы занимаетесь именно этой проблемой. Но как вы можете изобразить в уравнениях математической логики, например, любовь одного человека к другому или дружбу, или, например, радость?

— Я с вами согласна. Подобную чепуху левые кибернетики проповедуют вот уже два десятилетия. Касьянову нужно было бы помнить, что всякие попытки создать алгоритмы человеческих чувств повлекут к такому усложнению структуры автоматов, что даже если их реализовать, то реакции будут безнадежно медленными. Автомат сможет вести себя по-человечески только в астрономических масштабах времени. Ведь дело заключается в последовательном переборе правильных вариантов поведения, которых у человека бесконечно много.

«И так далее»,— почему-то вспомнил я. Аргумент Галины показался мне не очень убедительным. Тем не менее я радовался, что она была на моей стороне. Как-никак, это была победа!

— Вы давно занимаетесь теорией высших автоматов?

— Как вам сказать... И да, и нет. До прихода к вам я работала программисткой в вычислительном центре судостроительного завода. Это была послеинститутская практика. Потом меня направили в один НИИ, а затем к вам...

— Вам у нас нравится?

— В общем, да. Только люди у вас какие-то скучные.

— Я скучный?

Она улыбнулась.

— Вы мой начальник, и мне не положено думать о вас дурно. А вот эти два парня, которые делают диплом, безусловно скучные.

— Что вы имеете в виду?

Галина повернула лицо к окну. На улице сгустились сумерки.

— У вас в институте народ не активный. То ли дело на судостроительном заводе. Хороший клуб, кино, концерты, танцы...

Ни с того, ни с сего я вдруг выпалил:

— Галя, если сегодня вечером вы свободны, идемте

Она вздрогнула.

— Сегодня? С вами?

— А что же здесь такого? Идемте!

— Право, не знаю. Впрочем...

Она посмотрела на крохотные ручные часики, затем немного задумалась.

— А это далеко?

— Нет, совсем рядом. На проспекте Дружбы.

В фойе кинотеатра я вдруг обнаружил, что моими личными делами интересуются. До начала сеанса оставалось минут двадцать пять, мы сидели за столиком и рассматривали журналы. И вдруг я заметил одного из моих дипломников и еще девушку, которая работала в моей лаборатории монтажницей. Они стояли поодаль, насмешливо поглядывали в нашу сторону и о чем-то перешептывались.

«Ну и молодежь пошла», — с негодованием подумал я и, чтобы скрыть досаду, обратился к Галине:

— Вы любите кино? Конечно, хорошее.

— Я не очень понимаю этот вид искусства, — смущенно ответила она. — Бесконечная серия фотографий. Меня всегда немного раздражает то, что люди на фотографиях не настоящие. Кино — это искусство искусно лгать.

Я удивился.

— То же самое можно сказать и про театр.

— Да, конечно. Но кино представляет собой, так сказать, серийное производство искусной лжи.

— Я не могу с вами согласиться. Сила и очарование артиста заключается в его способности перевоплотиться, стать совершенно другим человеком, причем таким, в правдоподобность которого зритель поверил бы.

— В этом все дело. В перевоплощении. Что бы вы сказали об автомате, который сегодня выдавал бы вам стакан воды с сиропом, а завтра по собственной прихоти подметал улицы? Такой автомат никому не нужен.

— Значит, вы отказываетесь от своих слов? Только недавно вы говорили, что нельзя создать машинную модель человека, а сейчас сравниваете его безграничные возможности с возможностями автоматов-дворников.

— Я не сравниваю, — возразила Галя, — я просто не представляю, как человек, которому дана одна жизнь и одна линия поведения, может жить сразу несколькими жизнями. То он товарищ Иванов, то Отелло, то Дон-Кихот, то летчик-испытатель. Кто же в таком случае он?

Я знал, что Галина совершенно не права, что она просто-напросто не понимала смысла творчества, но спорить не стал. Ведь сегодня у нас был первый вечер!

В зрительном зале я почти не смотрел на экран. В полумраке вырисовывался ее строгий профиль. Она сидела напряженно и смотрела на экран, не отрываясь. Я тоже боялся пошевелиться. После кино Галина попросила, чтобы я ее не провожал.

— Скажите хоть, где вы живете?

— Там...

Она улыбнулась и неопределенно махнула рукой.

Я видел, как она вошла в троллейбус, а затем мне показалось, будто в тот же троллейбус вскочил мой дипломник и девушка-монтажница.

3

Через день утром профессор Касьянов вызвал меня в свой кабинет. Старик был явно не в духе. Он часто сопел и то и дело глубоко вздыхал.

— Садитесь, — приказал он. — С каких это пор вы решили проводить в институте научно-техническую политику, идущую вразрез с моей?

Я посмотрел на него с удивлением.

— Не притворяйтесь, мне все известно. Но ваши личные отношения с Галиной Гурзо меня не интересуют. Меня интересует то, чему вы ее учите.

— Простите, я вас не понимаю, — проговорил я, медленно поднимаясь.

— Сидите. Вы все прекрасно понимаете. Знайте же, вы не имеете никакого права начинать молодые головы вашими консервативными взглядами на перспективы развития автоматов. Гурзо талантливая девушка, я жду от нее очень многого. Более того, я поручил ей выполнить одно важное расчетное задание, после которого весь ваш идеализм относительно эмоций, любви и прочего полетит в тартарары. Вы увидите эти понятия отображенными в формулах математической логики. И, вместо того чтобы помочь мне и ей, вы начинаете этого талантливого сотрудника перевоспитывать на свой лад. Начинаете петь ей всякую поэтиче-

скую чепуху, забивать ее сознание иррациональными бреднями.

— Да, но я имею право...

— Лично вы — да, — перебил Касьянов. — Но не она. Вам много лет, и вас уже ни в чем не переубедишь.

Я почувствовал, что бледнею.

— Послушайте, профессор. Даже ваше звание и ваше положение не дают вам никакого права указывать мне, когда, где, кому и что могу я или не могу говорить. Наука не постоянный двор, а научные работники не послушные мулы. Разрешите мне иметь по всем пунктам свое собственное мнение и высказывать его при обстоятельствах, которые больше всего устраивают меня, а не вас.

Взбешенный, я покинул кабинет и вернулся в лабораторию. Я подошел к рабочему столу Галины и громко, чтобы все слышали, спросил:

— Чем вы сейчас занимаетесь?

Она встала и протянула мне листы бумаги.

— Вот, новый алгоритм эмоциональной динамики человека. Разработка профессора Касьянова...

Я вырвал из ее рук бумагу и пробежал глазами аккуратные строчки.

— Бросьте заниматься чепухой! Не для того мы здесь работаем, чтобы проверять сомнительные идеи...

— Я ему сказала то же самое... — сказала Галина.

— Вы?

— Да. Когда он объяснил мне содержание работы, я сказала, что он несет чепуху.

— Вы сказали Касьянову, что он несет чепуху? — воскликнул я.

Она удивилась.

— А что же здесь такого? У меня с вами одна и та же точка зрения...

«Так вот почему взбеленился старик!»

Несколько минут я стояла в нерешительности. Мне показалось, что за моей спиной хихикнули. Я обернулся и увидел, что дипломники серьезно и сосредоточенно возились у своих схем и приборов.

— Ладно, Галя, — сказал я, немного успокоившись. — Продолжайте работу. Неладно все получилось. А вообще... Я бы вам не советовал разговаривать с профессором Касьяновым в таком духе...

Она едва заметно улыбнулась.

— Вот еще один элемент, который он не предусмотрел в своем алгоритме...

— Какой?

— Способность человека к компромиссам со своей совестью.

Я так и сел. На этот раз дипломники действительно приснули от смеха. Мне ничего не оставалось делать, как поспешно покинуть лабораторию. До конца рабочего дня я просидел в библиотеке.

Мне было стыдно за себя. Как она меня поддела! Компромисс со своей совестью? Больше того, со своими убеждениями! Чужь какая-то. Нужно во что бы то ни стало объясниться с Галиной. Она может подумать, что я совершенно беспринципный человек...

Я вышел в институтский двор и вдруг увидел Галину. В обществе обоих дипломников она шла к новому флигелю, справа от главного здания. Сердце у меня сжалось. Она шла медленно, опустив голову, а дипломники что-то убежденно говорили ей, размахивая руками.

— Галя! — крикнул я.

Все трое оглянулись. Вдруг один из парней схватил Галину за руку и почти бегом повлек ее прочь. Они скрылись в подъезде нового флигеля, и второй лаборант плотно закрыл за собой дверь. Несколько минут я стоял, как вкопанный. Первым моим движением было бежать за ними. Но я сдержался. В конечном счете Галина молода и свободна, и ей самой решать, с кем встречаться.

Целый вечер я просидел на скамейке в парке, на берегу реки, наслаждаясь гнетущей болезненной тоской. «Так тебе и надо, так тебе и надо, старый дурак», — время от времени шептал я себе.

4

После этого случая я несколько дней подряд был подчеркнуто сух со всеми сотрудниками лаборатории, особенно с Галиной. Иногда я делал ей резкие замечания, и, когда она укоризненно и удивленно смотрела на меня, я отводил взгляд в сторону. Но больше всего от меня доставалось дипломникам. По несколько раз я заставлял их переделы-

вать матрицы памяти, перепайвать схемы, по-новому решать монтажи. Угрюмо и беспрекословно они выполняли все мои распоряжения. С профессором Касьяновым я держался официально и сдержанно. Старик, наверное, понял, что я обижен, и однажды, задержав мою руку в своей, промолвил:

— Да полноте же, Виктор! Я уже все забыл, а вы дуетесь. Забегайте ко мне после работы, я приготовил против вас такой аргументик, что вы просто ахнете! Кстати, как ребята справляются с новыми типом вероятностной памяти? Как идет у них работа?

— Медленно,— угрюмо ответил я.— Мало того, что мы получили не очень качественные радиокомпоненты. Из сотни туннельных диодов добрую половину нужно отсеивать...

— Я вас очень прошу проследить за тем, чтобы этот блок ребята сделали как следует. От него зависит очень многое. Так зайдете после работы?

Но к Касьянову после работы я не пошел, и вот почему. Когда сотрудники разошлись и в лаборатории воцарилась полная тишина, я вдруг почувствовал, что я не один. Мне даже стало немного жутко. Я огляделся и в самом дальнем углу, за шкафом с химической посудой, за маленьким столиком увидел Галину. Я поспешно подошел к ней.

Она сидела, уронив голову на руки, и тихонько плакала.

— Галя, что с вами? — спросил я, трогая ее за плечо.

Она вскочила и отшатнулась.

— Не подходите ко мне, не трогайте меня,— прошептала она.

— Хорошо, хорошо. Но объясните, почему вы плачете? Кто вас обидел?

— Вы.

— Я?

— Да, вы. Я была на вашей стороне. Я защищала ваши убеждения, как могла... А вы на меня накричали... И теперь ваше отношение ко мне стало таким странным... Мне тяжело... Очень тяжело...

Удивительна душа человека! Она призналась, что ей тяжело, и мне сразу стало очень легко. Как тут не вспомнить Лермонтова: «Мне грустно оттого, что весело тебе...»

Я ласково засмеялся.

— Не принимайте все так близко к сердцу.

Она вдруг заговорила взволнованно и убежденно:

— Я молода и глупа. Я не знаю и тысячной доли того, что знаете вы или профессор Касьянов. Очень часто то, что я говорю, идет не от разума, а от сердца... Когда человек мало знает и еще не научился самостоятельно мыслить, он все принимает на веру. Я вам всегда так верила, так верила...

Она снова закрыла глаза руками и заплакала.

— Да полно, Галя! Не надо так... Конечно, вы молоды, но зато у вас все впереди. И знание, и самостоятельная работа, и большое чувство.

Понемногу она успокоилась. Я предложил пойти погулять, и она согласно кивнула и даже улыбнулась.

Мы пришли на ту самую скамейку над рекой. К Галине вернулось ее прежнее спокойствие, а ее глаза, как мне показалось, стали более ласковыми и добрыми. Мы поговорили о каких-то пустяках, потом замолчали. Когда зашло солнце и спустились короткие осенние сумерки, я подвинулся к ней и тихонько положил ладонь на ее руку. Рука у нее была очень маленькая и холодная. Я снял пиджак и набросил его на плечи девушки. Она не пошевелилась.

— И это Касьянов хочет переложить на язык формул,— прошептал я.

— Не надо больше об этом,— ответила она тоже шепотом.

— Милая...

Она вдруг вся напряглась и отвела мою руку в сторону.

— Не нужно... Мы еще так мало знакомы...

— Вы знаете, почему я на вас рассердился? — спросил я.

— Знаю. Потому что вы увидели меня в обществе этих ребят, ваших дипломников. Вы ревнивы.

— Да. Вы правы. Это было глупо и гадко.

— В тот вечер они просто решили показать мне новую лабораторию. Как много в институте интересного... Особенно отдел художественного оформления.

Такой отдел действительно был создан в институте, я немало дивился этому обстоятельству, но так и не успел познакомиться с его задачами. Говоря откровенно, само его название ассоциировалось у меня с чем-то комическим и легкомысленным, и я вспоминал о нем, как о каком-то курьезе.

Когда мы поднялись со скамейки, кусты позади громко затрещали. Я вдруг увидел, как там, в полумраке метнулась неясная тень. Опять дипломники? Ну что за наглецы...

— Неслыханная дерзость,— прошептал я.

В ответ Галина странно засмеялась. Домой проводить себя она не разрешила.

5

С Касьяновым мы снова встретились только через неделю, когда лаборатория окончила напряженную работу по изготовлению пробного образца микроминиатюрной вероятностной памяти нового типа. Касьянов, положив руку на небольшой хлорвиниловый блок, включающий в себя миллионы искусственных нейронов, улыбнулся и сказал:

— Ну, теперь можно немножко снять напряжение. Вы, ребята, кажется, изъявили желание пойти в турпоход? — обратился он к дипломникам.

— Да.

— Неделя в вашем распоряжении. Кстати, Виктор, Галина обращалась ко мне с просьбой отпустить ее на несколько дней к матери. Как ваше мнение?

Я подумал. Мне очень этого не хотелось, но пришлось согласиться.

— Вот и хорошо. А мы останемся с вами и немножко поспорим. Я уверен, что в этом споре возникнут новые интересные идеи для нашей последующей работы.

Я был несколько удивлен и раздосадован, когда узнал, что Галина уехала, не попрощавшись со мной. Лаборатория сразу стала для меня пустой и неуютной. Только сейчас, когда этой девушки больше не было рядом со мной, я почувствовал, как много она для меня значила... Весь день я слонялся из угла в угол, не зная, за что приняться. А затем в душе вспыхнуло решение, то самое решение, которое рано или поздно приходится принимать каждому человеку, для которого другой человек перестает быть безразличным.

«Вот придет, и все решится».

От этой мысли мне сразу стало легко, и в веселом и бодром настроении я отправился в кабинет профессора

Касьянова, чтобы вступить с ним в спор. О, теперь у меня были тысячи аргументов. Теперь я сам был главным аргументом против профессора!

— Сядем? — как всегда с хитроватой усмешкой предложил Касьянов.

— Сядем. — ответил я.

— Прежде чем спорить, я хочу задать вам вопрос, который мне было не очень удобно задавать при дипломниках. Вы проверили качество монтажа новой памяти?

— Да.

— Радиocomпоненты только высшего класса?

— Вы сами знаете, как нужно отвечать на этот вопрос, профессор. С высокой степенью вероятности, да.

— Ну, хорошо. Так вот что я хочу вам сказать. Ваши возражения относительно того, что самые тонкие эмоциональные движения человеческой, как вы ее называете, души, не могут быть запрограммированы и алгоритмизированы, не выдерживают никакой критики.

— Доказательства? — потребовал я.

— Вот вы убедили неопытную девчонку, вашу Галину, что я выживший из ума старый дурак.

— Я так не говорил!

— Ну, может быть, не так. Но смысл был таков. И что же? Ваша поклонница убедилась в обратном! Вам она просто поверила, а меня она поняла. Вы чувствуете разницу?

— Пока нет.

— Она толковая девчонка, эта Галина Гурзо. У нее гибкий аналитический ум. И когда я предложил ей разобраться в новом алгоритме, который предусматривает подсознательную, не осознанную деятельность центральной нервной системы, когда она разобралась в задаче, поняла ее, тогда она пришла к выводу, что вы не правы!

— Не может этого быть! — воскликнул я. — Галина всегда была на моей стороне!

— Была, да сплыла. Вот и вам я советую разобраться как следует в этом интересном вопросе. Просто возьмите ее рабочую тетрадь и почитайте.

Слова Касьянова сильно меня взволновали. Моя Галина — и вдруг в лагере противника! Я вспомнил, что последнее время она уклонялась от разговоров на эту тему. Но оставался еще главный, как мне казалось, аргумент.

— Профессор, вы можете доказывать на бумаге все, что

угодно, но вы не можете переложить на бумагу мои чувства. Понимаете? Мои. Я люблю Галину.

Я был вправе ожидать, что мое сообщение заинтересует его. Действительно, он поднял брови и спросил:

— Вы это серьезно?

Я взбесился.

— Может быть, вы мое чувство к ней тоже сможете разложить в ряд рекуррентных формул? Может быть, вы напишете уравнение того, что делается у меня в душе? Может быть, вы составите график моей тоски по этой чудесной девушке? Может быть...

Он поднял руку, останавливая меня. Лицо у него было хмурое и сосредоточенное.

— Ну что ж,— сказал он,— по правде говоря, я давно это сделал. Вы не хотите заняться моей теорией? Отлично. Я поручу вашей лаборантке Гурзо изложить вам эту теорию популярно. Гурзо знает ее в совершенстве.

Я пытался еще что-то возражать профессору, но он ничего не отвечал, а только качал головой. Никогда еще я не видел его таким серьезным и обеспокоенным. Мне даже показалось, будто он сам почувствовал, что где-то допустил ошибку...

6

Неделю, в течение которой отсутствовала Галина, я провел в мучительных размышлениях. По совету Касьянова я взял ее рабочую тетрадь и принялся разбираться в исписанных мелким аккуратным почерком страницах. Очень скоро формулы обычной математической логики кончились, и появились новые операции, новые обозначения и новые символы. Я не без удивления установил, что математические познания Галины превосходили все, что можно было ожидать. Я почувствовал себя неловко. Почему я раньше не присмотрелся к ее работе, не узнал как следует, чем она занимается?..

Галя застала меня в тот момент, когда я дочитывал последние страницы.

— Именно в этот момент я и прозрела! — воскликнула она, подбегая ко мне.

Ее лицо было радостным и веселым, глаза искрились.

— Интересно, правда, Виктор Степанович? Что ни говорите, а наш старый учитель — гений!

Мне оставалось только виновато улыбнуться и сказать:

— А вы все же предательница!

— Помните знаменитое «но истина дороже»? Так вот, я решила ничего больше на веру не принимать. Давайте доказательства — и точка! Касьянов представил доказательства.

Тогда я сухо произнес:

— А вы знаете, это не доказательства. Это бумага. В том, о чем я спорил с ним, и теперь буду спорить с вами, доказательным может быть только прямой эксперимент. История науки знает много примеров изящных доказательств на бумаге, которые были похоронены не менее изящными опытами. Пока такого еще не поставили.

Галина пожала плечами и недовольно поморщилась.

— Ну, знаете ли, в таком случае вы отрицаете роль теории. Вы рассуждаете, как голый эмпирик.

Я вдруг остро почувствовал, что навсегда потерял союзника. Ее насмешливый взгляд и веселый голос принадлежали теперь совсем другой Галине. Я посмотрел на нее и вздохнул.

— Как быстро вы меняете свои взгляды...

— Дело не во взглядах. Да, до сегодняшнего дня я верила в чудеса. Но разве доказательство, что чудес не бывает, не призвано направлять меня на путь истины? То, что люди называют принципиальностью, очень часто оказывается упрямой беспринципностью.

— Вам еще никто ничего не доказал. А что касается теорем профессора Касьянова, то вам, должно быть, известно, что великий Лейбниц доказал теорему о существовании бога.

— Я не знаю этой теоремы, но, наверное, она логически несостоятельна. Должно быть, там в неявной форме заложены ложные посылки.

Я горько усмехнулся.

— Вы уверены, что в логике Касьянова не скрыты ложные посылки?

— Пока да.

— Пока! А что будет дальше, вас не волнует?

Галина на мгновение задумалась.

— Кто знает. С познанием всегда так. Все люди запро-

граммированы на уровне знаний эпохи своего времени. Может быть, в будущем некоторые программы и придется менять. В этом сущность бесконечного познания...

Я театрально воскликнул:

— Вот вы вместе с вашим Касьяновым и попали в ловушку! Бесконечное познание как раз и есть то самое «и так далее», где мы ничего не знаем. Я верю только экспериментам, а не бумажным парадоксам, вроде этих.

Я сильно ударил тетрадь по столу. Галина перестала улыбаться и посмотрела на меня с тревогой. Нет, она стала совсем другой. И все же она была та самая девушка, в глаза которой мне хотелось смотреть до бесконечности. Я положил тетрадь и пошел прочь, но вдруг она порывисто шагнула ко мне.

— Не сердитесь на меня. Я сама не знаю, что говорю... Вы знаете... Я бы очень вас просила... Может быть, это и не совсем удобно...

— Что?

— Пойдемте сегодня вечером гулять...

— Хорошо, — сказал я. — Я вас буду ждать на той самой скамейке, на берегу реки... Только не задерживайтесь, прошу вас.

Галина слегка улыбнулась и кивнула головой.

7

Крохотный буксир шипел и пыхтел, медленно толкая огромную баржу, наполненную строительным песком. В плавных и широких волнах реки отражалось пурпурное небо, а порывы ветра с противоположного берега раскачивали ветки пожелтевших кленов, стряхивая на землю дождь еще не успевших пожелтеть листьев. Зажглись первые звезды, и мир стал быстро погружаться в осенний сумрак... Голова Гадины лежала на моем плече, я обнял ее за талию и удивился, какая она тоненькая и хрупкая... Я молчал, и мне казались ненужными и далекими споры с Касьяновым; мне представилось, что то же самое думает она, и от этого радость переполнила мое сердце...

Вот он, большой, миллионноголосый молчаливый мир человеческих чувств! Он разлился в седом тумане, запол-

нившем песчаный карьер у моста. Он плещется в бесчисленных блестящих беспокойной воды, в которую смотрит безоблачное осеннее небо. Он волнуется в далеком шуме городского транспорта. Он трепещет в неровном дыхании сидящей рядом девушки, которая думает, верит, сомневается и ищет... Он во всем.

И пусть он, по Касьянову, называется «и так далее», но он и есть бесконечность, и мы должны за это благодарить природу.

Я на мгновение представил себе другой, фантастический мир, в котором все конечно, где нет никаких «и так далее», где все познано до конца. В таком мире у человека всего пять чувств. В нем одно солнце и только одна планета. В нем всего два человека. В нем нет ни атомов, ни электронов, ни странного микромира, а есть большие кубические «неделалимые» кирпичи, из которых можно построить конечное множество геометрических фигур. В этом мире одна река, одно море, одно озеро. В нем одно небо, и на небе только одна звезда. Там растет только одно дерево, и оно приносит только один вид плодов. Вселенная этого мира конечна и пуста. И больше в нем ничего нет.

Могли бы развиваться в таком мире наука и техника? Что означала бы в нем человеческая цивилизация? Были бы искусство, музыка, поэзия? Могла бы в нем родиться любовь?

Я представил себе этот унылый, однообразный мир и усмехнулся про себя. Конечно же, мы должны быть благодарны природе за ее бесконечность! Только благодаря ей так богат наш внутренний мир. Он сверкает и искрится, как вся Вселенная, и наверное поэтому нам всегда хочется жить. Вечно меняющиеся эмоциональные краски отвлекают нас от мысли о неизбежности смерти, потому что мы всегда очарованы калейдоскопом неповторимых чувств.

Я прижал к себе Галину и прошептал:

— Вот тебе и ряды рекуррентных формул...

— Но ряды могут быть бесконечными,— тоже шепотом возразила она.

— Так ли уж это важно?

— Главное, чтобы ряды сходились...

— Ты считаешь, что все происходящее в моей душе и... может быть, в твоей, перекладывается на сходящиеся ряды?

— Любые бесконечные ряды, которые отображают явления реального мира, должны быть сходящимися...

— Может быть, мы больше не будем говорить об этом?

— Я не хотела... Это вы...

— Почему «вы»?

— Ну, ты...

Я замолчал. Стало совсем темно, и я вдруг почувствовал, что самый важный момент в моей жизни наступил. Я встал и, отступив на шаг от скамейки, сказал вполголоса:

— Я люблю тебя, Галя. Я прошу тебя быть моей женой.

Девушка нерешительно поднялась.

— Женой?

— Да. Я хочу этого. Я прошу тебя... Я тебя...

— О! Только не это! Только не это!

Галя резко повернулась и быстро пошла по темной аллее вдоль берега. Я едва за ней поспевал.

— Галя! Галя! Остановись! Что с тобой! Если я сказал не то...

Но она все шла и шла, убыстряя шаги, затем побежала, спотыкаясь о кочки и обнаженные корни деревьев. Я догнал ее почти у выхода из парка. Здесь тускло горел одинокий фонарь, и не было ни одной скамейки.

— Что с тобой случилось? Почему ты бежишь?

— Не надо... Не надо... Не подходите... Мне так тяжело, так...

— Да что с тобой, милая?

— Не спрашивайте ничего. Все так нелепо, глупо... Я такая глупая...

— погоди, о чем ты? Может быть, я... Прости меня, если я сказал не то...

— О, нет!

— Так в чем же дело?

Я схватил ее за руку. Рука ее была ледяная.

— Ты дрожишь, тебе нехорошо... В чем дело?

Она не отвечала.

— В чем дело, Галя?

Она безмолвно покачала головой.

— Ну говори же, что с тобой!

Я взял ее за плечи. Она пробормотала:

— Профессор Касьянов и эти ребята, дипломники...

— Что? Что они тебе сделали?

Она опять покачала головой. И вдруг ни с того ни с сего она тихонько засмеялась.

— Ты смеешься! Почему ты смеешься?

Она высвободилась, отошла на несколько шагов и сказала странным, прозаическим голосом:

— Глупые шутки. Я их не выношу. И вообще... нельзя же человека переучивать по несколько раз за жизнь. Вначале одно, после другое... Так можно поступать только с машиной... Меняй программы, и дело с концом.

— Ты о чем, Галя?

— Я поняла, какую чепуху доказывает Касьянов. Просто че-пу-ху!

— Ну конечно же! — воскликнул я.

— Но и вы тоже хороши! Бесконечные ряды сходятся!

— Не понимаю...

— Существует таинственный процесс, когда из бесконечного получается конечное... Например, сумма бесконечного ряда...

— Да, но к чему все это?.. О чем ты говоришь?

Галина снова засмеялась. Затем, резко оборвав смех, подошла к стволу высокой безлистой березы, уперлась в него локтем и положила голову на руку.

— Что с тобой, Галя? — в ужасе спросил я.

— Ничего... Это сейчас пройдет... Бесконечность... Это как во сне... летишь, летишь... Когда меня еще не было, я видела во сне высокую зеленую траву. Над травой каждое утро восходило солнце. А после... Как трудно вспомнить, что было после. Как я ненавижу этих дипломников. И Касьянова. И всех, всех...

— И меня?..

— Так хорошие люди не поступают... Разве можно жить только наполовину? Или на одну треть?.. Нельзя так... Потому что кругом звезды, звезды, звезды...

И она упала...

Я не понял, что произошло после. Откуда-то из темноты выскочили три фигуры, кто-то отшвырнул меня в сторону, Галину подняли и быстро понесли к выходу. Я бросился вслед, крича что-то, но передо мной возник профессор Касьянов.

— Вы сами во всем виноваты, — хрипел он. — Нужно было более тщательно проверять полупроводниковые компоненты... Да и я тоже хорош... Как можно было не предусмотреть обратной возможности?

— Скажите, я сошел с ума?

— Вы? Нет. Вы просто влюбились в призрак. А в общем, машина получилась на славу...

Появились дипломники, один из них спросил:

— Значит, сейчас работу можно оформлять? Осталось описать только этот эксперимент.

— Оформляйте,— буркнул Касьянов. Затем он обратился ко мне.— А жаль. Теперь нам больше спорить не о чем...

Я проснулся от громкого девичьего смеха. Было совсем темно и накрапывал дождь... Несколько минут я ничего не понимал, а Галина упорно дергала меня за руку.

— Да проснитесь же! Первый раз вижу, чтобы таким образом ждали девушку.

— Вы, вы...— бессвязно лепетал я.

— Ну, конечно, я! Меня немного задержал Касьянов. Мне показалось, что он сдает свои позиции...

Я проснулся окончательно.

— Как хорошо, что вы... настоящая!

Она так и не поняла, что я имел в виду...

ДВОЕ ПОД ГАМАКОМ

Прошло уже две недели. Я отважен, как вепрь, и осторожен, как антилопа. Кажется, все получается отлично.

— Мы все, без единого исключения, недалекие и неумные люди,— сказал академик Ренский.— Мы сделали этих уродцев и теперь сами же их боимся. Я не только о кибернетике. Рабочий боится станка, машинист — автомашиниста, а все остальные с удовольствием и готовностью соблюдают даже самые идиотские правила техники безопасности. Вы меня действительно понимаете или просто удачно притворяетесь?

— Зачем так? — возразил я.— Вы ведь знаете, что не притворяюсь.

— Да, вы неглупый парень. Двадцать четыре года, умница и опять же — стихи. Почитайте.

— Нет, мы же договорились.

— Верно. Ну, сдавайте, и будь я проклят, если вы не полезете в загон.

Я, журналист Игорь Подольный, и академик Ренский, мой тезка, сидели у него на даче под гамаком, подтянутым к столбам (на гамаке была расстелена простыня от солнца), и играли в карты, подзадоривая друг друга. Если кого-нибудь смущает, что академик играл в карты,— пожалуй-ста, пусть мы играли в шахматы.

— Е2 — Е4,— сказал Игорь Янович и побил козырным валетом моего трефового туза.

Стояла безветренная июльская жара, но мы играли зло и азартно, потому что проигравший круг из семи игр должен был пойти в загон и медленно — обязательно мед-

ленно! — полить водой козу моей хозяйки. Это была удивительная коза. Она целые дни лежала в загоне, ела хлебные корки и тоскливо смотрела на легкомысленный дачный мир огромными бессмысленными глазами. Но в ту минуту, как на нее падала первая капля воды, она превращалась в дикого мустанга, боевого испанского быка и бешеную собаку одновременно. Она подпрыгивала, бодалась, ухитрялась и лягаться и царапаться задними ногами. А передними — ими она вообще делала чудеса. В шестьдесят с лишком очень трудно быть тореадором, а Ренский был им уже два раза. Активисты Общества защиты животных уже, очевидно, разыскивают мой адрес. Да нет же, честное слово, козе это развлечение доставляло огромное удовольствие. Мне даже показалось однажды, что она внимательно посмотрела на нас сквозь прутья загончика, чуть ухмыльнулась в редкую бородку и потеряла левое копыто о правое. Впрочем, в жару как-то не до мистики. А Игорь Янович наслаждался жизнью изо всех сил. На пораненный локоть он прислонил листок подорожника, а постоянно спадавшие с толстого живота пижамные штаны укрепил для надежности связанными шнурками от моих тапок. Он вынес уже два сражения с козой и был готов на все, что ждало его впереди. Мы играли и говорили обо всем на свете. Мы очень нравились друг другу. Но, наивный старик, он не знал, что коварство легендарных древних троянцев — мелочь и мальчишество рядом с планом, который я задумал и теперь осуществлял.

В жизни мне очень не повезло — я писал научно-фантастические рассказы. Я просто не мог не писать их. Странный мир вставал перед моими глазами, он казался мне сказочно интересным, я писал, перечитывал и смеялся от радости, что все это сочинил именно я. И прятал в письменный стол. Я где-то прочитал, что древние мудрецы советовали прятать настоящие вещи на год, а потом доставать и перечитывать. Но так делали мудрецы, а я кончил обычную школу, настолько обычную, что на ее дверях даже было написано «Средняя школа» — средняя, а не какая-нибудь особенная. И обычный институт. Словом, после первого рассказа я выдержал месяц, а потом достал его из правого ящика стола, из-под груды писем от разных

редакций, которые сообщали одно и то же — мои стихи им не подойдут, но пусть я продолжаю писать и побольше читаю классиков.

Огромная кибернетическая машина мучилась от переизбытка самых разных человеческих желаний. Ей хотелось бегать и прыгать, играть в пинг-понг с сотрудниками лаборатории, бежать к телефону по первому звонку и каждый раз отпрашиваться с работы на час раньше, как уса-тый техник с крайнего стола. Ей хотелось маринованной капусты, за которой тайком, прятась от начальника отдела, бегали за угол младшие лаборантки, хотелось закурить и покрутить у себя самой ручки настройки. Страдания машины я описал красочно и безжалостно. Красочно потому, что однажды, сломав ногу и два месяца провалявшись в гипсе, отлично помнил муки неподвижности. Безжалостно потому, что на месте машины представлял себе, когда писал, своего начальника — толстого и заплывшего, когда-то очень способного, а теперь все растерявшего журналиста. Любитель поест и поговорить о женщинах, он сластолюбиво двигал мясистыми мокрыми губами и похрюкивал, когда смеялся. Я уже очень давно думаю, что такие наружные признаки точно соответствуют внутренним качествам. Работая с ним, я в этом убедился. Толстокожий, какой-то успокоившийся раз и навсегда, он был бичом для начинающих журналистов. Он обладал острым и безошибочным чувством юмора — все смешное он вычеркивал. Любую романтику он двумя-тремя изменениями и вставками превращал в строки из учебника по тригонометрии. И... всему завидовал. Никуда не выезжая сам, он мучительно хотел успеть всюду. Зачем? Этого он, наверное, и сам не знал. Он завидовал дальним поездкам и новым знакомствам, удачным фразам и хорошему настроению, тонкой шутке и звонкам приятельниц. От этой зависти он уже ничего не мог делать сам, ему хватало времени лишь на то, чтобы постоянно узнавать, кто что успел. Поэтому мне совершенно не было жаль машину. Сначала. А потом она вдруг потеряла все общее с моим шефом и стала несчастным существом. Все началось с мелочи.

Машине, чтобы она угадывала возраст, показали несколько человек. Она рассмотрела их, сопоставила возрастные признаки и... стала всем новым людям давать на

несколько лет меньше. Все объяснялось просто — больше половины изучаемых были женщины. Они добросовестно показывались машине, а возраст свой по привычке называли на несколько лет меньше; средние данные у машины оказались заниженными. Я очень гордился такой высокохудожественной находкой и с этой минуты полюбил машину. Рассказ кончался тем, что молодой изобретатель сообщал ей способность к действию.

Я читал рассказ в редакции после работы. И шеф сказал:

— У вас дома есть ящик?

— Есть, — ответил я. И гордо приврал: — Я выдерживал его в ящике полгода, а потом достал и подправил.

— Зря, — сказал шеф.

— Подправил? — спросил я.

— Нет, достал, — радостно сказал шеф. — До рассказов, юноша пылкий со взором горящим, вы еще просто не доросли. Счастье, что написали не роман. Или роман тоже написали? Ну-ну, пишуший да обрящет, как говаривал Нерон, сжигая писателей.

Шефу никто не возразил.

Ты шла со мной к остановке по холодной сквозной аллейке, с хрустом разламывая весенние льдинки на лужах, и говорила. Лучше бы ты молчала.

— Зачем, ну зачем ты читал этот рассказ? — говорила ты. — Ну пускай ты графоман, одержимый страстью покрывать бумагу никому ненужными крючками. Но зачем читать вслух? Кретинские мысли, сдобренные юмором восьмиклассника. А ведь кончал журналистику, мог бы научиться писать, по крайней мере, менее коряво. Почему ты молчишь? Хочешь поссориться? Я тебе не дам этого сделать.

О, как мне нравился мой рассказ, как лживы и непонятливы были все, кто пытался очернить его и меня вместе с ним. И Леночка, любимый человек, предала меня без единой попытки помочь или хотя бы ободрить. Ложь окружала меня со всех сторон. Небо только прикинулось безоблачным, скоро должен был пойти дождь; усталые люди уступали место детям и инвалидам, в душе проклятая их появление; кондуктор говорил с безбилетным ре-

месленником сладким голосом штрафующего контролера. Мир притворялся добрым, чтобы ударить из-за угла.

По улице неторопливо ехал новый, только с конвейера, мощный зеленый экскаватор. А следом, не отставая ни на метр, шла машина неотложной технической помощи.

К счастью, больше ни одного рассказа я никому не читал. А написал я их штук пять. В них рождались и гибли целые цивилизации, неслыханные катастрофы потрясали громадные миры. Уже потом я понял, что сила воздействия не в грандиозности, а в достоверности событий. В достоверности, путь к которой лежит через деталь. Для деталей нужны знания, а их-то мне и не хватало.

Леночка, я очень тебя люблю, для тебя одной я сижу и пишу этот дневник — отчет о сделанном за время отпуска. Сделанном для тебя, и ни для кого больше. Помнишь? Мы полюбили друг друга еще в институте. Мы так старательно скрывали это, что наш декан Карашук, мрачный и очень несчастный человек, однажды даже сказал про нас:

— Такое удивительное безразличие друг к другу — я был уверен, что они давно женаты.

Поцеловал я тебя на скамейке около Гоголя в августе, перед третьим курсом. Ты сказала, что мне должно быть стыдно — сверху смотрит великий сатирик, переживший в середине прошлого века трагедию творческого разлада с самим собой. Ты всегда была умной девочкой, и меня это немножко угнетало. Но я поцеловал тебя еще раз и перестал чувствовать себя неучем и кретином. В тот вечер нам не хватило в кафе-мороженом двух рублей, я оставил паспорт, а когда на завтра расплачивался, на бумажке было написано, что я должен два с полтиной, и мне снова пришлось бежать в общежитие. Помнишь? А помнишь?..

Мы договорим с тобой потом.

Помнишь вечер в редакции, когда мы все засиделись допоздна, и шеф вдруг вызвал меня к себе?

Задание, которое я получил в тот вечер, было абсолютно невыполнимо.

Лаборатория академика Ренского в Институте бионики сделала небольшую машину, имитирующую глаз человека.

Мы писали об искусственном глазе и о работах лаборатории, бывали там, и она не очень интересовала сейчас газету, если бы не один обидный факт: сам Ренский журналистов не принимал. Поговаривали, что методы, которыми он отделялся от прессы, попахивали вмешательством нечистой силы. Один из наших ребят, вездесущий Колька клялся, что уже был у него в кабинете — крошечной клетушке, отгороженной прямо в лаборатории. Колька обманул секретаршу и вошел в кабинет. Ренский поднял голову от стола с разложенными бумагами, и тут — Колька каждый раз говорил, что ему не поверят, а потом повторял, не привирая от раза к разу, — тут что-то внутри него сработало помимо его воли. Он повернулся и пошел к выходу. Он пытался повернуть, но ноги стремительно несли его сами. Сотрудники, оторвавшись от дел, громко смеялись, глядя на него. Секретарша смотрела на него и жалеюще улыбалась. В дверях своего кабинета стоял Ренский и молча смотрел Кольке в спину. Только за порогом Колькины ноги остановились, но вернуться он побоялся.

— Видите ли, нас сейчас не волнуют работы лаборатории. Сделайте очень небольшую статью, но чтоб она обязательно начиналась словами: «В беседе с нашим корреспондентом академик Игорь Янович Ренский сказал...» Вот и все, что мне от вас нужно. Даю двухмесячный срок. Ясно? Будьте.

Так сказал шеф.

— Игореха, он не зря терпеть тебя не может, он уже три или четыре раза приглашал меня с ним пообедать или сходить в театр. Назло ему, а? Ты ведь сможешь.

Так сказала Леночка.

Все получилось быстро и просто. Не пришлось переодеваться ни прекрасной турчанкой, ни работником Мосгаза.

В июне я взял отпуск и снял комнату в поселке под Звенигородом, прямо возле дачи Ренского, через забор от него. Хозяйка дома, вдова писателя, сдала мне комнату почти бесплатно, когда я сказал ей, что я инженер, что свой отпуск хочу посвятить работе над стихами, которые

пишу давно, но пока не хочу печатать. Вспомнив, как все свободное время таскал стихи из одного журнала в другой, я повторил:

— Да, да, пока не хочу.

— Это очень редко в ваши годы, — сказала вдова и не хотела брать с меня деньги. По часу в день она рассказывала мне о муже, опусы которого так полюбили читатели, что он еле успевал ездить с одной читательской конференции на другую и уже ничего больше не успевал писать. На третий день она познакомила меня с Ренским.

Мой расчет был обдуманно точен — каждому нужен свой доктор Ватсон, ведь с женой и родными о своих научных делах Ренский, очевидно, не разговаривает. Это всюду одинаково — у каждого члена семьи существует неизвестно как возникшее прочное чувство, что домашним уже все на свете сказано очень давно. И тут подворачиваюсь я. Ренский ежедневно говорит со мной, я пишу статью, шефа увозят с инфарктом, та же машина возвращается за мной и Леночкой. Куда мы поедем, я еще не думал, но понимал, что поехать надо. Очень уж это было бы красиво.

Ни вдове, ни Ренскому я стихов не читал.

— Обработаю, тогда может быть, — сказал я.

— Ну, что ж, психологически это очень ясно, — говорила вдова. — Хотя в его возрасте...

— Ну, ну, — говорил академик. — Я завтра вернусь пораньше. Заходите. Перекинемся на козу.

По утрам я пишу дневник. Холодная и жестокая решимость переполняет меня и диктует мои поступки. Что-то сильнее, чем я сам, ведет меня, как ниточки — куклу. Необходимость, как Дамоклов меч, висит и раскачивается надо мной. Прошло уже две недели. Ренский привязался ко мне и полностью мне доверяет. Часы его отдыха мы проводим вместе. А в этот четверг он вернулся часа в два и больше никуда не поехал.

— Знаете, тезка, я с радостью беседую с вами. Возраст шестьдесят только авторы некрологов называют цветущим, так что моя разговорчивость — старческое явление. А потом очень приятно, что вы инженер; ведь любовь к музам не записана у вас в трудовой книжке? Поэтому вам понятно все, что я говорю. Сдавайте, сдавайте, не отвлекайтесь — ваша очередь.

Он говорил в тот день о том, как сделанный в лаборатории искусственный глаз учили распознавать предметы.

— Вы ведь не думаете над тем, как отличить маленькую собаку от большой кошки? Казалось бы, все происходит машинально. Может быть, в нас заложена как бы фотография любого предмета, и мы сверяем сумму признаков? А может быть, только один: какой?

На этом нас прервали.

Ренский оглянулся к калитке и огорченно сказал:

— Э, там же гости. Уж не отважная ли пресса? Где очки?

По дорожке, минуя дом, прямо к гамаку двигался мужчина в белой рубашке с репортажным магнитофоном в руках. Я знал его, это действительно был корреспондент из толстого молодежного журнала. К счастью, он не помнил меня.

— Здравствуйте, Игорь Янович,— сказал он приветливо, но сдержанно (очевидно, слышал Колькины побасенки).— Извините, что побеспокоил вас дома, но наша молодежная редакция хотела бы дать беседу о работах вашей лаборатории. Пожалуйста, расскажите что-нибудь о направлении поисков. Об успехах и трудностях. И о коллективе.

Черт, неужели и я всегда говорю такими же штампами? Ведь с друзьями он наверняка веселый и находчивый человек, а тут — пригостишка, куда все подевалось. Я вдруг взглянул на свою профессию со стороны.

Человек, пишущий об ученых, о жизни и путях человеческой мысли, должен знать этих ученых гораздо ближе, чем знаю их я. Я прихожу в их жизнь с того же хода, что почтальон: редкий и случайный гость, я полностью завишу от подробностей, которые мне рассказывают. Все это должно быть как-то не так. А как?

— Видите ли, Игорь Янович,— журналист был безукоризненно вежлив,— о своих работах нам рассказывает большинство ученых.— Он уже немного горячился.

— И прекрасно.

— Но ведь вы отказываетесь говорить с широким кругом читателей уже несколько лет.

— Это небольшой срок. Многие прекрасные люди не поговорили с этим, как вы говорите, кругом ни разу за всю жизнь.

— Но ведь широкий читатель...

— Молодой человек! (Журналисту было под сорок). Впрочем, бесполезно.

Ренский надел очки, к которым из кармана пижамных штанов тянулся тонкий шнурок. Я услышал тонкий щелчок микропереключателя. Журналист вдруг молча повернулся и пошел к калитке. Он шел, нелепо выворачивая голову и туловище назад, но ноги сами несли его по дорожке. Глаза его то останавливались на мне и Ренском, то скользили по деревьям сада, как будто он хотел уцепиться за них взглядом. Ренский похосился на меня, и тогда журналист остановился и повернулся к нам целиком. Но Ренский уже смотрел снова, и тот опять, упрямо оборачиваясь, стал уходить. От неестественного положения туловища его рубашка выбилась из брюк и висела сзади, нелепо болтаясь. Он вышел за калитку, Ренский снял очки и усмехнулся. А я смотрел на журналиста. Бедняга постепенно приходил в себя. Его потное от волнения и перекошенное от испуга и возмущения лицо приобретало нормальное выражение. Он передернулся и пошел, на ходу вытаскивая из заднего кармана блокнот и ручку. «Молодец», — подумал я.

Ренский с сожалением взглянул на карты, которые так и не выпускал из рук, и бросил их на траву.

— Я слушаю вас, Игорь Янович. Мое ухо висит на гвозде внимания.

Сейчас я все узнаю, а моя профессиональная хитрость войдет в историю журналистики, и розовые студенты, плача от зависти, будут заучивать мою биографию наизусть.

Густая трава на большой кочке возле гамака курчаво шевелилась под ветром, как шкура неубитого медведя.

— Очки — наша побочная работа. Мы обнаружили лучи, испускаемые глазом, и случайно натолкнулись на возможность усилить их. Именно поэтому у меня такие очки. Так вот: я отдаю мысленный приказ собеседнику уходить. Внушение действует, как при гипнозе. Как писал один бездарный литератор, «по мышцам жертвы бежит немота управления членами». Но сознание сопротивляется, человек не понимает, что с ним происходит. Поэтому наш белоснежный журналист так выворачивался, желая узнать, что его ведет помимо воли. А кстати, напряги он волю, я бы ни-

чего не мог с ним сделать, у меня приказы слабее, чем у хозяина нервной системы. Но тут безотказно срабатывает удивление, внезапность, растерянность. Вы ведь видели? Так что, если хотите, я вам буду время от времени дарить идеи для фантастических рассказов.

— Почему вы так относитесь к журналистам? — спросил я, с трудом скрывая неожиданно вспыхнувшую неприязнь.

Он внимательно посмотрел на меня и закурил.

— Знаете, тезка, лет пятнадцать тому назад я консультировал пуск следящей аппаратуры на одной большой электростанции. Генераторы один за другим пускала в ход бригада наладчиков, очень веселые и симпатичные ребяташки-москвичи. На пуск последней машины я остался вместе с ними — мне была очень знакома эта беготня, поиски ошибок в схеме, спешные измерения и догадки, которые по ночам кажутся гениальными. Я бегал с ними, держал кому-то вольтметр, с кем-то прозванивал защиту, а сразу после пуска выпил с ними спирту, отпущенного на протирку контактов.

В шесть утра мы уже звонили главному инженеру. Звонил, собственно, бригадир, а я стоял в толпе наладчиков. Кто-то на меня облокотился, кто-то дышал в ухо, я был молод и счастлив так же, как они. Главного инженера поднимали, он подошел заспанный, хмурый, говорил очень вяло. Слышали все, ему звонили по селектору.

— Сергей Федорович, — сказал бригадир. (Я до сих пор помню подтеки мазута у него на лице.) Пустили мы ее, проклятую. Двенадцать часов бились.

Голос главного инженера не выразил никакой радости.

— Знаю, — сказал он. — Я вчера об этом в газете читал.

Тезка! Вам надо было видеть их лица!

Ну, и потом еще. В журналистах ходит очень мало людей, хоть немного знающих то, о чем они пишут. Элементарные познания. На той стройке крутился фотокорреспондент, говорливый и в общем неплохой вроде парень. Его абсолютное невежество во всем, кроме выдержки и диафрагмы, поражало нас и очень веселило. Так вот, с легкой руки наладчиков он отправил в свою газету фотографию

огромной гирлянды подвесных изоляторов с надписью: «По этим изоляторам скоро потечет ток в родной Ленинград».

А информация необходима. Не научный обмен, а популярное изложение, хотя бы запах, что ли, проблем. У ученых просто не доходят руки, да и писать они не мастера. Таких, какими были среди ученых Ферсман, Бабат или Константиновский, единицы. Вот вы, инженер, отпуск свой тратите на стихи, а не хотелось бы вам писать о науке?

— Нет,— сказал я. И в эту минуту говорил правду.

К одному и тому же Ренский возвращался очень часто, иногда вскользь, а иногда очень подробно.

— Раньше люди просто не знали этой проблемы. Да, собственно, и сейчас большинство знакомо с ней по газетным полемикам и буйной фантастической литературе. Фантасты давным-давно писали о бунте машин, но всерьез об этом никто не думал, не было реальной почвы. А потом начался первый спор: сможет ли наше кибернетическое устройство мыслить? Не сразу, нет, через какой-то срок. Сможет ли в принципе? Ну, сейчас ясно, что сможет. Это время уже сравнительно недалеко. Но ведь проблему соревнования машины и человека мы придумали сами, незаметно для себя сами же ее и раздули, а теперь очень постепенно, но неотвратимо перерождаемся. Нет, вы такого еще не знаете, в этом смысле мои студенты, будущие кибернетики, шаг вперед по сравнению с вами. Я неверно выразился — шаг назад. Они уже по-настоящему серьезно относятся к возможностям машин.

— Выходит, не было у бабки заботы?

— Не-ет, без этого порося человек обойтись не может. Если хотите, это больше похоже на того ирландца. Знаете?

— Нет.

— Это забавная штука, не помню уже, где я ее прочитал. Одного ирландца заметили за странным делом — он тщательно засовывал в щель дощатой мостовой бумажку в пятьдесят долларов. «Что ты делаешь?» — спросили у него. «Я уронил в щель десятицентовую монетку». — «А зачем засовываешь крупные?» — «Чтобы было из-за чего вскрывать мостовую», — сказал ирландец.

У нас то же самое. Началось с маленькой проблемы, а теперь мы все серьезнее относимся к делу наших же

рук. А утрата юмора — первый признак любой духовной ненормальности. Ну, хорошо, машины все за нас делают или будут делать через несколько лет, они все сложнее и самостоятельнее. Но ведь это отнюдь не предвещает катастрофы. Ну, будут они мыслить. Ну и что же? Все равно ведь хозяин — человеческий ум. И был и останется. Он гибче, сильнее. И не скоростью вычислений или объемом памяти. Вовсе нет. Он сильнее точным ощущением цели — не промежуточной, а конечной, умением мыслить нелогично и на первый взгляд даже неразумно: сильнее юмором, сердечностью, которая диктует подчас сумасбродные поступки; словом, тем единством духовных процессов, которые я назвал бы душой, если бы не боялся впасть в идеализм и поповщину. У машины этого не будет никогда, даже если она научится ставить цель, самовоспроизводиться и самообучаться.

И все-таки те, кто имеет дело с этими машинами, начинают преувеличивать их возможности. И через какие-нибудь тридцать-сорок лет думающий опытный инженер начнет бояться своего помощника — автомата, управляющего производством. А где-нибудь в лаборатории химик, вместо того чтобы следить за результатами опытов, будет обдумывать способы защиты от механического лаборанта, работающего с ядом. Самовнушение — лавинный процесс. Появляются первые симптомы, и это уже страшно, это грозит духовным вырождением, какой-то машинной цивилизацией. Не сразу, через века. Мы сами сдаем позиции. Впрочем, вы еще не ощущаете этого. Но вам хоть понятно?

Передо мной сидел старый человек с очень усталым лицом.

Боязнь дела своих рук — это болезнь, которая подкрадывается изнутри, развивается годами, иногда десятилетиями, но неотвратима.

Если она существует, эта боязнь. Иногда я вдруг ловил себя на том, что верю ему. Потом спохватывался. «Это просто от усталости, психический закидон», — думал я. А потом верил опять, и мне тоже становилось страшно. Я пробываю здесь достаточно и уже мог спокойно уезжать, сделав текст беседы из обрывков разговоров. Но уезжать не хотелось. Было жаль Ренского, который сочинил себе

начало этого процесса боязни, хотелось его переубедить. Но дня через два он сказал сам:

— Все, в чем я вас убеждал, что говорил, я вам продемонстрирую, глаз закончили полностью. На него действуют те же раздражители, что и на обычный глаз. Мы его из профессионального лихачества снабдили даже слезными мешками и уже залили в них подсоленную воду. Все, как в жизни. В форме глаза, огромный и голубой. Я закажу вам пропуск в институт и покажу интересный опыт.

Он помрачнел.

— Я проверю свои мысли жестоким, но верным способом. У меня группа студентов-математиков с прошлого года изучает молекулярную электронику. Предмет сложный, сравнительно новый, я бы спокойно разрешил им пользоваться книгами. Все равно — кто не знает, не разберется.

А завтра пользоваться книгами запрещу. И уйду, предупредив, что глаз, следящий за ними, включен. А вы, вы убедитесь — они настолько уважительно относятся ко всемогуществу кибернетики, что в книгу никто не полезет. Плакать будут, а не заглянут. Машины они боятся больше, чем человека, выполняющего те же функции. Она ведь не знает ни жалости, ни снисхождения. Словом, потом им придется пересдавать.

— Это слишком жестоко, Игорь Янович, — попробовал я протестовать, хотя в глубине души и сам хотел увидеть это зрелище: целая группа, ведущая себя, как кролики возле удава.

— Ничего. Они слишком верят в самостоятельное могущество того, что создают или будут создавать. Скоро это станет религией. И тогда — конец. Или начало конца.

Я уже очень отвык от институтской обстановки. Половину аудитории занимали схемы, развернутые на больших вертикальных панелях. Студенты, человек тридцать, в основном ребята, только три девчушки и все трое в очках («Бедняги, — успел подумать я, — что их занесло в кибернетику?»), сидели очень тихо и, как мне показалось, не волновались. Ренский волновался страшно. Совсем другой, в узком черном костюме, он казался моложе и жестче. Машина была очень невелика и действительно похожа на уродливо увеличенный глаз, торчащий на высокой подстав-

ке, как микрофон. За дверь, ведущую в заднюю комнату, уходили провода. Ренский сказал:

— Экзамен я начну принимать через сорок минут. Готовиться без книг, не разговаривать. Устройство машины я объяснял на консультации. Повторяю — она в точности имитирует глаз с запоминанием зрительных впечатлений. Во время ответа каждого машина сообщит мне, как он готовился — пользование книгой, разговоры, посторонние бумажки. Включите движок обзора! — крикнул он в соседнюю комнату. С легким жужжанием глаз начал вращаться. Это было неприятное и страшное зрелище. Он то смотрел прямо вниз, на передний стол, то поднимал свой неживой зрачок выше, и это самостоятельное существование глаза было ужасно. Студенты, очевидно, привыкли к нему за время консультаций, только одна девушка чуть побледнела и все время смотрела на глаз, ловя его взгляд.

— Я ушел, — сказал Ренский. — Готовьтесь.

В крошечном коридорчике — тамбуре между аудиторий и комнатой для приборов было полутемно. Он остановился и обернулся ко мне.

— Сигареты остались в плаще, — сказал я.

— Сейчас придет лаборант, — сказал он. — Я не должен был делать этого опыта. Я очень устал за последнее время. А зачатки страха, рожденного уважением к машине, вы сейчас увидите сами. Один кабель от приемных нейронов глаза включен на телевизионный канал — мне хотелось видеть их лица.

Пришел лаборант. Мы закурили. Ренский начал настраивать телевизор. По экрану поползли полосы, потом размытые строки, снова полосы. На лице Игоря Яновича попеременно менялись выражения мальчишеской досады, ожидания, волнения. Снова полосы. Изображения не было.

— Что за чертовщина, — сказал Ренский. Придвинул стул, попытался настроить еще раз. Полосы не исчезали.

Ренский, не оборачиваясь, кивнул лаборанту:

— Взгляните на сигнализацию — работает?

— Да, все в порядке. — Лаборант наклонился над ящиком управления и повторил: — Работает.

Ренский еще минуты три молча вращал настройку. Встал.

— Идемте, — сказал он. — Ничего не понимаю.

Мы вышли из задней комнаты, снова прошли полутемный коридор и подошли к двери в аудиторию. Ренский приоткрыл дверь и заглянул внутрь через неплотно сведенные половинки портьеры. Откинулся назад, взглянул еще раз и счастливо беззвучно рассмеялся. Потом распустил на себе узел галстука, по-молодому тряхнул головой и заглянул снова. Отодвинулся, жестом подзывая меня.

Вся группа исправно и неторопливо списывала свои темы с книг, лежащих перед ними. Часть оживленно переговаривалась и менялась листками. Двое смеялись. Девчушка в очках, та, что бледнела, следя за взглядом искусственного глаза-надзирателя, сидела неестественно прямо. — было видно, что на коленях у нее лежит книга.

На первом столе, под самым глазом, сидел один из парней, очевидно, выбранный в жертву. Он сидел в больших солнечных очках и тупым столовым ножом медленно резал на мелкие кусочки огромную белую луковицу. Вторая, уже разрезанная, горкой лежала перед ним на столе. Глаз плакал. Ровные струйки воды, неделю назад лично подсолённой академиком, катились по его экрану-зрачку, создавая те полосы в телевизоре, которые мы видели.

Ренский, оживленный и сразу помолодевший, молча оттащил меня от двери. Рядом смеялся лаборант.

— Знаете, тезка, я старый гриб-боровик, которому из-за возраста чудятся всякие ужасы. Вы зря верили мне, если верили, конечно. Что-то не так повернулось за последнее время в моем отношении к людям. Черти, умницы, на какой мелочи провели старика! Здорово и...

В комнату через боковую дверь вошел человек, которого я сразу узнал. Этот пожилой математик много раз бывал у нас в редакции.

— Добрый день, Янович, — сказал он. — Я специально заехал к тебе, чтоб узнать, как твои испытания. Почему-то волновался. Ну что, сдрейфили ребятишки? Ба, знакомое лицо. Здравствуй, рад вас видеть. Янович, ты что — изменил свои привычки? Как к тебе попал журналист?

Ренский взглянул на меня, и я понял, что время срабатывания человеческого мозга — ничтожно мало. Он ответил, ни на миг не задержавшись:

— Нет, просто тезка — журналист не совсем обычный. Мы с ним собираемся писать вместе. Я ввел его в курс

всех работ. Вместе, чтоб это не были обычные журналистские восторги. Наверно, завтра и начнем, да, тезка? А испытания не удались. Такая отличная штука — идем, я тебе покажу.

Они ушли, и в комнате остался только лаборант, мельком взглянувший на меня и продолжающий, чертыхаясь, возиться с отказавшей зажигадкой.

Вот и кончился мой дневник. Завтра я переезжаю в Москву. Удивительное создание человек — я за месяц ужасно соскучился по шефу.

А. Азимов

Айзек Азимов — американский ученый-биолог, автор многих научно-популярных и научно-фантастических произведений. Рассказ «Хоровод» взят из его книги «Я, робот», которая выйдет в свет в издательстве «Знание» в 1964 году.

ХОРОВОД

Одна из любимых поговорок Грегори Пауэлла гласила, что волнение никогда не приносит пользы. Поэтому, когда потный и возбужденный Майкл скатился ему навстречу по лестнице, Пауэлл нахмурился.

— В чем дело? — спросил он. — Сломал себе ноготь?

— Как бы не так, — задыхаясь, огрызнулся Донован. — Что ты целый день делал внизу? — Он перевел дух и выпалил: — Спиди еще не вернулся.

Глаза Пауэлла широко раскрылись, и он остановился, но тут же взял себя в руки и продолжал подниматься по лестнице. Он молчал, пока не вышел на площадку, потом спросил:

— Ты послал его за селеном?

— Да.

— И давно?

— Уже пять часов.

Снова наступило молчание. Ничего себе положение! Ровно двенадцать часов они находятся на Меркурии — и уже попали в такую скверную переделку. Меркурий всегда счи-

тался самой каверзной планетой во всей солнечной системе, но это было уже слишком.

Пауэлл сказал:

— Начни сначала и рассказывай по порядку.

Они вошли в радиорубку. Оборудование ее, не тронутое за десять лет, прошедших с первой экспедиции, уже слегка устарело. С точки зрения технологии эти десять лет значили очень много. Сравнить хотя бы Спиди с теми роботами, которых производили в 2005 году. Правда, за последнее время достижения роботехники были особенно головокружительны.

Пауэлл осторожно потрогал все еще блестящую металлическую поверхность. Все, что было в этой комнате, казалось каким-то заброшенным, и это производило бесконечно гнетущее впечатление.

Донован тоже это почувствовал. Он сказал:

— Я попробовал засечь его по радио, но толку никакого. На солнечной стороне радио бесполезно — во всяком случае, на расстоянии больше двух миль. Отчасти поэтому и не удалась Первая экспедиция.

— Оставим это. Что же все-таки ты выяснил?

— Я поймал немодулированный сигнал на коротких волнах. По нему можно было только определить положение Спиди. Я следил за ним два часа и нанес результаты на карту.

Донован достал из заднего кармана пожелтевший листок пергамента, оставшегося от неудачной Первой экспедиции, и, швырнув его на стол, яростно прихлопнул ладонью. Пауэлл следил за ним, стоя поодаль и скрестив руки на груди. Донован нервно ткнул карандашом:

— Этот красный крестик — селеновое озеро. Ты сам его нанес.

— Которое? — прервал его Пауэлл. — Там было три. Их все отметил для нас Мак-Дугал перед тем как улететь.

— Я, конечно, послал Спиди к самому ближайшему. Семнадцать миль отсюда. Но не в этом дело. — Голос Донована дрожал от напряжения. — Вот эти точки показывают, где находился Спиди.

В первый раз за все время напускное спокойствие Пауэлла было нарушено. Он схватил карту.

— Ты шутишь? Этого не может быть!

— Он там, — проворчал Донован.

Точки образовывали неровную окружность, в центре которой находился красный крестик — селеновое озеро. Пальцы Пауэлла потянулись к усам — несомненный признак тревоги.

Донован добавил:

— За два часа, пока я за ним следил, он обошел это проклятое озеро четыре раза. Похоже, что он собирается кружиться там без конца. Понимаешь, в каком мы положении?

Пауэлл взглянул на него, но ничего не сказал. Конечно, он понимал, в каком они положении. Все было просто, как цепочка силлогизмов. Между ними и всей мощью чудовищного меркурианского солнца стояли только батареи фотоэлементов. Они были почти полностью разрушены. Спассти положение мог только селен. Селен мог достать только Спиди. Если Спиди не вернется — не будет селена. Не будет селена — не будет фотоэлементов. Не будет фотоэлементов... Что ж, медленное поджаривание — один из самых неприятных видов смерти.

Донован яростно взъерошил свою рыжую шевелюру и с горечью заметил:

— Мы осрамимся на всю солнечную систему, Грег. Как это все сразу пошло к черту? «Знаменитая бригада в составе Пауэлла и Донована послана на Меркурий, чтобы выяснить, стоит ли открывать рудники на солнечной стороне с новейшей техникой и роботами». И вот в первый же день мы все испортили. А дело ведь самое простое. Нам этого не пережить.

— Об этом не стоит заботиться, — спокойно ответил Пауэлл. — Если мы срочно что-нибудь не предпримем — о переживаниях не может быть и речи. Мы просто не выживем.

— Не говори глупостей! Может быть, тебе и смешно, а мне нет. Было преступлением послать нас сюда с единственным роботом. И это была твоя блестящая идея — самим починить фотоэлементы.

— Ну это ты напрасно. Мы же вместе решали. Ведь нам всего-то и нужно килограмм селена, дизлектрическая установка Стиллахеда и три часа времени. И по всей солнечной стороне стоят целые озера чистого селена. Спектрорефлектор Мак-Дугала за пять минут засек целых три. Какого черта! Мы же не могли ждать следующего противостояния!

152 — Так что будем делать? Пауэлл, ты что-то придумал.

Я знаю, иначе бы ты не был таким спокойным. На героя ты похож не больше, чем я. Давай, выкладывай!

— Сами пойти за Спидами мы не можем. Во всяком случае, здесь, на солнечной стороне. Даже новые скафандры не выдержат больше двадцати минут под этим солнцем. Но послушай, Майк, дело, может быть, не так уж плохо. У нас внизу лежат шесть роботов. Если они исправны, можно воспользоваться ими. Если только они исправны.

В глазах Донована мелькнул проблеск надежды.

— Шесть роботов Первой экспедиции? А ты уверен? Может быть, это просто полуавтоматы? Ведь десять лет для роботов — это очень много.

— Нет, это роботы. Я целый день с ними возился и теперь знаю. У них позитронный мозг — конечно, самый примитивный.

Он сунул карту в карман.

— Пойдем вниз.

Роботы находились в самом нижнем этаже станции, среди покрытых пылью ящиков неизвестного назначения. Они были очень большие — даже в сидячем положении их головы возвышались на добрых два метра.

Донован свистнул:

— Ничего себе размеры, а? Не меньше трех метров в обхвате.

— Это потому, что они оборудованы старым приводом Мак-Гэффи. Я заглянул внутрь — жуткое устройство.

— Ты еще не включал их?

— Нет. А зачем? Вряд ли что-нибудь не в порядке. Даже диафрагмы выглядят прилично. Они должны говорить.

Он отвинтил щиток на груди ближайшего робота и вложил в отверстие двухдюймовый шарик, в котором была заключена ничтожная искорка атомной энергии. Этого достаточно, чтобы вдохнуть в робота жизнь. Шарик было довольно трудно приладить, но в конце концов Пауэлу это удалось. Потом он старательно укрепил щиток на месте и занялся следующим роботом.

Донован сказал с беспокойством:

— Они не двигаются.

— Нет команды, — коротко объяснил Пауэлл. Он вернулся к первому роботу и хлопнул его по броне:

— Эй, ты! Ты меня слышишь?

Голова гиганта медленно повернулась, и его глаза остановились на Пауэлле. Потом раздался хриплый, скрипучий голос, похожий на звуки средневековой граммофонной пластинки:

— Да, хозяин.

Пауэлл невесело улыбнулся.

— Понял, Майк? Это один из первых говорящих роботов. Тогда дело шло к тому, что применение роботов на Земле запретят. Но конструкторы пытались предотвратить это и встроили в дурацкие машины прочный, надежный инстинкт раба.

— Но это не помогло,— заметил Донован.

— Нет, конечно, но они все-таки старались.

Он снова повернулся к роботу.

— Встань!

Робот медленно поднялся. Донован задрал голову вверх и снова присвистнул.

Пауэлл спросил:

— Ты можешь выйти на поверхность? На солнце?

Наступила тишина. Мозг робота работал медленно. Потом робот ответил:

— Да, хозяин.

— Хорошо. Ты знаешь, что такое миля?

Снова молчание и неторопливый ответ:

— Да, хозяин.

— Мы выведем тебя на поверхность и укажем направление. Ты пройдешь около семнадцати миль и где-то там встретишь другого робота, поменьше. Понимаешь?

— Да, хозяин.

— Ты найдешь этого робота и прикажешь ему вернуться. Если он не послушается, ты приведешь его силой.

Донован дернул Пауэлла за рукав.

— Почему бы не послать его прямо за селеном?

— Потому, что мне нужен Спиди, понятно? Я хочу знать, что с ним стряслось.

Повернувшись к роботу, он приказал:

— Иди за мной!

Робот не двинулся с места, и его голос гроыхнул:

— Простите, хозяин, но я не могу. Вы должны сначала сесть.— Его неуклюжие руки со звоном соединились, тупые пальцы переплелись, образовав что-то вроде стремени.

Пауэлл уставился на робота, теребя усы.

— Ого! Гм...

Донован выпучил глаза.

— Мы должны ехать на них? Как на лошадях?

— Наверное. Правда, я не знаю, зачем это. Впрочем...

Ну, конечно! Я же говорю, что тогда слишком увлекались безопасностью. Очевидно, конструкторы хотели всех убедить, что роботы совершенно безопасны. Они не могут двигаться самостоятельно, а только с погонщиком на плечах. А что нам делать?

— Я об этом и думаю,— проворчал Донован.— Мы все равно не можем появиться на поверхности — с роботом или без робота. О, господи! — Он дважды возбужденно щелкнул пальцами.— Дай мне карту. Зря, что ли, я ее два часа изучал? Вот наша станция. А почему бы нам не воспользоваться туннелями?

Станция была помечена на карте черным кружком, от которого паутиной разбегались тонкие пунктирные линии туннелей.

Донован вгляделся в список условных обозначений.

— Смотри,— сказал он.— Эти маленькие черные точки — выходы на поверхность. Один из них самое большее в трех милях от озера. Вот его номер... Они могли бы писать и покрупнее... Ага, 13-а. Если бы только роботы знали дорогу...

Пауэлл немедленно задал вопрос и получил в ответ вялое «Да, хозяин».

— Иди за скафандрами,— удовлетворенно сказал он.

Они впервые надевали скафандры. Еще вчера, когда они прибыли на Меркурий, они вообще не собирались этого делать. И теперь они неловко двигали руками и ногами, осваиваясь с неудобным одеянием.

Скафандры были гораздо объемистее и еще безобразнее, чем обычные костюмы для космических полетов. Зато они были гораздо легче — в них не было ни кусочка металла. Изготовленные из термоустойчивого пластика, прослоенные специально обработанной пробкой, снабженные устройством, удалявшим из воздуха всю влагу, эти скафандры могли противостоять нестерпимому сиянию меркурианского солнца двадцать минут. Ну, и еще пять-десять минут без непосредственной смертельной опасности для человека.

Руки робота все еще образовывали стремя. Он не выказал никаких признаков удивления при виде нелепой фигуры, в которую превратился Пауэлл.

Радио разнесло хриплый голос Пауэлла:

— Ты готов доставить нас к выходу 13-а?

— Да, хозяин.

«Это хорошо, — подумал Пауэлл. — Может быть, им и не хватает дистанционного радиоуправления, но, по крайней мере, они хоть могут принимать команды по радио».

— Садись на любого, Майк, — сказал он Доновану.

Он поставил ногу в импровизированное стремя и взобрался наверх. Сидеть было удобно: на спине у робота был, очевидно, специально устроенный горб, на каждом плече — по углублению для ног. Теперь стало ясно и назначение торчащих «ушей» гиганта.

Пауэлл взялся за «уши» и повернул голову робота. Тот неуклюже повернулся.

— Начнем, Макдуф!

Но на самом деле Пауэлла было вовсе не до шуток.

Шагая медленно, с механической точностью, гигантские роботы миновали дверь, косяк которой пришелся едва в полуметре над их головами, так что всадникам пришлось пригнуться. Они оказались в узком коридоре. Под сводами мерно громыхали тяжелые неторопливые шаги гигантов.

Длинный туннель, уходивший вдаль, напомнил Пауэлла об огромной работе, сделанной Первой экспедицией с ее примитивными роботами и убогим снаряжением. Да, она окончилась неудачей, но эта неудача стоила много легкого успеха.

Роботы шагали вперед. Их скорость была неизменна, поступь равномерна.

Пауэлл сказал:

— Смотри, эти туннели освещены, и температура здесь, как на Земле. Наверное, так было все десять лет, пока здесь никого не было.

— Каким же образом они этого добились?

— Дешевая энергия — самая дешевая во всей солнечной системе. Энергия Солнца — а здесь, на солнечной стороне Меркурия, это не шуточки. Вот почему они и построили станцию на открытом месте, а не в тени какой-нибудь горы. Это же огромный преобразователь энергии. Тепло преобразуется в электричество, свет, механическую работу и во все, что хочешь. Так что одновременно с получением энергии станция охлаждается.

— Слушай,— сказал Донован,— это все очень интересно, только давай поговорим о чем-нибудь другом. Ведь всем преобразованием энергии занимаются фотоэлементы, а это сейчас мое больное место.

Пауэлл что-то проворчал, и когда Донован снова заговорил, разговор потек по другому руслу.

— Послушай, Грег. Все-таки что могло случиться со Спиди? Я никак не могу понять.

В скафандре трудно пожать плечами, но Пауэллу это удалось.

— Не знаю, Майк. Ведь он вполне приспособлен к условиям Меркурия. Жара ему не страшна, он рассчитан на уменьшенную силу тяжести, может двигаться по пересеченной местности. Все предусмотрено, по крайней мере, должно быть предусмотрено.

Они замолчали, на этот раз надолго.

— Хозяин,— сказал робот,— мы на месте.

— А? — Пауэлл очнулся.— Ну, давай выбираться наверх. На поверхность.

Они оказались в небольшом здании — пустом, лишенном воздуха, полуразрушенном. Донован зажег фонарь и долго разглядывал рваные края дыры в верхней части одной из стен.

— Метеорит? Как ты думаешь? — спросил он.

Пауэлл пожал плечами.

— Какая разница? Неважно. Пойдем.

Поднимавшаяся рядом черная базальтовая скала защищала их от солнца. Вокруг все было погружено в черную тень безвоздушного мира. Тень обрывалась, будто обрезанная ножом, и дальше начиналось нестерпимое белое сияние мириад кристаллов, покрывавших каменистую почву.

— Ничего себе! — У Донована захватило дух от удивления.— Прямо как снег!

Действительно, это было похоже на снег. Пауэлл окинул взглядом сверкающую неровную поверхность, которая простиралась до самого горизонта, и поморщился от режущего глаза блеска.

— Это какое-то необычное место,— сказал он.— В среднем коэффициент отражения от поверхности Меркурия довольно низкий, и почти вся планета покрыта серой пемзой. Что-то вроде Луны. А красиво, правда?

Хорошо, что скафандры были снабжены светофильтрами. Красиво или нет, но незащищенные глаза были бы ослеплены этим сверканием в полминуты.

Донован посмотрел на термометр, укрепленный на запястье скафандра.

— Ого! Восемьдесят градусов!

Пауэлл тоже взглянул на термометр и сказал:

— Да... Многовато. Ничего не поделаешь — атмосфера...

— На Меркурии? Ты спятил!

— Да нет. Ведь и на Меркурии есть кое-какая атмосфера, — рассеянно ответил Пауэлл, стараясь неуклюжими пальцами скафандра приладить к своему шлему стереотрубу. — У поверхности должен быть тонкий слой паров. Летучие элементы, тяжелые соединения, которые может удержать притяжение Меркурия. Селен, йод, ртуть, галлий, висмут, летучие окислы. Пары попадают в тень и конденсируются, выделяя тепло. Это что-то вроде гигантского перегонного куба. Зажги фонарь — и увидишь, что скала с этой стороны покрыта какой-нибудь кристаллической серой или ртутной росой.

— Ну, это неважно. Какие-то жалкие восемьдесят градусов наши скафандры могут выдерживать сколько угодно.

Пауэлл наконец пристроил стереотрубу и теперь стал похож на улитку с рожками.

Донован напряженно ждал.

— Видишь что-нибудь?

Пауэлл ответил не сразу.

— Вон на горизонте темное пятно. Это скорее всего селеновое озеро. Оно тут и должно быть. А Спида не видно.

Пауэлл забрался на плечи робота и осторожно выпрямился, расставив ноги и вглядываясь вдаль.

— Постой... Ну да, это он. Идет сюда.

Донован вгляделся в ту сторону, куда указывал палец Пауэлла. У него не было стереотрубы, но он разглядел маленькую движущуюся точку, которая чернела на фоне ослепительного сверкания кристаллов.

— Вижу! — заорал он. — Поехали!

Пауэлл снова уселся на плечи робота и хлопнул перчаткой по его гигантской груди.

— Пошел!

— Давай, давай! — вопил Донован, прищипывая своего

Роботы тронулись. Их мерный топот не был слышен в безвоздушном пространстве — скафандры не проводили звука. Чувствовались только ритмические колебания.

— Быстрее, — кричал Донован.

Ритм не изменился.

— Бесполезно, — ответил Пауэлл. — Этот железный лом может двигаться только с одной скоростью. Не думаешь ли ты, что они оборудованы селективными флексорами?

Они вырвались из тени. Свет солнца обрушился на них раскаленным потоком. Донован невольно пригнулся.

— Ух! Это мне кажется или на самом деле жарко?

— Скоро будет еще жарче, — последовал мрачный ответ. — Смотри — Спиди!

Робот СПД-13 был уже близко, и его можно было рассмотреть во всех деталях. Его грациозное обтекаемое тело, отбрасывавшее слепящие блики, четко и быстро передвигалось по неровной земле. Его имя — «Спиди», «проворный» — было, конечно, образовано из букв, составлявших его марку, но оно очень подходило ему. Модель СПД была одним из самых быстроходных роботов, которые выпускались фирмой «Юнайтед Стейтс Роботс энд Мекеникел Мен Корпорейшн».

— Эй, Спиди! — завопил Донован, отчаянно махая руками.

— Спиди! — кричал Пауэлл. — Иди сюда!

Расстояние между людьми и свихнувшимся роботом быстро уменьшалось — больше усилиями Спиди, чем благодаря медлительной походке устаревших устройств, на которых восседали Пауэлл и Донован.

Они были уже достаточно близко, чтобы заметить, что походка Спиди была какой-то неровной — робот заметно пошатывался на ходу из стороны в сторону. Пауэлл замаха рукой и увеличил до предела усиление в своем компактном, встроенном в шлем радиопередатчике, готовясь крикнуть еще раз. В этот момент Спиди заметил их.

Он остановился, как вкопанный, и стоял некоторое время, чуть покачиваясь, будто от легкого ветерка.

Пауэлл кричал:

— Порядок, Спиди. Иди сюда!

В репродукторе впервые послышался голос робота. Он сказал:

— Черт возьми! Давайте поиграем. Вы ловите меня, а я

буду ловить вас. Никакая любовь нас не разлучит. Я — маленький цветочек, милый маленький цветочек! Урра!

Повернувшись кругом, он помчался обратно с такой скоростью, что из-под его ног взлетали комки спекшейся пыли. Последние слова, которые он произнес, удаляясь, были: «Растет цветочек маленький под дубом вековым». За этим последовал странный металлический щелчок, который, возможно, у робота соответствовал икоте.

Донован тихо сказал:

— Откуда он взял стихи? Слушай, Грег, он... он пьян. Или что-то в этом роде.

— Если бы ты мне этого не сообщил, я бы, наверное, никогда не догадался, — последовал ехидный ответ. — Давай вернемся в тень. Я уже поджариваюсь.

Наступившее молчание нарушил Пауэлл.

— Прежде всего Спиди не пьян — не так, как человек. Он робот, а роботы не пьют. Но с ним что-то неладно, и это то же самое, что для человека опьянение.

— Мне кажется, он пьян, — решительно заявил Донован. — Во всяком случае, он думает, что мы с ним играем. А нам не до игрушек. Это дело жизни или смерти — и смерти довольно-таки неприятной.

— Ладно, не спеши. Робот — всего только робот. Как только мы узнаем, что с ним, мы его починим.

— Как только... — желчно сказал Донован.

Пауэлл не обратил на это внимания.

— Спиди прекрасно приспособлен к нормальным условиям Меркурия. Но эта местность, — он обвел рукой горизонт, — явно ненормальна. Вот в чем дело. Откуда, например, взялись эти кристаллы? Они могли образоваться из медленно остывающей жидкости. Но какая жидкость настолько горяча, чтобы остывать под солнцем Меркурия?

— Вулканические явления, — предположил Донован.

Тело Пауэлла напряглось.

— Устами младенца... — произнес он сдавленным голосом и замолчал минут на пять. Потом сказал:

— Слушай, Майк. Что ты сказал Спиди, когда посылал его за селеном?

Донован удивился.

— Ну, я не знаю. Я просто сказал, чтобы он принес селен.

— Это ясно. Но как? Попробуй точно припомнить слова.

— Я сказал... Постой... Я сказал: «Спиди, нам нужен селен. Ты найдешь его там-то и там-то. Пойди и принеси его». Вот и все. Что же еще я должен был сказать?

— Ты не говорил, что это очень важно, срочно?

— Зачем? Дело-то простое.

Пауэлл вздохнул.

— Да, теперь уже ничего не поделаешь. Но мы попали в переделку.

Он слез со своего робота и сел, прислонившись спиной к скале. Донован подсел к нему и взял его за руку. За гранью тени слепящее солнце, казалось, поджидало их, как кошка — мышь. А рядом стояли два гигантских робота, невидимые в темноте. Только светившиеся тусклым красным светом фотоэлектрические глаза смотрели на них — не мигающие, неизменные, равнодушные.

Равнодушные! Такие же, как и весь этот гибельный Меркурий — маленький, но коварный.

Донован услышал напряженный голос Пауэлла:

— Теперь слушай. Начнем с трех основных законов роботехники, трех правил, которые прочно закреплены в позитронном мозгу. — В темноте он начал загибать пальцы. — Первое. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред.

— Правильно.

— Второе, — продолжал Пауэлл. — Робот должен повиноваться командам человека, если эти команды не противоречат Первому закону.

— Верно.

— И третье. Робот должен стремиться к самосохранению, поскольку это не противоречит Первому и Второму законам.

— Верно. Ну и что?

— Так это же все объясняет! Когда эти законы вступают в противоречие, дело решает разность позитронных потенциалов в мозгу. Что получается, если робот приближается к опасности и сознает это? Потенциал, который создается Третьим законом, автоматически заставляет его вернуться. Но представь себе, что ты приказал ему приблизиться к опасному месту. В этом случае Второй закон создает противоположный потенциал, который выше первого, и робот выполняет приказ с риском для собственного существования.

— Это я знаю. Но что отсюда следует?

— Что могло случиться со Спиди? Это — одна из последних моделей, высоко специализированная, дорогая, как военный корабль. Он сделан так, чтобы его нелегко было уничтожить.

— Ну и?..

— Ну и при его постройке усилили Третий закон — кстати, это специально отмечалось в проспектах. Его инстинкт самосохранения необыкновенно силен. А когда ты послал его за селеном, ты дал команду небрежно, между прочим, так что потенциал, связанный со Вторым законом, был довольно слаб. Это все — факты.

— Давай, давай. Кажется, я начинаю понимать.

— Понимаешь? Около селенового озера существует какая-то опасность. Она возрастает по мере того, как робот приближается, и на каком-то расстоянии от озера потенциал Третьего закона, с самого начала очень высокий, становится в точности равен потенциалу Второго закона, с самого начала слабому.

Донован возбужденно вскочил на ноги.

— Ясно! Устанавливается равновесие. Третий закон гонит его назад, а Второй — вперед...

— И он начинает кружить около озера, оставаясь на линии, где существует это равновесие. И если мы ничего не предпримем, он так и будет бегать по этому кругу, как в хороводе...

— И поэтому, между прочим, он и ведет себя, как пьяный. При равновесии потенциалов половина позитронных цепей в мозгу не работает. Я не специалист по роботам, но это очевидно. Возможно, он потерял контроль как раз над теми же частями своего волевого механизма, что и пьяный человек. А вообще все это очень мило.

— Но откуда взялась опасность? Если бы знать, от чего он бежит...

— Да ведь ты сам уже догадался! Вулканические явления. Где-то около озера просачиваются газы из недр Меркурия. Сернистый газ, угольная кислота — и окись углерода. Довольно много окиси углерода. А при здешних температурах...

Донован проглотил слюну.

— Окись углерода плюс железо дает летучий карбонил железа!

162 — А робот, — мрачно добавил Пауэлл, — это в основном

железо. Люблю логические рассуждения. Мы уже все выяснили, кроме того, что теперь делать. Сами добраться до селена мы не можем — все-таки слишком далеко. Мы не можем послать этих жеребцов, потому что они сами не пойдут, а если мы поедem с ними, то успеем подрумяниться. Поймать Спиди мы тоже не можем — этот сумасшедший думает, что мы с ним играем, а скорость у него шестьдесят миль в час против наших четырех.

— Но если один из нас пойдет, — начал задумчиво Донован, — и вернется поджаренным, то ведь останется другой...

— Ну да, — последовал саркастический ответ. — Это будет очень трогательная жертва. Только, прежде чем человек доберется до озера, он уже будет не в состоянии отдать приказ. А роботы вряд ли вернутся без приказа. Прикинь: мы в двух или трех милях от озера — ну, считай, в двух. Робот делает четыре мили в час. А в скафандрах мы можем продержаться двадцать минут. Имей в виду, что тут не только жара. Солнечное излучение в ультрафиолете и дальше — это тоже смерть.

— Н-да, — сказал Донован. — Десяти минут не хватит.

— И еще: чтобы потенциал Третьего закона остановил Спиди на таком расстоянии, здесь должно быть довольно много окиси углерода в атмосфере, состоящей из паров металлов. И поэтому здесь должна быть заметная коррозия. Он гуляет там уже несколько часов. И в любой момент, скажем, коленный сустав может выйти из строя, и он перевернется. Тут нужно не просто шевелить мозгами — нужно решать быстро!

Глубокое, мрачное, унылое молчание. И темнота.

Первым заговорил Донован. Его голос дрожал, но он старался говорить бесстрастно.

— Если мы не можем увеличить потенциал Второго закона новой командой, то нельзя ли попробовать с другого конца? Если мы увеличим опасность, то увеличится потенциал Третьего закона, и мы отгоним его назад.

Пауэлл молча повернул к нему свой шлем.

— Послушай, — осторожно продолжал Донован, — все, что нам нужно, чтобы отогнать его, — это повысить концентрацию окиси углерода. А на станции есть целая аналитическая лаборатория.

— Естественно, — согласился Пауэлл. — Это же станция-рудник.

— Верно. И там должно быть порядочно щавелевой кислоты для осаждения кальция.

— Господи! Майк, ты гений!

— Более или менее, — скромно согласился Донован. — Я просто вспомнил, что щавелевая кислота при нагревании разлагается на углекислый газ, воду и добрую старую окись углерода. Очень просто — институтский курс химии.

Пауэлл вскочил и хлопнул гигантского робота по ноге.

— Эй! — крикнул он. — Ты умеешь бросать?

— Что, хозяин?

— Неважно. — Пауэлл обругал про себя тяжелодумного робота и схватил обломок скалы величиной с кирпич. — Возьми и попади в гроздь голубых кристаллов — вон за той кривой трещиной. Видишь?

Донован дернул его за руку.

— Слишком далеко, Грег. Это же почти полмили.

— Спокойно, — ответил Пауэлл. — Вспомни о силе тяжести на Меркурии, а рука у него стальная. Смотри.

Глаза робота измеряли дистанцию с точностью машины. Он прикинул вес камня и замахнулся. В темноте его движения были плохо видны, но когда он переступил с ноги на ногу, можно было почувствовать заметное сотрясение почвы. Камень черной точкой вылетел за пределы тени. Его полету не мешали ни сопротивление воздуха, ни ветер, и когда он упал, осколки голубых кристаллов разлетелись из самого центра грозди.

Пауэлл радостно завопил:

— Поехали за кислотой, Майк!

Когда они въехали в разрушенное здание станции, Донован мрачно сказал:

— Спиди болтается на нашей стороне озера с тех пор, как мы за ним погнались. Ты заметил?

— Да.

— Наверное, он хочет поиграть с нами. Ну, я ему поиграю!..

Они вернулись через несколько часов с трехлитровыми банками белого порошка и с вытянувшимися лицами. Фотоэлементы разрушались еще быстрее, чем они думали.

Они вывели своих роботов на солнце и молча, сосредоточенно и мрачно направились к Спиди.

Спиди не спеша запрыгал к ним.

— Вот и мы! Урра! Вышел месяц из тумана и не ударил лицом в грязь...

— Я тебе покажу грязь,— пробормотал Донован.— Смотри, Грег, он хромает.

— Вижу,— последовал озабоченный ответ.— Если мы не поторопимся, эта окись углерода доконает его.

Теперь они приближались медленно, почти крадучись, чтобы не спугнуть полоумного робота. Они были еще довольно далеко, но Пауэлл уже мог бы поклясться, что Спиди приготовился пуститься наутек.

— Давай! — прохрипел он.— Считаю до трех. Раз, два...

Две стальные руки одновременно выбросились вперед, и две стеклянные банки полетели параллельными дугами, сверкая, как бриллианты, под невозможным светом. Они бесшумно разлетелись вдребезги, и сзади Спиди поднялось облачко щавелевой кислоты. Пауэлл знал, что на ярком меркурианском солнце она шипит, как газированная вода.

Спиди медленно повернулся, потом попятился и так же медленно начал набирать скорость. Через пятнадцать секунд он уже неуверенными прыжками двигался в сторону людей.

Пауэлл не расслышал, что говорил при этом робот, но ему послышалось что-то вроде: «Не клянись, слов любви не говори...»

Пауэлл повернулся к Доновану.

— Под скалу, Майк. Он пришел в себя и будет слушаться. Мне уже становится жарко.

Они затрусили в тень на спинах своих медлительных гигантов. Только когда они почувствовали вокруг себя приятную прохладу, Донован обернулся.

— Грег!!!

Пауэлл посмотрел назад и чуть не вскрикнул. Спиди медленно, очень медленно удалялся. Он снова входил в свою круговую колею, постепенно набирая скорость. В стереотрубу казалось, что он очень близко, но он был недостижим.

— Догнать его! — закричал Донован и пустил робота, но Пауэлл остановил его.

— Ты его не поймаешь, Майк. Бесполезно.

Он съехал на плечах у робота и сжал кулаки, чувствуя свою полную беспомощность.

— Почему же я это понял только через пять секунд после того, как все произошло? Майк, мы зря потеряли время.

— Нужно еще кислоты,— упрямо заявил Майк.— Концентрация была слишком мала.

— Да нет. Тут не помогли бы и семь тонн. А у нас нет времени привезти ее, даже если бы она и была — коррозия съест его. Неужели ты не понял, Майк?

— Нет,— отозвался Донован.

— Мы просто установили новое равновесие. Когда появляется новая окись углерода и потенциал Третьего закона увеличивается, он просто пятится, пока снова не наступит равновесие, а потом, когда окись углерода улетучивается, он опять подходит.

В голосе Пауэлла звучало отчаяние.

— Это все тот же хоровод. Мы можем тянуть за Третий закон и тащить за Второй,— и все равно ничего не изменится. Нужно выйти за пределы этих законов.

Он развернул своего робота лицом к Доновану, так что они сидели друг против друга,— смутные тени в темноте,— и прошептал:

— Майк!

— Это конец? — устало сказал Донован.— Что ж, поехали на станцию. Подождем, пока фотоэлементы сгорят окончательно, пожмем друг другу руки, примем цианид и умрем, как подобает джентльменам.

Он коротко засмеялся.

— Майк,— серьезно повторил Пауэлл.— Мы должны вернуть Спида.

— Я знаю.

— Майк,— снова начал Пауэлл и после недолгого колебания продолжал.— Есть еще Первый закон. Я об этом уже думал. Но это — последнее средство.

Донован взглянул на него, и его голос оживился:

— Самое время для последнего средства.

— Ладно. По Первому закону робот не может видеть, как из-за его бездействия человеку грозит опасность. Второй и Третий законы его не остановят. Не могут, Майк.

— Даже когда робот полоумный? Он же пьян.

— Конечно, есть риск.

— Хорошо, что ты предлагаешь?

— Я сейчас выйду на солнце и посмотрю, как будет действовать Первый закон. Если и он не нарушит равновесия, то... Какого черта, тогда все равно: или сейчас, или через три-четыре дня...

166 — Погоди, Грег. Есть еще человеческие правила пове-

дения. Ты не имеешь права просто так взять и пойти. Давай разыграем — я тоже хочу иметь шансы.

— Ладно. Кто первый возведет 14 в куб?

И почти сразу:

— 2744.

Донован почувствовал, как робот Пауэлла, проходя мимо, задел его робота. Через секунду Пауэлл уже был за пределами тени. Донован раскрыл рот, чтобы крикнуть, но удержался. Конечно, этот идиот подсчитал куб четырнадцати заранее, нарочно. Очень на него похоже.

Солнце было особенно горячее, и Пауэлл почувствовал, что у него страшно зачесалась поясница. Наверное, воображение. А может быть, жесткое излучение уже проникает даже сквозь скафандр.

Спиди следил за Пауэллом, на этот раз не приветствуя его никакими дурацкими стихами. Спасибо и на том! Но нельзя подходить к нему слишком близко.

До Спиди оставалось еще метров триста, когда тот начал шаг за шагом осторожно пятиться назад. Пауэлл остановил своего робота и прыгнул на землю, покрытую кристаллами. Во все стороны полетели осколки.

Почва была рыхлая, кристаллы скользили под ногами. Идти при уменьшенной силе тяжести было трудно. Подошвы жгло. Он оглянулся через плечо и увидел, что ушел уже слишком далеко, что не сможет вернуться в тень — ни сам, ни с помощью своего неуклюжего робота. Теперь или Спиди, или конец. У него перехватило горло.

Хватит! Он остановился.

— Спиди! — позвал он. — Спиди!

Сверкающий современный робот впереди, помедлив, остановился, потом попятился снова.

Пауэлл попробовал вложить в свой голос как можно больше мольбы и обнаружил, что для этого не требовалось особого труда.

— Спиди! Я должен вернуться в тень, иначе солнце убьет меня. Это вопрос жизни или смерти. Спиди, помоги!

Спиди сделал шаг вперед и остановился. Он заговорил, но услышав его, Пауэлл застонал. Робот произнес: «Если ты лежишь больной, если завтра выходной...» Голос затих.

Было невероятно жарко. Уголкем глаза Пауэлл заметил какое-то движение, резко повернулся и застыл в изумлении. Чудовищный робот, на котором он ехал, двигался — двигался к нему, без всадника!

Робот заговорил:

— Простите меня, хозяин. Я не должен двигаться без хозяина, но вам грозит опасность.

Ну, конечно. Потенциал Первого закона — превыше всего. Но ему не нужна была эта древняя развалина. Ему нужен был Спиди. Он сделал несколько шагов в сторону и отчаянно закричал:

— Я запрещаю тебе подходить! Я приказываю остановиться!

Это было бесполезно. Нельзя бороться с потенциалом Первого закона. Робот тупо сказал:

— Вам грозит опасность, хозяин.

Пауэлл в отчаянии огляделся. Он уже неотчетливо видел предметы; в его мозгу крутился раскаленный вихрь; собственное дыхание обжигало его, и все кругом дрожало в неясном мареве.

Он в последний раз закричал:

— Спиди! Я умираю, черт тебя поberi! Где ты? Спиди! Помогите!..

Он все еще пытался в слепом стремлении уйти от непрошенного робота, когда почувствовал на своей руке стальные пальцы и услышал озабоченный, виноватый голос металлического тембра:

— Господи, хозяин, что вы тут делаете? И что же я смотрю... Я как-то растерялся...

— Неважно,— слабо пробормотал Пауэлл.— Неси меня в тень скалы,— и поскорее!

Он почувствовал, что его поднимают в воздух и быстро несут, в последний раз ощутил палящий жар и потерял сознание.

Проснувшись, он увидел, что над ним наклонился улыбающийся Донован.

— Ну, как, Грег?

— Прекрасно,— ответил он.— Где Спиди?

— Здесь. Я посылал его к другому селеновому озеру — на этот раз с приказом добыть селен во что бы то ни стало. Он принес его через сорок две минуты и три секунды,—

я засек время. Он все еще не кончил извиняться за этот хоровод. Он не решается подойти к тебе — боится, что скажешь.

— Тащи его сюда, — распорядился Пауэлл. — Он не виноват.

Он протянул руку и крепко пожал металлическую лапу Спиди.

— Все в порядке, Спид. Знаешь, Майк, что я подумал? — Да?

Он потер лицо — воздух был восхитительно прохладен.

— Знаешь, когда мы здесь все кончим и Спиди пройдет полевые испытания, они хотят послать нас на межпланетную станцию...

— Не может быть!

— Да. По крайней мере, так сказала старуха Кэлвин перед тем, как мы отправились сюда. Я ничего об этом не говорил, потому что собирался протестовать против этой идеи.

— Протестовать? — воскликнул Донован. — Но...

— Я знаю. Теперь все в порядке. Представляешь — 273 градуса ниже нуля! Разве это не рай?

— Межпланетная станция, — задумчиво сказал Донован. — Ну что ж, я готов.

Перевод с английского А. Иорданского

РОБОТЫ — ЧТО ОНИ МОГУТ?

Перед читателями три рассказа о роботах. События, о которых идет в них речь, настолько фантастичны, что, кажется, нет никакой необходимости их комментировать. Слова «научно-фантастический рассказ» снимают все недоуменные вопросы.

Это было бы так, если бы современная фантастика не проявляла очень сильной тенденции использовать данные точных наук, а не пренебрегать ими. Забегая вперед, заметим, что авторы трех совершенно различных рассказов добросовестно используют данные современной науки о роботах. Называется эта наука прозаически: «Теория автоматов».

Не следует думать, что теория автоматов имеет дело только с машинами и механизмами, которые самостоятельно или, во всяком случае, с минимальным вмешательством человека могут выполнять лишь определенные, строго предписанные им операции. Конечно, красный ящик, выдающий за три копейки стакан воды с сиропом, — автомат. Автоматом является и фотозлектрический контролер в метро, пропускающий пассажира только после того, как он опустит в него пять копеек. Но это — простейшие автоматы. Красный ящик для продажи воды не может вдруг переменить свою «узкую специальность» и начать, скажем, по утрам подметать улицы. Фотозлектрический контролер не обладает никакими эмоциями и не может пропускать бесплатно симпатичных ему пассажиров. Действия обоих автоматов однозначны и однообразны, как действия тупых бюрократов.

Даже эти простейшие автоматы обладают одним замечательным качеством: они проявляют «признаки жизни» только после того, как установилась связь между ними и внешним миром. Они в некотором роде подражают живым существам, реагируя на внешние «раздражения». Если угодно, то в этих простых автоматах выделена одна-единственная функция человека. В первом случае — функция продавца воды, во втором случае — функция контролера.

Человек, торгующий водой, существенным образом отличается от автомата. Он не только молчаливо наливает стакан воды после того, как вы заплатили деньги, но он может совершать тысячи других действий. Он может давать сдачу, может приказывать покупателю не нарушать очередь, пока вы пьете воду, он может поинтересоваться исходом очередного футбольного матча, спросить, где вы купили такие красивые цветы, и так далее и тому подобное.

Спрашивается, можно ли создать автомат, который будет давать сдачу, сам мыть стаканы и любезно спрашивать покупателя, какая на улице погода?

Конечно, можно. Если можно построить автомат, который выполняет только одну человеческую функцию, то принципиально нет никаких препятствий для создания автомата, выполняющего две, три, десять, сто, миллион человеческих функций. И чем больше автомат будет «подражать» человеку, тем больше он будет на него походить. С увеличением числа «разумных» действий автомата он все больше и больше будет превращаться в робота, то есть в механическое создание, имитирующее разумное поведение. Именно возможностью создания таких роботов и интересуется современная теория автоматов.

С увеличением количества разумных действий растет и сложность конструкции робота. Нужно создать машину, которая работает по принципу: «Если... то...». Если в паз опущены три копейки, то выдай стакан воды с сиропом. Если покупатель забыл положить стакан, то

предварительно ополосни его. Если у покупателя нет трех копеек, а есть десять, то дай ему сдачу. Если покупатель улыбнулся, то пропой ему песенку. И так до бесконечности.

Набор «ответов» на различные воздействия ивине называется программой работы автомата. Программа может быть сколь угодно сложной и включать в себя не только строгие и однозначные функции автомата, но и изменения этих функций. Например, торгующий волей автомат на улыбку покупателя может либо пропеть песню, либо спросить: «Чему вы улыбаетесь?», либо сам разразится смехом. Можно сделать так, что выбор той или иной программы будет совершенно произвольным, и тогда появится впечатление, что автомат обладает «свободой воли» и ведет себя так, а не иначе «по собственной прихоти».

Существует заблуждение, будто для автомата обязательно нужно заранее составить программу работы. Для простейших автоматов это действительно так. Однако сейчас разработаны автоматы, которые сами себя программируют. Достаточно в конструкцию автомата заложить некий общий принцип, и тогда, взаимодействуя с окружающим миром, он будет самостоятельно вырабатывать соответствующую линию поведения. Для того чтобы автомат стал самопрограммирующимся, необходимо, чтобы он был наделен большим количеством «органов чувств» и большой «памятью». Сложные электронно-решающие машины в комбинации с искусственными «органами чувств» — различными датчиками, реагирующими на свет, температуру, прикосновение и пр. — могут самостоятельно запрограммировать свою работу в соответствии с поставленной конечной целью.

Прежде чем перейти к разбору помещенных в альманахе научно-фантастических рассказов, необходимо сделать еще одно замечание.

Поскольку высшие автоматы властно входят в производственную жизнь человека, возникает очень важная проблема создания методов общения людей с машинами. Сейчас такое общение осуществляется с помощью машинного «языка». Это — математический язык, несколько напоминающий азбуку Морзе, и он вводится в машину при помощи перфокарт или магнитной записи на пленку. Разговор с машиной на особом языке усложняет процедуру общения с ней, потому что приходится каждый раз прибегать к услугам «переводчика» — программиста, который приказы и указания человека переводит на машинный язык. Было бы куда проще, если бы машина-автомат научилась понимать обычную человеческую речь, устную или письменную. Работа в этом направлении ведется, и не безуспешно. Уже существуют автоматы, которые повинуются командам, подаваемым голосом или в письменном виде. Есть автоматы, которые могут не только слушать чело-

века, но и отвечать ему. Не за горами время, когда в справочных бюро будут сидеть автоматы и отвечать на все вопросы клиентов.

Рассказ Анатолия Днепров *«Разговор с чужой тенью»* по существу касается той же темы, которая была разработана автором в его рассказе *«Суэма»*. Суэма — это самоусовершенствующаяся электронная машина. Она наделена органами зрения, слуха и другими чувствами, она может читать, писать и разговаривать. В период написания *Суэмы* (1957) тема казалась слишком фантастической. Однако сейчас дистанция между Суэмой и реальными машинами заметно сократилась, и на повестку дня серьезных исследований по кибернетике встали парадоксальные на первый взгляд вопросы. Может ли автомат имитировать сложные человеческие эмоции? Может ли поведение автомата быть столь «человеческим», что его станут принимать за живое существо?

Американский математик Дж. Тьюринг в интересной работе *«Может ли машина мыслить?»* отвечает на эти вопросы утвердительно. Советский математик академик А. Н. Колмогоров полагал, что достаточно сложный автомат может успешно «разыгрывать» самые сложные человеческие эмоции. А для того чтобы «обман» был достаточно убедительным, необходимо роботу придать соответствующий внешний вид — оформить его по образу и подобию человека.

Именно таким роботом является сложная электронная кукла *«Галина Гурзо»*, приснившаяся герою рассказа А. Днепров. Конечно, мысль о возможности влюбиться в хорошенькую куклу весьма и весьма фантастична. Это становится ясно в конце рассказа. Но автор, используя этот прием, заостряет внимание на очень любопытной и очень сложной проблеме современной кибернетики. Теоретически введении *«Галины Гурзо»* из сна нет ничего такого, что бы не мог выполнить хорошо сконструированный робот. Будущие молекулярные элементы для электронных схем позволят создавать автоматы достаточно миниатюрными, чтобы разместить все искусственные органы чувств и органы управления в табаритах человеческого тела. Пластические массы и химические мускульные двигатели сделают движения робота похожими на движения человека, и тогда, при достаточно тонком программировании и при наличии схем самопрограммирования, автомат внешне начнет вести себя, как человек.

И все же есть границы «очеловечивания» роботов. Кукла в роли девушки настолько совершенна, что в нее можно влюбиться и не заметить, кто она; такое возможно только во сне.

Машина — помощник человека, но как бы сложна и хороша она ни была, она никогда не заменит человека во всех сферах его деятельности. В этом смысл рассказа.

Вместе с тем то обстоятельство, что *«Галина Гурзо»* работает в ла-

боратории в качестве математика, не должно никого удивлять, потому что это — самая «легкая» часть поведения робота. Уже сейчас существуют машины, которые самостоятельно доказывают математические теоремы и успешно занимаются инженерным проектированием! Создание машин такого рода по-новому ставит проблему автоматизации умственного труда и научно-исследовательской деятельности.

Рассказ «Хоровод» американского писателя Айзека Азимова также посвящен сложному поведению робота в необычных условиях на планете Меркурий. Однако автомат Спиди, в отличие от робота А. Днепрова, очень «жестко» запрограммирован, и поэтому его поведение ни в какой степени не является таинственным.

Существует древняя басня о том, как осел умер от голода только потому, что все время колебался, не яная, с какого из двух стогов сена начать трапезу.

Примерно в такое же положение попал робот Спиди, стремясь выполнить команду человека и, с другой стороны, подчиняясь «инстинкту» самосохранения. Спиди как бы оказался под действием двух равных сил. И только когда в действие вступила третья сила — первое правило, гласящее, что «робот... не может своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред», он бросается спасать героя рассказа и таким образом выходит из заколдованного круга.

Такое поведение автомата очень вероятно. Существуют ситуации, когда машины попадают в так называемый «режим автоколебаний». Это случается, когда на систему начинают действовать равные, но противоположно направленные стимулы — сигналы. Робот А. Азимова оказался именно в таком положении.

Что касается технических объяснений поведения Спиди, то они, в общем, верные, хотя совершенно непонятно, зачем автору понадобились «позитронные потенциалы», когда значительно естественнее было бы говорить просто об электрических сигналах.

Фантастичность рассказа Айзека Азимова не в поведении робота, а в обстановке, в которой разворачивается действие.

Если первые два рассказа посвящены главным образом проблеме возможности создания роботов с разумным поведением, то третий рассказ «Двое под замком» затрагивает философские и этические проблемы, возникающие в связи с появлением «думающих» машин. Молодой журналист Игорь Подольный и академик Ренский ведут неторопливую беседу о том, что будет, когда появятся разумные роботы.

В этом разговоре и страх перед возможным «бунтом» машин, и восхищение перед их возможностями, и мысли о подчинении машины человеку, и вера в превосходство человека над машиной.

Одна мысль автора рассказа заслуживает того, чтобы на ней остановиться подробнее:

«Все равно ведь хозяин — человеческий ум. *И* был и останется. Он гибче, сильнее. *И* не скоростью вычислений или объемом памяти. Во все нет. Он сильнее точным ощущением цели — не промежуточной, а конечной, умением мыслить нелогично и на первый взгляд даже неразумно...»

Действительно, современные электронные счетно-решающие машины, по выражению одного ученого, «идиотски логичны», а по словам другого, «напоминают идиотов, наделенных феноменальной способностью к вычислениям». Однако вечно ли будет продолжаться этот «идиотизм»?

Выше мы рассказали, как можно сделать, чтобы машина-автомат имитировала «свободу воли». Поведение робота будет приближаться к поведению человека, если машина будет работать не по законам формальной логики, а по законам вероятностной логики. Это значит, что в каждый момент поведение робота будет обусловлено лишь с определенной степенью вероятности, и его заранее нельзя предсказать. Однако дело не только в этом. На нынешнем этапе развития высших автоматов действительно существует пропасть между самыми «умными» машинами и человеком. Пока что остается тайной, как человеческий ум, часто располагая очень скудной информацией, может принимать правильные решения. Существует мнение, что уже с момента рождения ребенка в наборе его врожденных инстинктов и рефлексов, возникших в результате миллионов лет эволюции, заложено достаточное количество информации, которая облегчает поведение человека в будущем.

Если это так, то проблема создания машины умнее человека в конечном счете должна свестись к созданию искусственного человека, и, следовательно, машина, не обладающая всеми элементами внутренней и внешней структуры человека, не сможет с ним соревноваться во всех отношениях.

Эти «утешительные» аргументы, однако, не исключают возможности создания роботов, которые будут умнее человека в некоторых областях, и хотя такие роботы будут продуктом человеческого разума, они ни в какой степени не посрамят своего создателя.

Научное творчество человека направлено на то, чтобы усилить свою власть над природой. Во все времена инженерное искусство было нацелено на создание «усилителей» человеческих возможностей. И то, что автомобиль движется быстрее, чем человек, а экскаватор физически сильнее его, ни в какой степени не унижает человека. Человек велик не сам по себе, а велик именно плодами своего творчества. И если сейчас он создает «усилители» своего ума, то это только подчеркивает правомерность той эволюции, которая началась много тысячелетий тому назад.

Важная роль современной и будущей кибернетики подчеркнута в историческом документе, начертавшем контуры близкого коммунистического завтра. В новой Программе КПСС говорится:

«Получат широкое применение кибернетика, электронные счетно-решающие и управляющие устройства в производственных процессах промышленности, строительной индустрии и транспорта, в научных исследованиях, в плановых и проектно-конструкторских расчетах, в сфере учета и управления».

Широкое внедрение кибернетических устройств приведет к существенному изменению всей техники.

Однако прав автор рассказа «Двое под замком». Многие проблемы, касающиеся конфликтов между будущими мыслящими машинами и людьми, выдуманы, и писатели-фантасты в этом направлении постарались больше всех. Массовое использование «мыслящих роботов» окажет влияние на жизнь будущего общества. Даже «глупый» автомобиль заставил людей ходить только по тротуарам и переходить улицу лишь на перекрестках. Попытка нарушить правила уличного движения грозит опасностью для жизни. Кто знает, какими будут «правила уличного движения» в век «разумных» автоматов!

*Кандидат физико-математических наук
А. П. МИЦКЕВИЧ,*

Н. Разговоров

ЧЕТЫРЕ ЧЕТЫРКИ

Я люблю дерево, отполированное прикосновением рук,
ступеньки лестниц, истертые шагами людей...

*Фредерик Жюлио-Кюри «Размышления
о человеческой ценности науки», 1957 г.*

КАК ТРУДНО ИЗОБРЕТАТЬ ПОДАРКИ

В эту ночь доктор Бер засиделся в своей лаборатории гораздо дольше обычного. Его мучила проблема, над которой раз в год приходилось ломать голову каждому женатому жителю Марса. Завтра день рождения его жены, а он еще так и не решил, какой преподнести ей подарок. В прошлом году он подарил ей готовальню. И жена осталась очень довольна. Разумеется, это была не обыкновенная готовальня. Каждый инструмент в ней доктор сам покрыл никелем, полученным буквально из всех уголков галактики. Задумав сделать этот подарок, доктор долгое время, исследуя метеориты, тщательно собирал и сортировал никель. Он завел целую коллекцию банок, на каждой из которых была соответствующая этикетка: «Никель из метеорита № 67, район планеты Оро», «Никель из созвездия Диф», «Никель из туманности Асиниды». Всего у доктора накопилось двадцать два различных никеля. Конечно, все они ничем не отличались друг от друга, никаким физическим или химическим анализом нельзя было бы отличить их от обыкновенного марсианского никеля, но, что ни говори, приятнее держать рейсфедер или циркуль, если знаешь, что покрывающий его металл проделал изрядный путь в космосе, прежде чем попал к тебе в руки. Можно было бы на этот раз подарить жене алюминиевый транспортёр, сделав его из металла, добытого из огромного метеорита,

который чуть было не позволил доктору побить рекорд академика Ара. Такого алюминия у доктора оказалось 80 килограммов, а потребовалось всего лишь три грамма для того, чтобы установить его абсолютное сходство с марсианским. Но доктор так часто говорил жене о том, что не знает, куда девать этот алюминиевый порошок... Нет, лучше пустить его для каких-нибудь других целей... Решительно ничего не приходит в голову. Может, быть, сделать все-таки транспортир, выгравировав на нем дату поймки метеорита.

Во всех своих делах и расчетах доктор неизменно обращался к помощи электронной вычислительной машины. Но здесь-то она не сможет ему помочь. Однако почему бы не посоветоваться с ней? Доктор взял обрывок перфорированной ленты и решил, что если счетчик покажет в ответе число, последняя цифра которого будет четная, то можно будет сделать транспортир, если же нечетная, то он просто подарит пойманный им недавно крошечный метеорит, на котором, если положить его под микроскоп, можно увидеть причудливый узор, чем-то напоминающий инициалы его жены. Кстати, он давно уже собирался показать ей этот камешек.

Счетная машина сработала мгновенно, но, увы, число оканчивалось нулем. Доктор с досадой посмотрел на своего электронного советчика, который так решительно предоставлял ему полагаться на самого себя.

Впрочем, доктор хорошо знал, что он все равно не послушался бы совета машины. Подарок, сделанный по чьему-либо совету, уже не подарок. Это известно каждому школьнику, выучившему первую страничку нормативной грамматики: «Все окружающее нас можно подразделить на одушевленное и неодушевленное, к одушевленному относимся мы и подарки. Подарком называется вещь, задуманная вами и сделанная вами для другого». Учение о подарках преподается с первого по восьмой класс и по количеству отведенных для него часов занимает третье место после математики и физики. Это очень трудный предмет, и доктору никогда не удавалось иметь по нему хорошей отметки. Ему приходилось даже посещать дополнительные занятия с отстающими учениками, многие из которых, впрочем, стали впоследствии крупными физиками и математиками, весьма уважаемыми учеными.

Доктор снял очки, провел рукой по лбу, облокотился

о стол и твердо приказал себе не менее чем через пять минут принять какое-нибудь решение, так как дальше медлить было уже невозможно. Но решение пришло даже раньше. Очки?.. Ну конечно же, можно сделать прекрасные очки, взяв для этого стекло, которое он получил из метеорита М 223. Разве не приятно смотреть сквозь стекла, которые сами столько повидали на своем веку? Отличная мысль, а вот оправу действительно стоит изготовить из алюминия. Это будет вполне уместно. Все-таки не у каждого на счету имеется метеорит в четырнадцать тонн весом.

Завтра с утра он примется за стекла, а сейчас надо отправляться домой, уже совсем поздно. Доктор был у двери, когда из радиоприемника послышались резкие позывные, означавшие, что кто-то собирается передать не терпящее отлагательства сообщение. Только в таких чрезвычайных случаях ученые прибегали к мета-волнам, автоматически включающим все радиоприемники на Марсе. Что могло произойти в такой поздний час? Доктор напряженно вслушивался.

«Внимание, внимание,— оглушающе громко донеслось из репродуктора,— говорит лаборатория 602, говорит лаборатория 602. Говорит академик Ар. Приступаю к вскрытию искусственного небесного тела, пойманного мной в квадрате 7764. Включены все микрофоны лаборатории, следите за моими передачами. Следите за моими передачами. Говорю из лаборатории 602. Говорит академик Ар».

Доктор Бер бросился к радиопередаточной установке. Он пытался понять, что могло произойти. Искусственное небесное тело? Почему академик не подал сигнала сразу же, как он убедился в искусственном происхождении метеорита? Почему он решил доставить это тело именно в лабораторию 602? В лабораторию, расположенную на Фобосе? Почему он считает необходимым немедленно вскрыть искусственный метеорит? Почему он решил это сделать один, не призвав никого на помощь? И, главное, почему он молчит?

Этот поток мыслей и неразрешимых вопросов, наконец, был прерван раздавшимся в приемнике голосом академика Ара. Академик говорил взволнованно и торжественно, но слова его были обращены не к тем, кто, затаив дыхание, слушал его на Марсе.

демик,— я счастлив от своего имени и от имени всех ученых и жителей планеты Марс сердечно приветствовать вас, первого гостя, прибывшего к нам из космоса. Я отдаю себе отчет в том, что посещение нашей планеты, быть может, не входило в ваши научные планы, которые оказались нарушенными по моей вине. Я приношу вам по этому поводу свои глубочайшие извинения. Я вижу, судя по той тревоге, с которой вы осматриваете своды этой мрачной лаборатории, что прием, оказываемый вам на Марсе, не кажется вам радушным. Я позволю себе быть с вами совершенно откровенным, и тогда, может быть, ваши недоумения и опасения рассеются. Мы, марсиане,— единственные живые существа, населяющие нашу планету. Однако древнейшие периоды нашей истории, полные жестоких войн, когда достижения науки нередко использовались для уничтожения жизни, заставили нас прийти к прискорбному выводу, что даже живые существа, во всем подобные друг другу, не сразу могут обрести язык мира и согласия. Удивит ли вас после этого, что я не мог не питать величайшей тревоги, когда у меня возникла мысль, что в вашем космическом корабле, перед техническим совершенством которого я преклоняюсь, возможно, есть живые существа? Вот почему мы с вами оказались здесь. Я еще не знаю, что вы скажете мне в ответ и смогу ли я также понять вашу речь, как вы понимаете мою, в чем меня убеждает внимание, с которым вы меня выслушали, но я прошу вас, дорогой коллега, верить, что я и все жители Марса, которые сейчас слушают нас, бесконечно рады вашему прибытию. Мы с волнением ждем вашего слова...

Но никакого слова не последовало. Вместо него вновь воцарилась тишина, повергнувшая доктора Бера в новый водоворот тревожнейших мыслей и сомнений, приобретающих самые кошмарные формы.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МЕРКУРИЯ НЕ ПОЛУЧАЕТ СЛОВА

Меркурий... Венера... Земля... Марс... Юпитер... Сатурн... Уран... Нептун... Плутон... Кто же выступит первый? Впрочем, порядок не имеет особенного значения. Пускай начинает Юпитер: он самый большой и толстый.

Старший научный сотрудник Музея необыкновенных метеоритов Кин еще раз лукаво посмотрел на нарисованные им забавные фигурки, каждая из которых изображала какую-нибудь планету, а все вместе они должны были представлять первое межпланетное совещание по упорядочению названий. Вопрос очень серьезный. Когда представители всех планет собрались для того, чтобы обсудить насущные задачи солнечной системы, оказалось, что им очень трудно разговаривать между собой, так как все их имена перепутались.

Но тут вдруг выяснилось, что планета Венера во всех уголках солнечной системы, хотя и на разных языках, но всегда называлась всеми планетой Любви. Это очень заинтересовало участников совещания. Они обрадовались такому замечательному совпадению, позволявшему предполагать, что произошло это не случайно, а потому, что у жителей всех планет общее представление о любви, а значит, в конце концов они смогут обо всем договориться. Решено было, чтобы каждый представитель объяснил, почему на его родине Венеру называют планетой Любви.

На этом месте написанной им истории Кин остановился, задумавшись, кому же первому предоставить слово. Сочинение таких историй очень увлекало Кина, хотя многие другие ученые считали, что такое времяпрепровождение несовместимо с научной работой... Итак, что же скажет представитель Юпитера?

— Мы, — начал забавный толстячок, — долго мучились, пытаюсь разгадать, почему Венера светится ярче, чем все другие планеты, и даже в тринадцать раз ярче Сириуса. Мы определили, что она отражает половину падающего на нее солнечного света. Но почему? Вот загадка. Наконец, удалось установить, что этот свет отражают белые облака, густой пеленой окутывающие планету. И тогда мы называли Венеру планетой Любви, ибо любовь тоже тем ярче, чем непроницаемое пелена тайны, которая ее покрывает.

— Прежде чем объяснить причины, по которым мы называли Венеру планетой Любви, — сказал застенчивый плутонец, — я должен принести свои извинения представителю Меркурия. К сожалению, так как мы очень удалены от центра и находимся в глухой периферии, мы вообще не знали о существовании Меркурия и считали Венеру самой близкой спутницей Солнца. Как вы знаете, у нас довольно холодный климат, даже летом температура не поднимается

выше абсолютного нуля. Наблюдая в сверхмощные телескопы Венеру, мы радовались тому, что она так близко расположена к центральному светилу, что ей так хорошо, тепло и светло. Не такое ли же чувство радости за любимое существо охватывает нас, когда мы видим, что оно счастливо и наслаждается жизнью? Может быть, это наше плуто-ническое представление о любви покажется кое-кому устаревшим и отсталым, но таковы уж мы, плутоники, живущие в суровых условиях и не избалованные окружающей средой. Поэтому мы и назвали далекую планету, внушающую нам такие чувства, планетой Любви.

Кин перечитал все написанное, поправил несколько неудачных слов, хитро улыбнулся и стал придумывать, что же должны сказать о любви и другие представители и сама обворожительная обитательница Венеры. «Представитель Меркурия...» — начал писать он. Но в этот момент раздался резкие позывные сигналы по радио.

Первое сообщение академика Ара вывело Кина из себя. В гневе он стукнул кулаком по столу, так что содрогнулась вся солнечная система; удар пришелся по листку, на котором был изображен представитель Меркурия. Стукнул Кин с такой же силой по самому Меркурию, одной планетой в солнечной системе стало бы меньше. Безобразия! До каких же пор это будет продолжаться, до каких пор будут попирались права, предоставленные Музеем метеоритов необычайных форм? Ни к каким физическим и химическим исследованиям нового метеорита не разрешается приступать, пока работники музея не снимут с него слепок, в точности воспроизводящий все особенности его поверхности, вплоть до самых мельчайших деталей! Что из того, что некоторым ученым снятие слепка кажется никому не нужной формальностью. Это — невежды, не понимающие, какие великие тайны хранит поверхность материи... «Приступаю к вскрытию искусственного небесного тела...» Академику Ару, разумеется, не терпится изувечить и искалечить драгоценную находку, попавшую к нему в руки. Он наконец-то, уверовал в то, что могут быть метеориты искусственного происхождения. А разве Кин не говорил этого тысячи раз, разве не доказывал он, что обширная коллекция музея располагает по крайней мере десятком метеоритов, на которых можно явно различить отпечатки неведомых цивилизаций. «Игра воображения, фантазии, до-сужие домыслы», — вот что приходилось слышать всякий

раз тем, кто посвятил свою жизнь кропотливому изучению поверхности камней. Посмотрим, что теперь скажет сам академик Ар. Какая игра воображения заставила его поднять на ноги всю планету?

Кин был в таком разгоряченном состоянии, что даже не сразу задумался над тем, к кому обращается академик Ар с приветственной речью. Но когда наконец до его сознания дошло, что искусственное небесное тело оказалось обитаемым, что на Марс прибыл представитель жизни с какой-то другой планеты, сотрудника Музея необыкновенных метеоритов охватило буйное ликование. Он ощутил такую необходимость поделиться с кем-нибудь своим восторгом, что стал говорить, тыча пальцем прямо в живот представителю Юпитера. «Вы понимаете, что теперь будет?! Теперь многое станет ясным. Мы узнаем, нет ли на планете, откуда прибыл наш уважаемый коллега, мощных действующих вулканов. Мы узнаем, не бывало ли случаев неожиданных грандиозных извержений, когда целые острова с находившимися на них каменными строениями уносило в космос? Мы попросим нашего почтеннейшего коллегу осмотреть коллекцию музея, и, быть может, он опознает некоторые из причудливых обломков, и тогда те, кто позволял себе потешаться над нами, будут посрамлены, а истина восторжествует!» Кин уже видел, как он вместе с обитателем другого мира идет по галереям музея, как, охваченный любопытством, гость склоняется над стендами, внимательно рассматривая каждый камень, и наконец...

— Я вижу, — донесся вновь из приемника голос академика Ара, — что наш уважаемый гость очень утомлен после своего необычайного путешествия. Я был бы счастлив, если бы вы приняли мое приглашение и согласились бы провести первые дни на Марсе в нашем академическом павильоне на Большом Сырте. Там, в обстановке полного покоя, вы сможете хорошо отдохнуть и собраться с силами. Нас встретят мои друзья — доктор Бер и маэстро Кин, общество которых, я надеюсь, будет вам приятно. Если вы не возражаете против моего приглашения, то мы можем сейчас же покинуть эту лабораторию. Прошу вас, мой вертолет к вашим услугам.

После короткой паузы, когда все слушавшие академика Ара напряженно ждали, не последует ли от него еще каких-нибудь сообщений, слово взял президент Академии.

— Уважаемые коллеги, — сказал он, — произошло собы-

тие чрезвычайной важности, все последствия которого нам трудно сейчас представить. Обстоятельства вынуждают меня быть кратким. Я считаю, что доктор Бер и маэстро Кин, если они не имеют обоснованных возражений, должны немедленно вылететь на Большой Сырт. Мне неизвестны причины, по которым академик Ар призвал на помощь именно их, но, очевидно, у него были на то свои веские соображения.

Скудость фактической информации, полученной во время сообщений академика Ара, не дает мне возможности реально оценить создавшуюся обстановку. Я могу лишь призвать участников экспедиции к величайшей бдительности. Прошу высказываться.

Радиоперекличка ученых Марса еще продолжалась, когда Бер и Кин были уже на Большом Сырте.

МАГНИТОФОННАЯ ЗАПИСЬ ПЕРВОЙ БЕСЕДЫ, СОСТОЯВШЕЙСЯ МЕЖДУ АКАДЕМИКОМ АРОМ, ДОКТОРОМ БЕРОМ И КИНОМ

Академик Ар. Мои дорогие коллеги, я предложил вам, воспользовавшись тем, что наш гость крепко уснул, подняться наверх и произвести первый обмен мнениями. Я еще не имел возможности проинформировать вас и весь научный мир Марса обо всех событиях этой необычайной ночи. Я должен это сделать, так как для успеха нашей дальнейшей совместной работы вам необходимо знать все, а мои сообщения из лаборатории 602, в силу ряда обстоятельств, которые я и собираюсь изложить, не могли полностью ввести вас в курс происходившего.

Начну с фактической стороны. В 3 часа 15 минут 22 секунды радиомagnetный луч моего прожектора вошел в соприкосновение с метеоритом в квадрате 7764, пространственные координаты 29 и 648. По показаниям массметра, вес заабордажированного небесного тела равнялся 3,5 тонны. При включении контрлуча массметр отметил неожиданное резкое уменьшение веса метеорита до 120 килограммов. Вошедший в поле видимости метеорит поразил меня своим блеском и необычайностью форм. Осмотр его на фиксационной площадке убедил меня, что это небесное тело искусственного происхождения, и зародил во мне мысль о том, что внутри него могут находиться живые существа, создатели межпланетного снаряда. Я решил не-

медленно проверить это предположение, учитывая, что пилоты могли нуждаться в экстренной помощи, так как программа их полета была резко нарушена моим невольным вмешательством. С другой стороны, по вполне понятным вам причинам я опасался произвести демонтаж снаряда на Марсе. Вот почему я отправился в лабораторию 602. После того как я разобрался в системе креплений наружного люка, я сделал свою первую передачу. Открыв люк, я увидел в кабине снаряда пилота-исследователя, который добровольно покинул свое летное помещение, не захватив с собой ничего, что могло бы напоминать средство обороны или нападения. Тем не менее в момент встречи с межпланетным пилотом я испытывал чувство величайшей тревоги и, лишь преодолев ее, смог обратиться к водителю снаряда с приветственной речью, которую вы все слышали.

С волнением я ожидал ответа, но пилот, не спускавший с меня глаз, оставался совершенно безмолвным. О возможных причинах этого молчания я позволю себе высказаться ниже. Сейчас же скажу, что хотя внешний облик таинственного пришельца из космоса внушал мне опасения, в самом его поведении не было ничего, позволявшего предполагать дурные намерения.

Дальнейшее проявление какого-либо недоверия к нему могло бы иметь самые нежелательные последствия, и тогда я произнес свое заключительное обращение, которое вам известно. Свои слова: «Мой вертолет находится в вашем распоряжении», я сопровождал пригласительным жестом, и наш гость без какого-либо понуждения с моей стороны сам поднялся по откидной лесенке, ведущей в кабину. Во время передета Фобос — Большой Сырт он вел себя очень спокойно, хотя по-прежнему не отвечал ни на какие мои вопросы. В 6 часов 30 минут, за 20 минут до посадки вертолета, пилот уснул. Я вынужден был вынести его из кабины на руках. Он, как вы знаете, не проснулся и после того, как мы перенесли его в отведенную для него часть павильона. Таковы вкратце произошедшие события.

Доктор Бер. Чем вы можете объяснить внезапное изменение показаний массметра при включении контрлуча?

Академик Ар. Это остается для меня загадкой. Однако я предполагаю, что контрлуч, возможно, благодаря радиотехническим совпадениям привел в действие разъединительные механизмы крупного космического корабля, рас-

пазшегося на части, одной из которых и является пойманный нами снаряд. В случае правильности этой гипотезы, согласно закону Леза, мы могли сохранить в сфере притяжения лишь частицу с наименьшей массой.

К и н. В чем вы видите основную цель работы нашей группы?

А к а д е м и к А р. Мы должны попытаться установить контакт с нашим инопланетным коллегой, найти способы общения с ним, выяснить, чем мы можем быть ему полезны в создавшейся обстановке.

К и н. Вы говорили, что у вас есть особые соображения, позволяющие понять причины молчания пилота. Я думаю, что мне, доктору Беру и всем слушающим нас было бы очень полезно познакомиться с этими соображениями.

А к а д е м и к А р. Сейчас я их изложу. Но я должен предупредить вас, что это пока не более чем рабочая гипотеза.

За те двадцать минут, которые я провел в кабине своего вертолета, глядя на моего уснувшего спутника, я продумал очень многое. Вот существо, думал я, которое преодолело миллионы километров в безднах космоса. Оно победило и подчинило себе стихийные силы природы, но потерпело неожиданную катастрофу, столкнувшись с силами разума, которые оказались более слепыми, чем сама стихия. Вас может удивить, что я говорю о катастрофе. Но она несомненно произошла, и я — невольная ее причина.

До того мгновения, когда вступил в действие луч, корабль шел по строго намеченному курсу. Его водитель был свободен, он наслаждался свободой, он был властелином космоса, и вот что-то неведомое, непостижимое, непокорное отнимает эту свободу и превращает укротителя стихий в игрушку обстоятельств. Для того чтобы ощутить это, не требовалось ни взрыва, ни грохота, ни стремительного падения — достаточно было загадочных перемен в показаниях приборов.

Межпланетный снаряд, покорный нашему разуму, покорный созданным нами силам, спокойно опустился на Марс. Но разум водителя корабля пережил в эти минуты катастрофическое падение с космических высот свободы, с космических высот познания. Мог ли он остаться невредимым?

Но во всяком случае мы не должны терять надежды на то, что наш инопланетный коллега может оправиться от

шока. Мне кажется, что он не утратил способности воспринимать обращенную к нему речь. При звуках голоса в его глазах всегда вспыхивает свет мысли и чувства. Мы окружим нашего гостя условиями, ни в чем не напоминающими ту обстановку, в которой произошла катастрофа. Мы изолируем его от всего, что хоть в какой-либо мере может напоминать научную лабораторию, подобную той кабине, в которой находился пилот во время полета. Никаких приборов.

Время и естественная среда — вот наши единственные союзники в той нелегкой борьбе, которую нам предстоит вести за возвращение нашему гостю дара речи.

ПАЛКА О ДВУХ КОНЦАХ

Доктор Бер рассматривал фотографии. Их нужно было выслать в редакцию академического бюллетеня. На столе лежало несколько снимков. Живой — так предложил академик Ар назвать космонавта — был сфотографирован во весь рост в профиль, анфас. Доктор внимательно изучал снимки. Это было нечто привычное — чертеж, схема, на которую можно смотреть часами, проникая во взаимоотношения частей и деталей. В обществе Живого доктор чувствовал себя связанным. Всякий раз, когда Живой неожиданно поворачивал голову в его сторону, как бы уловив пытливый взгляд ученого, доктору становилось не по себе. Ему казалось, что Живой упрекает его в бестактности. Что вы рассматриваете меня, как какую-нибудь колбу? Будьте любезны спросить, хочу ли я, чтобы вы на меня смотрели... А спрашивать Живого и вообще разговаривать с ним с такой непринужденностью, как это делал Кин, доктор никак не мог научиться. Он даже сказал как-то академику Ару, что сомневается, сможет ли принести какую-нибудь пользу в работе их научной группы. И не напрасно ли академик пригласил именно его. Какая связь между специальностью доктора, молекулярным строением метеоритных кристаллов и теми задачами, которые стоят перед их экспедицией?

— В ваших работах, — ответил ему академик Ар, — меня всегда привлекала справедливость и точность выводов, ко-

торые вы делали, сопоставляя факты, на первый взгляд казавшиеся несопоставимыми, не имеющими никакого отношения к сфере проводимого вами исследования. Это как раз то, что сейчас нам очень нужно. Наблюдайте и сопоставляйте.

Но как сопоставлять наблюдения, которые нельзя фиксировать? Даже для того, чтобы сделать эти снимки, абсолютно необходимые для информации других ученых, пришлось выдержать борьбу с Кином, утверждавшим, что нельзя фотографировать Живого, поскольку фотоаппарат — это сложный механический прибор и вид его может усилить душевную травму космонавта. Академик Ар тоже склонялся на сторону Кина, и доктору Бери пришлось прибегнуть к сильному телеобъективу и снимать Живого с большого расстояния. Но так ли уж правы Ар и Кин, считая, что нужно оградить Живого от всего, даже отдаленно связанного с наукой, с приборами, с обстановкой, окружавшей его в момент катастрофы? И какие же наблюдения без приборов? И где взять тогда материал для сопоставлений?

На вечернем совещании, когда все трое ученых собрались в библиотеке, у Кина был радостный и взволнованный вид.

— Дорогие друзья! — начал академик Ар. — Приступим к работе. Закончился пятый день нашего пребывания на Большом Сырте. Он был отмечен весьма важным событием. Вы оба понимаете, что я говорю о палке. Необходимо, чтобы мавстро Кин во всех подробностях изложил нам ее историю, историю первого тесного и добровольного контакта Живого с окружающим его миром марсианской природы.

Кин откашлялся, быстро проглотил вечно торчавшую у него за щекой глюкозную таблетку — привычка Кина постоянно засовывать себе в рот эти таблетки ужасно раздражала доктора Бери, — провел рукой по своим всклокоченным волосам и, взглянув на часы, начал сообщение.

— Осуществляя программу послеобеденных наблюдений, я прогуливался с Живым в ложине, прилегающей к парку нашего павильона. Как всегда, Живой совершал массу движений, и мне никак не удавалось проследить, что побуждает его к такому постоянному и хаотическому перемещению. Поскольку вчера доктор Бер очень подробно охарактеризовал,

сколь различно поведение Живого в закрытых помещениях и на природном ландшафте, я не буду на этом останавливаться. Скажу только, что кривая наблюдавшихся мной перемещений Живого ничем существенно не отличалась от той, которую начертил перед нами наш уважаемый коллега. Но внезапно Живой, за мгновение до этого скрывшийся в кустарнике, появился передо мной, держа вот эту палку.

Кин торжественно показал рукой на лежащий на столе обломок засохшей ветки.

— Это было столь неожиданно, что я оторопел. Но затем, заметив, что Живой очень пристально и как-то вопрошающе смотрит на меня, я подошел к нему и сказал: «Уважаемый коллега, разрешите мне посмотреть вашу находку». Живой очень любезно положил палку передо мной. Я взял ее в руки, отлично сознавая ее огромную научную ценность и не решаясь вернуть Живому, так как он мог бы унести палку назад в кусты, оставить ее там, и я ни за что бы не нашел ее среди хвороста, которого так много в долине. Я понимал, что нам дорога именно эта палка, первая среди тысячи других, привлекающая внимание Живого. Вместе с тем я не решался оставить ее в своих руках, так как Живой смотрел на меня с выражением недоумения и даже сделал слабую попытку вновь завладеть своей находкой. Тогда, положив палку перед Живым, я постарался объяснить ему вкратце ее значение. «Отличная палка, — сказал я, — очень хорошая палка. Поздравляю вас, коллега, я очень рад, что, наконец, что-то понравилось вам у нас на Марсе. Это очень, очень хорошо. А теперь пойдемте домой, наши друзья уже ждут нас, они тоже будут рады познакомиться с вашей находкой, с вашей прекрасной, великолепной, отличной палкой». При этом я погладил палку рукой, желая этим жестом еще раз подчеркнуть ее значение.

Всю обратную дорогу Живой, держа палку, шел впереди меня. Его поведение резко изменилось. Хаотические метания из стороны в сторону прекратились, он никуда не сворачивал, и лишь время от времени опускал свою находку, чтобы взять ее потом поудобнее. Когда мы вошли в павильон, Живой не отнес палку в свою комнату, а положил ее перед моей дверью, выражая всем своим видом, что он хочет мне ее подарить. Я сердечно поблагодарил его за такой подарок.

Кин умолчал о том, что, растроганный, он, со своей стороны, преподнес ответный подарок Живому: три глюкозные таблетки. Конечно, это нарушало режим питания. Но Кин не мог иначе выразить своих чувств. К тому же он сразу убедился в том, что Живой умеет хранить такие секреты в глубокой тайне.

После короткой паузы, во время которой все трое ученых сосредоточенно рассматривали палку, доктор Бер взял ее в руки, подержал на ладони и произнес несколько смущенный, но уверенным голосом:

— Я вижу в этом факте пока что только одно: Живой способен поднять кусок дерева весом около трехсот граммов и перенести его на расстояние приблизительно в восемьсот метров, иными словами, совершить работу, равную примерно двумстам пятидесяти килограммометрам.

— И это все, что вы можете сказать по поводу палки? — запальчиво воскликнул Кин.

— Все,— хладнокровно ответил доктор.— Факты не позволяют мне сказать большего.

— Ну, тогда я вам скажу, что думаю об этом я. Я очевидец и, если хотите, соучастник всего происшедшего. Мы вступаем в область психологии. Так забудьте же ваши граммы, килограммы, метры, большие и малые калории. Забудьте о них, наблюдайте, наблюдайте глазами сердца! Когда я увидел эту принесенную Живым палку, я очень хорошо понял, что он мне хотел сказать. Он говорил: я нашел и принес вам в подарок то, что напомнило мне о моей родной планете; у нас тоже растут деревья, мы строим из них жилища, мы делаем из них столы, чертежные доски, книжные полки. Вот что он хотел сказать этим маленьким кусочком дерева.

Я вижу, вы улыбаетесь, но знайте, ваша скептическая улыбка не убьет во мне уверенности в том, что я с помощью этой палочки сумею узнать о Живом больше, чем вы со всеми вашими приборами и аппаратами. Эта палочка — знак доверия, может быть единственный знак, который способен сейчас подать наш несчастный коллега, это отчетливый проблеск сознания и поиски общения, а вы собираетесь измерять его в граммах и сантиметрах. Стыдитесь, доктор, нельзя быть таким педантом!

После бурного вечернего совещания академик Ар долго не мог уснуть. В конце концов ему удалось утихомирить своих разбушевавшихся коллег, но они так и не пришли к согласию. Вопрос о палке решено было обсудить еще раз. Сейчас, беспокойно ворочаясь с боку на бок, академик раздумывал над тем, как лучше провести это новое совещание, на котором с первым докладом должен выступить он сам.

Академик пытался привести свои идеи в строгий порядок. Но внезапно, когда ему уже казалось, что он достиг какой-то системы, блеснувшая в его голове мысль опрокинула все предыдущие построения. Он встал с постели, зажег свет, накинул халат, прошел в ванную комнату и там, взяв в зубы пластмассовый чехол от зубной щетки, стал внимательно рассматривать себя в зеркало. Зажатый в зубах чехол придавал безобидному лицу академика неприглядно злодейское выражение, глаза его лихорадочно блестели. Но в этом блеске было одновременно и что-то умиротворенное. «Дорогие коллеги», — попытался проговорить академик, не вынимая чехла из рта. Говорить было очень трудно, почти невозможно, членораздельность явно утрачивалась. Из рта академика вырывался лишь поток гортанных звуков, в котором сам ученый не узнавал произносимых слов. От напряжения на лбу выступили капельки пота. Ар вытер их полотенцем, вынул из рта чехол и торжественно произнес, обращаясь к самому себе в зеркале: «Если это так, то тяжкий груз скоро спадет с моих плеч!»

Вернувшись в свою комнату, академик сел за письменный стол, положил перед собой лист бумаги и взял карандаш. Крепко зажав неоточенный конец карандаша в зубах, он склонился над бумагой. Сначала буквы получались очень нечеткими и расплывчатыми, но постепенно они стали приобретать все более определенные очертания.

Свет еще долго горел в кабинете академика Ара. А когда он решил, наконец, снова лечь в постель, то от волнения опять не мог заснуть, но это было радостное волнение. Академику хотелось немедленно поделиться своими мыслями с Бером и Кином. Но он не решался будить их среди ночи. Напрасные опасения!

Доктор Бер, вернувшись с совещания, просидел за своим письменным столом еще дольше академика. Доктор был

в очень дурном расположении духа. Все эти психологические способы изучения Живого казались ему по меньшей мере преждевременными. Нет, он будет придерживаться своей программы. Он хочет располагать хотя бы минимумом точных математических данных, и он их получит.

Доктор достал пачку фотографий и отобрал те, где Живой был снят во весь рост в анфас и в профиль.

Ну что же, раз ему не дали взвесить Живого, то он по крайней мере хотя бы приблизительно узнает, в каких отношениях находится вес отдельных частей его тела. Доктор взял фотографию и аккуратно вырезал Живого по всей извилистой линии профильного контура. Затем он положил вырезанную фигуру на лабораторные весы. Четыре грамма сорок шесть миллиграммов. Отлично. А теперь... Крепко сжав Живого большим и указательным пальцем левой руки, доктор Бер осторожно ввел его шею в раздвинутые лезвия ножниц. С секунду он колебался, не следует ли взять немного правей, а потом решительно сдвинул ножничные кольца. Отделившаяся от туловища голова Живого упала на стол. Доктор Бер взял ее пинцетом и положил на чашу весов. Один грамм двадцать два миллиграмма. Таким образом, можно предположить, что вес головы Живого относится к весу туловища примерно, как один к четырем. Обычное соотношение веса головы жителя Марса к весу туловища один к семи. Сравнение явно в пользу инопланетного коллеги.

Доктор Бер положил в конверт части принесенной в жертву науке фотографии и задумался. «Наблюдайте и сопоставляйте», — вспомнились ему слова академика Ара.

Доктор достал новые снимки и принялся их внимательно изучать, вооружившись циркулем, линейкой и транспортиром.

Вид спереди. И вид сбоку. Рассматривая их поочередно, Бер прежде всего обратил внимание на то, что голова Живого не только представляет собой высшую часть его тела, но и наиболее выдвинутую вперед. Этот факт как-то особенно подчеркивает подчиненность всех других органов голове. Вид сбоку убедительно свидетельствует о том, что все служебное и второстепенное решительно отодвинуто назад и имеет чисто подсобное значение. Вместе с тем, будучи отличным знатоком механики, Бер без труда определил, что при такой конструкции на передние конечности Живого должно приходиться не менее двух третей нагрузки

от его общего веса. Прима́т переднего над задним совершенно очевиден.

Еще более поразительную картину представляет собой вид спереди. Бер порылся в своей записной книжке и достал свою собственную фотографию, где он был запечатлен рядом со своим четырнадцатитонным метеоритом. Голова Живого составляет одну треть от общей высоты его тела. Голова Бера всего лишь одну восьмую. Это, конечно, не очень приятно, но нужно уметь смотреть в лицо фактам.

Таким образом, следует обратить особенное внимание на изучение головы. Первое, что бросается в глаза,—это расположение ушей. Они находятся непосредственно над фронтальной частью мозга и обращены прямо к собеседнику. Если провести прямую от ноздри Живого через зрачок его глаза, то она будет одновременно и биссектрисой угла, в вершине которого находится кончик уха. Такое расположение всех важнейших центров восприятия на одной оси может и должно способствовать чрезвычайной концентрации внимания. Бер соединил соответствующие точки на своей фотографии и получил тупой угол в 105° , с вершиной, приходящейся на зрачок. Не вытекает ли из этого, что марсианскому ученому требуется дополнительное умственное усилие, когда ему необходимо направить и зрение, и обоняние, и слух на один определенный предмет?

Но при всем своем своеобразии, оригинальности формы и расположения уши Живого все-таки не так примечательны, как его нос. Он — центральная и абсолютно доминирующая часть его лица; в сущности, все лицо Живого, исключая лобовой и глазной участок, это один разросшийся нос. Не следует ли в таком случае предположить?.. Доктор не знал, как точнее сформулировать свое предположение, но он чувствовал, что его выводы имеют далеко идущие последствия. Обоняние... Мир запахов... Вот где, судя по всему, может таиться разгадка Живого.

Бер вышел на балкон, чтобы немного подышать перед сном свежим воздухом. Дурное расположение духа сняло с него как рукой. Ощутив у себя под ногами твердую почву фактов, доктор уже с улыбкой вспомнил свою недавнюю полемику с Кином. Он снисходительно посмотрел на темное окно соседа. Горячая голова, что-то ему сейчас снится?

Но Кин не спал. Всю ночь он не смыкал глаз, терзаемый самыми жестокими сомнениями, которые когда-либо выпадали на долю ученого. То, что он задумал сделать,

было близко к попытке проверить закон всемирного тяготения прыжком из окна десятиэтажного здания. Но если бы у великого древнего мыслителя, открывшего этот закон, не было никакой другой возможности убедиться в истине, разве не прибегнул бы он к этому крайнему способу?

ЧЕТЫРЕ УРАВНЕНИЯ С ПЯТЬЮ НЕИЗВЕСТНЫМИ

Профессор Ир, сидя за своим письменным столом, просматривал свежие академические бюллетени. Он никак не мог привыкнуть, что именно с этого начинается теперь его рабочий день. И хотя на дверях кабинета профессора висела табличка «Директор универсального академического издательства и универсальной единой библиотеки», это громкое звание не доставляло ему никакого удовольствия. Он продолжал считать, что после всей этой раздутой истории с метеоритами с ним поступили несправедливо, отстранив его на три года от научных лабораторных изысканий и переведя на административную работу. Сколько было шума, когда выяснилось, что камни, которые профессор выдавал за метеориты, были просто собраны им в заброшенной каменоломне около Асидолийского моря. Но как бы там ни было, с профессором поступили слишком жестоко. Никакой профанацией науки он не занимался, а если и нарушил второй пункт нового академического устава, так сделал это потому, что бедняге уж очень невезло на метеоритной ловле. Но устав есть устав, и в нем написано ясно и четко: «В связи с завершением работ по изучению материальной структуры Марса и во избежание топтания науки на месте Академия предлагает заниматься исследованием только тех видов материй, которые не встречаются на поверхности и в недрах нашей планеты».

В эти дни, когда внимание всех ученых Марса было приковано к экспедиции на Большом Сырте, профессор Ир особенно остро переживал свое опальное положение. Он не сомневался в том, что при других обстоятельствах академик Ар, несомненно, пригласил бы его в свою исследовательскую группу. Они много лет работали вместе, и академик весьма ценил неутомимую энергию профессора, сочетавшуюся с выдающимся талантом экспериментатора.

На новом месте профессору не к чему было по-настоящему приложить свои силы. Издательство и библиотека работали как хорошо налаженный механизм, без особенного вмешательства профессора.

Единственное, что он мог бы назвать собственно своим детищем, — это задуманное им юбилейное издание трудов Рига, выдающегося ученого, основателя Академии. В этом году исполнялось столетие со дня выхода в свет его фундаментальной работы «Кризисы и взлеты познания». К этой дате решено было издать новое академическое собрание сочинений Рига, снабдив их подробными комментариями, позволяющими, с одной стороны, оценить все своеобразие научной мысли Рига, с другой стороны, продемонстрировать, как далеко шагнула наука за минувшее столетие.

Сначала это представлялось профессору Иру делом не очень сложным, но неожиданно в работе над комментариями возникли серьезные затруднения, связанные с тем, что Риг жил и творил за два века до печально знаменитой четырехсотлетней войны, вошедшей в историю под названием «Физики против лириков». Поводом к этой войне послужило изобретение синтетических продуктов питания. Представитель лирических наук маэстро Тик выступил на торжественном заседании Академии и поздравил физиков с их выдающимся открытием, освобождавшим жителей Марса от тиранической власти природы. Но в своей речи несчастный маэстро позволил себе сказать несколько добрых слов и по поводу старинной марсианской окрошки и древнего марсианского винегрета. Этого оказалось достаточно, чтобы физики обвинили лириков в чудовищной неблагодарности. «Лирические науки развращают разум! Долой лириков!» Сопровождаемый такими выкриками, маэстро Тик покинул трибуну. Торжественное заседание неожиданно превратилось в ожесточенное перечисление взаимных обид. Прорвались наружу страсти, сдерживавшиеся в течение тысячелетий, вспыхнула война, в которой лирики потерпели полнейшее поражение.

Торжествовавшие победу физики, математики и химики подвергли физическому и химическому уничтожению все, что не имело непосредственного касательства к их наукам. От «лирической скверны» были очищены все библиотеки, музеи и прочие культурно-просветительные учреждения. Напрасно покоренные лирики пытались доказать, что среди

гибнущих книг имеются ценнейшие исследования по истории материальной и духовной культуры Марса. Физики были неумолимы. Даже из оставшейся собственной физической литературы они повывчеркивали все сравнения, эпитеты и метафоры, встречавшиеся, правда, там довольно редко. Картинные галереи, консерватории, даже цирки — все было превращено в просторные физические лаборатории, где представители других наук и профессий первоначально использовались на подсобных работах.

Безраздельное владычество физиков продолжалось несколько тысячелетий. Потом, в период застоя физико-химической мысли, предшествовавшего метеоритной эпохе, вновь пробудился некоторый интерес к нефизическим наукам. Возникло и пышно расцвело подарковедение. Стали по крупницам разыскивать и собирать оставшееся от древности. Но практически ничего не осталось. Правда, среди 56 миллиардов книг, хранившихся в академической библиотеке, случайно удалось обнаружить с десятков гуманитарных произведений. Какие-то хитроумные лирики, чтобы обмануть бдительность физиков, вклеили эти книжки в корешки и обложки от физических трудов. Но даже и эти книги не удавалось прочитать, так как редко встречалась фраза, где бы не было трех, четырех, а иногда и больше непонятных слов и идиом, установить значение которых, пользуясь словарями физического периода, было совершенно невозможно. В библиотеке Академии был создан специальный отдел по расшифровке древней лирической литературы, но дело продвигалось крайне медленно, натываясь на бесчисленные непреодолимые препятствия.

Труды Рига были написаны отличным физическим языком. Очевидно, именно это обстоятельство ослабило в свое время внимание проверочной комиссии, не вычеркнувшей из них ни одной фразы. При тщательной же подготовке текста к переизданию обнаружилось, что в одной из своих работ по определению коэффициента диффузии оптическим методом почтенный ученый позволил себе весьма странное выражение. «Я, — писал он, — проделал сотни опытов с коллиматором, и теперь, подобно древним тидам, могу сказать, что съел на этом деле бусуку». Профессор Ир знал, что «Тид» — это древнейшее название жителей Марса, вытесненное впоследствии словом «ученый», но что такое «бусука», на этот вопрос не мог дать ответа ни один из имевшихся в библиотеке словарей.

Оставить без комментариев это место в статье было невозможно, а объяснить его никак не удавалось. Можно было, разумеется, написать: «Бусука — вид пищи, распространенный во времена древнейших тидов». Но профессор Ир, типичный физик по своему характеру, не терпел никакой неточности и неопределенности. Он решил во что бы то ни стало разгадать тайну этого странного выражения. С этой целью он распорядился произвести осмотр и перепись всех 56 миллиардов книг в библиотеке, надеясь, что среди них обнаружатся новые, не открытые до сих пор издания, которые помогут разрешить загадку. Проверка 25 миллиардов книг не привела пока к положительным результатам.

Собственно говоря, в глубине души профессор сознавал, что, может быть, не стоило проделывать такую огромную работу из-за какой-то одной несчастной строчки. Но вместе с тем эти поиски бусуки принесли ему огромное моральное удовлетворение. Он снова чувствовал себя исследователем, готовым вот-вот прикоснуться рукой к чему-то неизведанному. Исследовательская страсть была в его сердце неистребима. Именно она заставила профессора, когда в его лаборатории истощились запасы метеоритов, притащить туда эти злополучные камни. Он не мог жить, не исследуя, сам процесс поисков доставлял ему безграничное наслаждение.

Разумеется, профессор не просто отдал распоряжение пересмотреть все книги, он сам принимал в этом живейшее участие. Просмотрев утреннюю прессу, подписав два-три приказа, профессор надевал черный рабочий халат и отправлялся в помещение, где хранились наиболее древние книги. Здесь он и проводил целые дни.

«Дипольная молекула...», «Микрофарада...», «Зонная теория проводимости...», «Азимутальное квантовое число...». Профессор не просто берет с полки очередную книгу и открывает на первой попавшейся странице. Так можно и пропустить что-нибудь важное. Ведь в «Наблюдении аномальной дисперсии» Сида среди подлинных страниц этого классического труда были обнаружены сходные по формату вклеенные листы. Их не удалось до конца расшифровать, но речь там идет о какой-то жестокой катастрофе, постигшей древних тидов в пятидесятом тысячелетии до основания Академии. Очевидно, какого-то лирика почему-то заинтересовала эта катастрофа, он постарался уберечь

несколько страничек из подлежавшей уничтожению книги. Такие находки могут быть всюду. И поэтому профессор, держа книгу в правой руке, левой осторожно отгибает все ее листы, а потом постепенно, отводя большой палец, заставляя страницы быстро промелькнуть перед глазами. Книга объемом в шестьсот страниц просматривается таким образом примерно за 45 секунд. За час не удастся проверить больше ста. Дневная выработка профессора равняется тысяче.

«Эффективное сечение молекул...», «Флуктуации силы тока...», «Универсальные физические константы. Выпуск 7». Профессор давно заметил, что на просмотр маленькой брошюры уходит иногда больше времени, чем на солидный том. Страницы толстого тома при отводе пальца быстрее принимают исходное горизонтальное положение, подвергаясь большему пружинящему действию остальных отогнутых листов. Эти «Физические константы» — совсем маленькая книжечка, она перелистывается очень медленно... Наметанный взгляд профессора сразу обнаружил, что на средних листах отсутствуют числа и формулы. Константы без формул и чисел? Здесь что-то неладно. Профессор стал рассматривать брошюру внимательнее. Так и есть! Нумерация страниц не совпадает. После восьмой идет сразу сорок вторая.

Профессору свойственна была исследовательская страсть, но он никогда не горячился, он не терпел торопливости. Когда нужно было изучить привлечший его внимание предмет, профессор действовал методично, он даже становился пунктуален.

Поднявшись в свой кабинет с «Универсальными физическими константами» в руках, профессор положил брошюру на стол, достал стопку бумаги и, усевшись поудобнее, принялся за исследование своей находки. Прежде всего он посмотрел на выходные данные книжки. Брошюра была довольно древняя, она вышла в свет за 153 года до рождения Рига и представляла собой учебное пособие для студентов физико-математических высших учебных заведений. Вставленные в нее 32 страницы в точности соответствовали формату. Сорт бумаги казался тоже одинаковым.

Но уже при чтении первых строк профессор встретился с массой незнакомых слов. Физические константы на вставленных листах были напечатаны в виде отдельных предложений. На первых трех страницах профессор смог

до конца понять только две константы. Одна из них гласила «Капля камень точит». Вторая «Под лежащий камень вода не течет».

Профессор выписал эти слова на отдельный лист бумаги и продолжал чтение. На четвертой странице ему удалось прочитать «Куй железо, пока горячо», «Палка о двух концах» и «Не все то золото, что блестит». На следующих пяти страницах он не смог разобрать ни одной константы. Наконец, на двадцатой ему снова повезло, и он пополнил свой список еще тремя константами «Нет дыму без огня», «Близок локоть, да не укусишь», «Никто не обнимет необъятного».

Профессор отложил в сторону брошюру и задумался. «Универсальные физические константы. Выпуск 7»? То, что ему удалось разобрать, несомненно, имело прямое отношение к физике, но находилось в каком-то явном противоречии с содержанием страниц, предшествующих вставленным. Профессор раскрыл книжку на восьмой странице: «Гравитационная постоянная...» «Объем грамм-молекулы идеального газа при 15° », «Скорость света (в пустоте)». И каждая константа сопровождается неопровержимой формулой и числовым значением. Выписанные же профессором константы лишь регистрируют то или иное, но тоже несомненно постоянное физическое явление: «Палка о двух концах», «Не все то золото, что блестит». Профессор еще раз посмотрел на обложку книжки: выпуск 7. Возможно, эти странные константы не вставлены умышленно, а попали сюда благодаря небрежности при верстке книги в типографии... Возможно, они относились к выпуску первому, где были собраны древнейшие выводы из первичных физических наблюдений. «Не все то золото, что блестит» — это безусловная истина и зачаток спектрального анализа металлов; «Никто не обнимет необъятного» — сжатая формулировка теории относительности; «Куй железо, пока горячо» — итог наблюдений над изменением агрегатного состояния железа при увеличении температуры.

Все это очень интересно и ведет нас к истокам физики. Профессор снова углубился в чтение брошюры, но десять просмотренных им страниц не привели ни к каким результатам. Он понимал значение некоторых отдельных слов, но связать их вместе не удавалось. Как все-таки изменился наш язык и каким безумием было уничтожить все словари!

Наконец, на последней из вставленных страниц профессор Ир сразу же разобрал еще одну константу: «Бусука — лучший друг тида». Несколько секунд он сидел совершенно неподвижно. Потом, преодолев оцепенение, снова весь погрузился в лежавшую перед ним страницу. Одна за другой он выписал еще три константы, подчеркивая незнакомые слова.

БУСУКА ВОЕТ, ВЕТЕР НОСИТ.

ЛЮБИТЬ, КАК БУСУКА ПАЛКУ.

ЧЕТЫРЕ ЧЕТЫРКИ, ДВЕ РАСТОПЫРКИ, СЕДЬМОЙ ВЕРТУН — БУСУКА.

На этом вставные константы заканчивались. Профессор Ир с раздражением посмотрел на следующую страницу. Увы! Здесь уже снова шли знакомые физические постоянные. Удельный заряд электрона!.. Все, что он смог узнать о таинственной бусуке, свелось пока к этим выписанным строчкам, четырём уравнениям с пятью неизвестными.

ИЗ ДНЕВНИКА АКАДЕМИКА АРА

Есть простейшие истины, которые никогда не следует забывать, но они почему-то забываются чаще всего. Сегодня утром, вспоминая все, что произошло со мной вчера ночью, я вдруг почувствовал себя смущенным и озадаченным школьником. Мне вспомнился наш первый урок физики.

Учитель, поставив на стол сосуд с водой и держа в руках термометр, обратился к нам с вопросом: «Кто из вас может измерить температуру воды в этом сосуде?» Мы все подняли руки. Только один мой сосед по парте не поднял руки. Ну и тупица, подумал я. Не может сделать самой простой вещи. Учитель спросил, почему он не вызвался отвечать. И мой сосед сказал: «Я не могу измерить температуру воды, я могу узнать лишь, какова будет температура термометра, если опустить его в воду?» «Разве это не одно и то же?» — спросил учитель. «Конечно, нет, — ответил ученик, — когда я опущу термометр в воду, она станет или немного холоднее, или немного теплее, чем была раньше. Термометр или чуть-чуть охладит ее, или чуть-чуть согреет, разница будет мало заметной, но все-таки температура воды изменится, она будет не такой, какой была до того, как

я опустил в воду термометр». Учитель очень похвалил ученика за его ответ и весь наш первый урок рассказывал о том, с какими трудностями сталкивается физик, когда он хочет достичь точности в своих измерениях. «Никогда не забывайте,—говорил он,— что всякий прибор вмещивается в производимый вами опыт, умейте находить и вносить соответствующую поправку в ваши выводы и расчеты». Простейшая истина, но как часто она забывается. Вероятно, и сейчас я бы не сразу вспомнил о ней, если бы мои вчерашние опыты с футляром и карандашом не показались мне вдруг страшно нелепыми. Я представился себе чем-то вроде термометра, нагретого на спиртовке воображения. Таким термометром, пожалуй, еще можно измерить температуру воды в море, ошибка будет невелика, но ведь Живой — это капля. Живой — это точка, и через нее можно провести бесчисленное количество линий, бесчисленное количество гипотез, и каждая из них будет утверждать, что Живой принадлежит только ей. Если бы в космическом снаряде оказался не один Живой, а несколько, если бы у нас были хотя бы две точки, наши построения, наши выводы носили бы более определенный характер. Мы могли бы установить линию, связывающую двух Живых.

В чем мне хотелось убедиться, когда я пробовал говорить с футляром в зубах? Еще и раньше мне и моим коллегам стало ясно, что основным органом труда, в отличие от наших рук, у Живого должны служить его рот, шея, челюсти, зубы. Зажав в зубах палку или камень, Живой и его сопланетники могли переносить их с места на место, могли складывать в различных комбинациях — это начало трудового процесса, который в конечном счете мог приобрести самые сложные формы, породив все то, что мы называем наукой и техникой. Мои опыты с карандашом убедили меня в том, что, держа карандаш в зубах, можно писать, можно чертить: шея способна осуществить массу самых точных движений, почти не уступая в этом отношении руке. Разумеется, для этого нужно выработать навык. Вспоминая рассказ Кина о том, как Живой принес палку, я отчетливо, зрительно представил себе Живого в процессе труда. И тогда мне показалось, что при таком специфическом характере труда, когда зубы, рот несут рабочую функцию, должны были развиваться какие-то другие формы речи, позволяющие Живому и его собратьям координировать их усилия во время трудовой деятельности. Эта мысль показав-

лась мне очень плодотворной и вытекающей из конкретных наблюдений. Но так ли это? Не возникла ли она по совсем иным причинам?

До сих пор я не могу освободиться от сознания своей невольной вины перед Живым. В первые мгновения нашей встречи это сознание было наиболее остро, сейчас я думаю, что именно оно и продиктовало мне мою гипотезу катастрофы. Ощущал ли Живой что-нибудь катастрофическое в результате столкновения с магнитным лучом, это еще требуется доказать. Но то, что я был потрясен всем происшедшим, это не требует никаких доказательств. Когда я вскрывал космический снаряд, мое воображение было накалено до предела. И таким накаленным термометром я продолжаю оперировать во всех своих выводах. Моя новая гипотеза о том, что Живой не говорит потому, что он обладает другими, неизвестными нам способами речи, не диктуется ли прежде всего моим желанием опровергнуть мою же собственную гипотезу катастрофы? Первая возникла из ощущения вины, вторая порождена стремлением убедить себя в том, что я не причинил Живому вреда.

Как отречься от самого себя в наблюдениях и выводах? Как измерить подлинную температуру Живого? Ведь, если прямо взглянуть в лицо фактам, мы знаем о нем пока только то, что он — живой. Мы затратили десятки тысячелетий на изучение своей планеты. Тысячи поколений ученых проникали в ее тайны. Мы не сможем так долго изучать Живого. Наш опыт ограничен во времени. Тем яснее и отчетливее должны мы представлять себе цели, которые мы преследуем. Слепое вмешательство магнитного луча роковым образом нарушило опыт, который производил Живой.

Какими глазами мы должны смотреть на Живого, чтобы не повторить ошибки наших приборов?

ПИСЬМО ДОКТОРА БЕРА СВОЕЙ ЖЕНЕ

Дорогая Риб! Сегодня на вечернем совещании я собираюсь выступить с весьма ответственным заявлением. Мне не хочется этого делать, не посоветовавшись с тобой, поэтому я решил написать тебе это радиописьмо. Приняв его, передай мне, пожалуйста, все, что ты думаешь по поводу

изложенных в нем мыслей. Мы привыкли понимать друг друга с полуслова, и поэтому я буду конспективно краток, особенно в тех местах, которые не затрагивают сущности моей гипотезы.

Зрение. Слух. Обоняние. Если бы какие-либо обстоятельства поставили нас перед необходимостью отказаться от одного из этих трех чувств, каждый, несомненно, пожертвовал бы обонянием. Потеряв зрение, мы стали бы слепыми, потеряв слух — глухими, потеряв обоняние... Как видишь, в нашем языке даже нет слова, обозначающего этот физический недостаток, настолько малое значение мы придаем обонянию вообще. У нас есть врачи, специальность которых — «ухо, горло, нос». И здесь нос оказывается на последнем месте. Мы говорим, «беречь как зеницу ока», но никому не придет в голову сказать «беречь как свою правую или левую ноздрю». Мы относимся к своему носу без всякого уважения. Многие из нас, вероятно, считают, что нос это вообще всего лишь естественное приспособление для ношения очков. Пренебрежение к носу проявляется уже в детском возрасте. Ребенок никогда не ковыряет у себя в глазу, но вспомни, сколько трудов нам стоило отучить нашего Биба от дурной привычки запускать палец то в одну, то в другую ноздрю. «Подумаешь, что с ними сделается», — отвечал он нам уже в довольно зрелом возрасте. Сама возможность столь грубого вмешательства в деятельность нашего обонятельного органа могла бы навести на мысль о том, что этот орган сконструирован весьма примитивно и далеко не совершенен.

Между тем обоняние, несомненно, оказывает нам некоторые услуги в нашей жизненной и научной практике. Они, однако, не идут ни в какое сравнение с тем, чем мы обязаны зрению и слуху. И если бы потребовалось определить всю нашу цивилизацию, исходя из какого-либо одного органа чувств, мы назвали бы ее зрительной цивилизацией, а определение «зрительно-звуковая» почти исчерпало бы ее характеристику. Менее всего подходило бы к ней название «парфюмерическая».

Чем все это объяснить? Прежде всего тем, что мы обладаем весьма слабо развитым обонянием. До последнего времени я, как и все мы, был уверен в противоположном. Наш нос обнаруживает присутствие миллиардных долей грамма пахучих веществ в одном кубическом метре воздуха. Великолепный прибор, есть чем гордиться! Но вот появляется

Живой, и оказывается, что наше обоняние это не лабораторные весы, а не более чем прикидывание веса на ладони. Дело, разумеется, не в ущемленном самолюбии, а в том, что размеры носа и обусловленная этим необычайная острота обоняния, которую мы наблюдаем у Живого, обязывает нас выработать к нему совершенно особенный подход. Живой — это нос! Живой — это обоняние! Я несколько упрощаю, но истина, несомненно, такова. В сознании Живого, по моим предположениям, главную роль играет не зрительный, не звуковой, а парфюмерический образ предмета.

Я позволю себе отвергнуть или во всяком случае временно отклонить теорию катастрофы, предложенную академиком Аром. Я считаю Живого абсолютно нормальным представителем парфюмерической цивилизации. Мы должны отдать себе отчет в том, каков внутренний мир существа, для которого главным и решающим признаком предмета служит запах. Мы должны стать на ту точку зрения, что Живой видит и слышит носом. Ноздри — это замочные скважины Живого, мы не проникнем в его тайну, пока не подберем к ним ключа. Я не хочу, разумеется, сказать, что зрение и слух не имеют для Живого никакого значения. Но, возможно, они играют в его жизни такую роль, какая в нашей отведена обонянию, то есть весьма второстепенную, почти не участвующую в формировании нашей психики и научных воззрений.

Вот, дорогая моя Риб, примерные наброски того, что я собираюсь сказать, но, разумеется, разбив и уточнив отдельные положения. Я посылаю тебе несколько фотографий Живого, часть из них опубликована в сегодняшнем номере «Академического вестника», другие, видимо, будут напечатаны позднее. Жду твоего ответа.

Твой Бер.

КОРОТКО И ВРАЗУМИТЕЛЬНО

Дорогой Бер! Я внимательно проштудировала твое письмо. Ты отлично исследовал нос Живого. Все твои построения весьма логичны. Но помни, пожалуйста, что гипотеза, когда она забывает о том, что она гипотеза, начинает во-

дить своего создателя за нос. Спасибо за фотографии Живого. Он очень симпатичный, только не донимайте его опытами и исследованиями. Всем привет.

Крепко целую, твоя Риб.

ФОРМУЛА БУСУКИ

1. РИГ СЪЕЛ БУСУКУ.
2. БУСУКА ЛУЧШИЙ ДРУГ ТИДА.
3. БУСУКА ВОЕТ, ВЕТЕР НОСИТ.
4. ЛЮБИТЬ, КАК БУСУКА ПАЛКУ.
5. ЧЕТЫРЕ ЧЕТЫРКИ, ДВЕ РАСТОПЫРКИ, СЕДЬМОЙ ВЕРТУН — БУСУКА.

Первые попытки анализа способны были обескуражить кого угодно. Профессор Ир заменил во второй константе непривычное слово «тид» на равное по значению слово «ученый». Затем, действуя по принципу подстановки, он совершил замену в первой константе. В итоге получился еще более запутанный ряд переходных значений: «Бусука — лучший друг учёного», «Риг съел бусуку», «Риг съел лучшего друга учёного». Все замены произведены правильно, но что же все-таки съел Риг, оставалось совершенно непонятным. Тогда профессор сосредоточился на анализе третьей константы. Прежде всего следовало попытаться установить значение слова «воет». Профессор выписал всю константу на отдельную карточку и направил запрос ученому секретарю отдела остатков древнелирической литературы. Через два дня от секретаря пришел ответ: «Выть, очевидно, означает — сливать свою грусть и печаль в единое слово».

Профессор попросил прислать ему источники, на основании которых был сделан такой вывод. Он получил бланк с отпечатанными на машинке четырьмя строчками.

ХОТЕЛ БЫ В ЕДИНОЕ СЛОВО
Я СЛИТЬ СВОЮ ГРУСТЬ И ПЕЧАЛЬ.
И БРОСИТЬ ТО СЛОВО НА ВЕТЕР.
ЧТОБ ВЕТЕР УНЕС ЕГО ВДАЛЬ.

Далее следовала сноска: «Надпись, сделанная от руки на обратной стороне экзаменационного билета по древнейшему курсу дифференциального и интегрального исчисле-

ния. Значение слова «выть» устанавливаем из анализа контекста, базируясь на симметричном построении константы «бусука воет, ветер носит».

Профессор решил проверить справедливость вывода, сделанного ученым секретарем, и углубился в сопоставления. «Бусука воет, ветер носит». Следовательно, можно предположить, что ветер носит то, что воет бусука. С другой стороны, в присланном фрагменте ветер уносит вдаль, то есть несет, носит слитые в единое слово грусть и печаль. Вывод секретаря показался профессору справедливым. Но древнелирический текст требовал еще дополнительного анализа. Это был первый образец древней лирики, попавший в руки профессора, и он решил досконально проштудировать эти строки, так как, на его взгляд, кое-что в них ускользнуло от внимания ученого секретаря.

ХОТЕЛ БЫ В ЕДИНОЕ СЛОВО
Я СЛИТЬ СВОЮ ГРУСТЬ И ПЕЧАЛЬ.

Древний лирик, отметил профессор, не слил свою грусть и печаль в единое слово, а только хотел это сделать. Практически почему-то такое слияние казалось лирику трудно достижимым. Между тем из текста явствовало, что ветер мог унести грусть и печаль только в таком слитном состоянии; если бы лирик бросал их на ветер порознь, сепаратно, то ни грусть, ни печаль сами по себе не могли подвергнуться уносящему действию ветра. Очевидно, в результате их слияния в единое слово между ними должна была произойти какая-то реакция, порождающая нечто новое, качественно отличающееся от составляющих частей. Не физическая смесь, а химическое соединение. В таком случае лирику необходимо было знать, какое именно количество грусти, соединяясь с каким именно количеством печали, способно образовать новое, легко улетучивающееся соединение. Очевидно, древние лирики и занимались тем, что искали пропорции, в которых следовало сливать различные слова, для того, чтобы полученное целое оказывалось качественно новым. Сделать это удавалось не всегда. Вероятно, тут были свои трудности и секреты.

Между тем третья константа утверждает со всей категоричностью: «бусука воет, ветер носит». Значит, бусука хорошо владела секретами мастерства, и если она сливала свою грусть и печаль в единое слово, то ветер всегда носил образовавшееся соединение. Бусука добивалась успешного

результата не время от времени, а постоянно, так как в противном случае эта ее способность не была бы занесена в число таких же бесспорных констант, как «под лежащий камень вода не течет» или «не все то золото, что блестит». Умение хорошо «выть», точнее, сливать свою грусть и печаль в единое летучее слово, было постоянной отличительной чертой бусуки; следовательно, она должна была считаться выдающимся лириком.

Вывод этот представлялся профессору Иру столь бесспорным, что он решил составить новую таблицу констант; заменив везде «бусуку» на «лирика». Может быть, это несколько упростит проблему других свойств бусуки.

1. РИГ СЪЕЛ ЛИРИКА.
2. ЛИРИК ЛУЧШИЙ ДРУГ УЧЕНОГО.
3. ЛИРИК ВОЕТ. ВЕТЕР НОСИТ.
4. ЛЮБИТЬ, КАК ЛИРИК ПАЛКУ.
5. ЧЕТЫРЕ ЧЕТЫРКИ. ДВЕ РАСТОПЫРКИ. СЕДЬМОЙ ВЕРТУН — ЛИРИК.

Профессора нисколько не смущала некоторая парадоксальность полученных формулировок. Он хорошо знал, что истину следует искать в переплетении противоречий. Во всяком случае, самая сложная и запутанная пятая константа при такой подстановке стала сразу легче поддаваться исследованию.

Четыре четверки + две растопырки + вертун = лирик.

Отсюда можно заключить, что

вертун = лирику — четыре четверки — две растопырки.

Хотя значение слов «вертун», «четверки» и «растопырки» по-прежнему оставалось неизвестным, профессор смело выделал «вертуна». Он исходил из того соображения, что главный отличительный признак предмета или явления чаще всего бывает единичным, а второстепенные выступают в большом количестве. Наличие одного вертуна при четырех четверках и двух растопырках убедительно говорило, что именно вертун воплощает в себе сущность бусуки как лирика.

Однако, что такое «вертун», оставалось непонятно. Профессор хорошо знал, что представляет собой «шатун». Это — часть кривошипного механизма, преобразующего поступательное движение поршня во вращательное движение вала. При конструировании приборов профессору приходилось иметь дело с вертлюгом — соединительным звеном

двух частей механизма, позволяющим одному из них вращаться вокруг своей оси. Вертун, шатун, вертлюг. Весьма возможно, что вертун — это важная деталь лирика, преобразующая внутренние порывы в определенный вид эмоционального движения.

Конечно, это не более чем рабочая гипотеза, но она лишена некоторых фактических оснований. В сложном процессе слияния грусти и печали или радости и веселья в одно слово бусуке, возможно, необходим был специальный орган, вращательное движение которого, подобно стрелке весов, отмечало бы точность взятых пропорций. При отсутствии лирической нагрузки вертун находился в некотором определенном исходном положении.

Вертун позволял бусуке действовать безошибочно, в то время как обыкновенные лирики испытывали неуверенность в своих расчетах, что доставляло им, вероятно, массу огорчений. Профессор Ир чувствовал, что он на верном пути. И хотя ему по-прежнему оставалось непонятно, почему Риг съел бусуку, почему бусука лучший друг ученого и почему она любит палку, профессор, окрыленный уже достигнутыми успехами, не сомневался в том, что упорный анализ приведет его в конце концов к раскрытию истины.

Зараженный примером древних лириков, он даже выразил эту свою уверенность в двух коротких строчках:

Будет формула бусуки,
Не уйти ей от науки.

КТО ПОДАРИЛ ГЛАЗА ЖИВОМУ?

— Мне остается добавить очень немного, — сказал профессор Бер, закрывая объемистую папку с чертежами, таблицами и расчетами, — я хочу закончить тем, с чего начал. Возможно, моя парфюмерическая гипотеза не охватывает всей сложности стоящей перед нами проблемы, возможно, мои выводы покоятся на недостаточно проверенных фактах и потому ошибочны. Но я хотел бы напомнить вам, что произошло в свое время с профессором Гелом. Это забытый, но очень поучительный пример.

Профессор Гел задался целью всесторонне исследовать

влияние солнечной энергии на жизненные процессы. Он располагал огромным количеством фактов. В том числе он запросил у Центрального статистического бюро точную информацию о количестве рождений, приходившихся на каждый день первого тысячелетия академической эры. Сопоставив полученные цифры с соответствующими данными метеорологического архива, профессор Гел пришел к выводу, что рождаемость резко повышается в светлую, солнечную погоду и катастрофически падает в пасмурную, дождливую. Когда он опубликовал результаты своих вычислений, мнения ученых по этому поводу разошлись. Одни утверждали, что профессор Гел не совершил никакого открытия, что это явление было отмечено уже давно. Не случайно, говорили они, на нашем языке «родиться» и «появиться на свет» означает одно и то же. Профессор всего лишь статистически подтвердил эту истину. Задача состоит в том, чтобы найти естественное объяснение такой закономерности. В своей многотомной работе «Мы — дети солнца» профессор Гел изложил ряд гипотез, объединенных единой мыслью: солнечная энергия — источник жизни. Противники взглядов профессора утверждали, что его наблюдения о рождаемости носят случайный характер и необходимо обобщить данные не одного, а нескольких тысячелетий. Приступив к этой работе, они обнаружили, что в результате ошибки электронной счетной машины профессору были в свое время направлены сведения не о количестве рождений, а о регистрации новорожденных родителями. Выводы профессора, таким образом, убедительно свидетельствовали лишь о том, что марсиане и в первом тысячелетии предпочитали выходить из дома не в дождливую, а в солнечную погоду.

Итак, профессор Гел ошибался? Несомненно! Но именно в «Детях солнца» он высказал те мысли, которые легли позднее в основу гелеологии — науки, неопровержимо доказавшей связь деятельности нашего организма с различными моментами солнечного цикла. Я не претендую на то, что моя парфюмерическая гипотеза дает исчерпывающие ответы. Но она заслуживает серьезного рассмотрения.

Академик Ар задал профессору Беру несколько вопросов, а затем спросил у Кина, каково его мнение о парфюмерической гипотезе. Кин сказал, что все это следует тщательно обдумать. Он был чем-то явно расстроен. Вначале он слушал сообщение Бера очень внимательно, делал в своем

блокноте какие-то заметки, казалось, что он готовится к полемическому выступлению, а затем он отложил свой карандаш, и лицо его приняло какое-то отсутствующее выражение. Профессор Бер предполагал, что Кин отнесется к его сообщению со свойственной ему горячностью и запальчивостью. Но Кин хранил молчание до самого конца вечера. Лишь незадолго до того, когда Ар предложил закончить беседу, Кин спросил у профессора: «Уверены ли вы в том, что ваша гипотеза открывает, а не закрывает перед нами пути к Живому?» Бер ответил, что он не совсем понимает этот вопрос. Кин покачал головой и ничего не сказал.

Сейчас, лежа на койке дежурного в комнате Живого, Кин пытался ответить самому себе на мучительные вопросы, которые вызывало у него сообщение Бера. Он размышлял над тем, что практически должна означать парфюмерическая гипотеза, если она справедлива. Отдает ли себе в этом Бер достаточный отчет?

В комнате было темно. Кин знал, что там, у противоположной стены, спит Живой. Кин знал это, но сейчас он не видел его и не слышал. Ничто не выдавало присутствия Живого. Между ним и Кином — пелена мрака. Если зажечь свет, Кин увидит Живого, но увидит ли его Живой, даже если проснется? Что такое для него Кин, если, как предполагает Бер, главным и определяющим признаком предмета в сознании Живого служит парфюмерический образ? Кин понюхал свою ладонь. Ему показалось, что она ничем не пахнет, во всяком случае он не смог уловить никакого запаха. И вот это неуловимое, совершенно неизвестное самому Кину и есть Кин, такой, каким он представляется Живому? Если это так, то они никогда не смогут понять друг друга.

Когда Кин шел на вечернее совещание, ему не терпелось рассказать своим коллегам, к каким потрясающим результатам привели новые опыты с палкой. Кин установил совершенно точно, что Живой принес ему палку не случайно. Это был рискованнейший опыт. Кину пришлось собрать все свои душевные силы, чтобы на него решиться. Когда он, наконец, в первый раз бросил палку, он от волнения закрыл глаза и боялся их открыть. И когда он все же увидел стоявшего перед ним Живого с палкой в зубах, он пришел в буйное ликование. Живой приносил палку двадцать раз. Значит, между ним и палкой была определенная связь. До совещания Кин был уверен в этом. А сейчас?.. Живой мог приносить палку потому, что на ней оставался запах ладо-

ней Кина, связь была между палкой и Кином, а не между палкой и Живым. Парфюмерический образ—в сущности это значит, что Живой навсегда останется на таком же расстоянии от Кина, как та неизвестная планета, с кторой он был: ведь расстояние между живыми существами следует измерять тем, как они способны понимать друг друга. И все-таки Кин чувствовал, что Живой ему близок. Но это всего лишь чувство, оно может быть обманчиво.

Кин беспокойно ворочался, он не мог уснуть. Его продолжали одолевать самые грустные мысли. Неужели Живой останется всего лишь живым метеоритом? Таким же загадочным и чужим, как те камни, которые собраны в коллекциях музея? По своей форме и своему химическому составу они — родные братья гранитам и базальтам в марсианской коре. Кин даже писал когда-то, что если бы у метеоритов был язык, он немногим отличался бы от языка марсианских камней, они легко могли бы договориться друг с другом. Как видно, он сильно преувеличивал значение химического состава. Но то, что камни не могут понять друг друга, так на то они и камни. Впрочем, Кин без всякого стеснения заставлял их разговаривать в своих фантастических историях. Теперь он не сможет этого делать с такой легкостью. Где уж камням говорить друг с другом, если даже живое не имеет общего языка.

Нет, лучше бы профессор Бер не развивал своей парфюмерической гипотезы, лучше бы она не казалась такой убедительной. Гипотеза академика Ара позволяла надеяться, что со временем Живой оправится от шока, но от самого себя, от своей парфюмерической природы он не освободится никогда. И как бы Кин ни любил Живого, а он очень привязался к нему за эти дни, все равно при всем желании Кин не сможет стать парфюмерическим существом, не сможет ощущать мир так, как Живой, и они никогда не поймут друг друга. И все-таки странно, почему даже сейчас, в темноте, в тишине, когда ничего не видно и ничего не слышно, Кин чувствует, что он здесь не один. А ведь ему случалось иногда ощущать одиночество даже в стенах музея, хотя он так любил свои камни, мог разглядывать их часами и думать о них.

Прикасалась ли хоть к одному из этих крохотных осколков далеких планет рука разумного существа? Об этом можно было спорить. И сам Кин был уверен, что среди его камней есть и такие, которые несут на себе отпечатки паль-

цев неведомых цивилизаций. Но он был также уверен и в том, что все эти камни попали на Марс случайно. Это — результаты вулканических катастроф, потрясших затерянные в космосе острова жизни. Это не письма, не вести, не подарки, посланные разумом с одной планеты на другую. Кин часто задумывался над этим. Глядя на собранные им метеориты, он размышлял, а что бы он, Кин, изобразил на камне, который можно было бы направить во вселенную, точно зная, что это каменное письмо попадет на какую-нибудь обитаемую планету. И он не мог найти такого изображения, такой формы, которые могли бы раскрыть мир его чувств перед никогда не видевшими его существами. Он боялся столкнуться с их непониманием. Нет, он не считал других обитателей вселенной невежественными. Наоборот, он исходил из того, что они могут быть наделены весьма богатыми познаниями. Но именно это не позволяло ему остановить свой выбор ни на одной из форм, которые подсказывались воображением. Кина пугала возможность бесчисленных истолкований. И он полагал, что эти же опасения должны были останавливать и жителей других планет. Письмо разумно посылать, только надеясь быть правильно понятым. А что может подкрепить такую надежду?

Вот если бы он мог создать такую вещь, которая была бы способна просто впитать его чувства и потом передать их другим, совершенно независимо от своей формы. Какой бы это был замечательный подарок! Его нельзя было бы истолковать по-разному. Он исключал бы само толкование. Но такой «метеорит» мог быть сотворен лишь из какого-то особенного вещества, наделенного способностью вбирать в себя чувства, хранить их и излучать. Однако такого вещества нет. Во всяком случае его нет на Марсе, и не из такого вещества созданы все собранные Кином камни. Это должно быть живое вещество, подвластное рукам и сердцу художника. Есть ли оно на какой-нибудь из планет во вселенной? Живое вещество, из которого можно было бы изъять живую радость, грусть? Живое вещество, способное на такую степень самоотречения, чтобы стать живым произведением искусства, не только впитавшим в себя чувства, которые вложил в него художник, но и любящим его, художника, этими созданными сотворенными чувствами?

А может быть, Живой создан из такого вещества? Не весь, конечно, а его глаза... Может быть, когда на него, Кина, смотрят такие добрые, такие все понимающие глаза

Живого, то этот взгляд принадлежит не только Живому, но кому-то еще? Парфюмерический образ?.. Уважаемый профессор Бер, теперь вы не хотите ничего видеть дальше кончика носа Живого, этот нос заслонил от вас его глаза. Вы боитесь, вы не умеете в них глядеть, они для вас всего лишь сочетание окружностей.

А Кин смотрел в эти глаза часами, он пытался увидеть в них отражение того, что видели эти глаза там, на той планете, откуда прилетел Живой. Кин много фантазировал, его воображение рисовало самые невероятные картины, но в одном он уверен совершенно твердо: глаза Живого привыкли смотреть в глаза друга, где-то в их глубине запечатлен его образ и он воскресает, когда Живой видит перед собой Кина. И никакой шок не замутил этого взгляда.

Конечно, профессор Бер в чем-то, несомненно, прав. Да, обоняние играет очень важную роль в жизни Живого. Чтобы убедиться в этом, достаточно внимательно наблюдать за ним на прогулках. Кажется, что каждый предмет, как магнит, притягивает его своим запахом. В эти минуты Живой действительно как бы весь подчиняется своему носу, идет у него на поводу. Но стоит только подойти к Живому, обратиться к нему с каким-нибудь словом, и он весь превращается в глаза. Может быть, если бы Марс был обитаемой планетой, если бы он весь был таким, как этот заповедник на Большом Сырте, то для знакомства с ним Живому хватило бы одного носа. Но к одушевленному Живой обращает свой взгляд. И не потому ли так бесконечно выразительны его глаза, что в них нет застывшего отражения мертвых вещей, а есть лишь теплый свет других глаз, которые смотрели на Живого, делясь с ним радостью, печалью, надеждами, сомненьями, ища у него участия и поддержки?

Нос Живого — это его естественное достояние, но глаза — разве они принадлежат только их владельцу? Если они внимательные, умные, добрые, то это потому, что к ним было обращено чье-то внимание, ум, доброта. Глаза — это драгоценные камни, они принадлежат нам, но их искренность и чистота — подарок наших друзей. Кто подарил глаза Живому? И как упростилась бы вся эта загадка, над которой Кин, Бер и Ар ломают себе сейчас голову, если бы можно было с уверенностью сказать, что и сам Живой — это подарок, посланный с какой-то неведомой планеты на другую и случайно попавший на Марс.

Как существо Живой загадочен, он таит в себе много непонятного для нас. Но как подарок — он воплощенная откровенность, именно таким могло бы быть живое произведение искусства, если бы оно вообще было осуществимо.

Разве мы изучаем подарки? Разве нас интересует, из чего они сделаны? Мы ищем, нет, не ищем, а находим в них и ценим особые, не уловимые никакими приборами признаки, которые говорят нам о тех, кто хотел подарить нам частицу самого себя. И как трудно вложить эту частичку в камень, в металл, в дерево. Они покорно принимают ту форму, которую мы желаем им придать, но как ожесточенно сопротивляются, когда мы хотим заставить их перешагнуть грань, отделяющую мертвое от живого, форму от выражения. Кажется, что в одном камне собирается тогда упорство всех камней вселенной, и он, принимая новую форму, отступая под натиском резца и молота, упрямо хранит свое каменное молчание, свое каменное равнодушие ко всему живому.

Но жизнь, комочек жизни в руках художника, уже наделенный способностью чувствовать и выражать свои чувства, разве он не оказывал бы такого же сопротивления, разве он не вступил бы в ожесточенную борьбу за право оставаться самим собой, за право чувствовать и выражать свои чувства по-своему? Сколько времени должна была бы длиться такая борьба? И что надо было сделать, чтобы победить в ней? Каким оружием сражаться? Но как счастлив был бы тот, кто, глядя в глаза Живому, мог бы сказать себе: «Вот капельки жизни, которые не знали, что такое радость и тоска, дружба и одиночество, это я зажег в них мир своих чувств и они способны перенести их в любой уголок вселенной и рассказать обо мне каждому, кто заглянет в них с той ласковой тревогой, с какой все живое должно смотреть в глаза друг другу».

Кто создал твои глаза, Живой? Кто был твоим другом, кого ты видишь, когда с таким доверием смотришь на меня? Ведь не здесь же за несколько дней я завоевал твою любовь? Я еще не успел ничего для тебя сделать такого, чтобы заслужить твою признательность. Но я постараюсь, я не дам тебя в обиду никаким гипотезам, посягающим на нашу дружбу. Я докажу всем... Доказательство — сухое, колючее, недружелюбное слово. Кин тяжело вздохнул. В комнате послышался легкий шорох, и влажный холодный нос Живого уткнулся в свесившуюся с постели руку ученого.

— Профессор, пожалуйста, не забудьте, что вы обещали выступить сегодня на диспуте о живживках,— сказала профессору Иру молоденькая сотрудница отдела звукозаписи, специально в ожидании его прихода караулившая у двери кабинета.

— Я обещал выступить... Но позвольте, я не имею о живживках ни малейшего понятия.

— Это еще раз доказывает, профессор, что вы совершенно оторвались от жизни. Вы, наверное, даже газет не читаете?

Газет профессор Ир действительно ни разу не брал в руки с тех пор, как началась его лихорадочная погоня за бусукой. Он не умел заниматься двумя делами сразу, а ко всякому чтению он привык относиться очень серьезно.

— Но вы же знаете, что я ужасно занят. Через несколько дней мы должны сдать в печать девятый том Рига, а комментарии еще не готовы.

— Но, профессор, вы же обещали выступить...

— Да, я, кажется, что-то действительно обещал, но я думал тогда, что моя работа будет к этому времени уже закончена, а сейчас я решительно не могу.

— Но ваше имя стоит на пригласительных билетах. Получится очень неудобно: библиотека устраивает диспут, все в нем горячо заинтересованы, будет масса студентов, будут живживки, а директора библиотеки не будет. Это нехорошо. Придите и произнесите хотя бы несколько слов!

— Я охотно бы это сделал, но, повторяю, я ничего не знаю об этих живживках.

— Я могу включить ваш радиоприемник, вы прослушаете доклад, вам станет все ясно, а потом вы придете, посмотрите сами на живживок и скажете, что вы о них думаете. Профессор, это совершенно необходимо и займет у вас не больше двадцати минут.

— Ну, раз вы так настаиваете, хорошо, я постараюсь.— Профессор улыбнулся обрадованной сотруднице, вошел в свой кабинет и сразу же погрузился в разложенные на столе бумаги.

За последние дни его изыскания продвинулись довольно далеко. Профессор пришел к выводу, что древние лирики были вынуждены иногда прибегать к иррациональным вы-

ражениям: ведь есть же в математике иррациональные числа. Лирики неизбежно должны были иногда за отсутствием необходимого им слова прибегать к комбинациям слов, где нарушались их обычные, рациональные, осмысленные связи. Так, скажем, описывая сложности, с которыми сталкивался древний тид, пытаясь вычислить длину диагонали квадрата, сторона которого равна одному метру и соответственно $x = \sqrt{2}$, лирик мог бы написать:

Диагональ, диагональ,
Тебя мне жаль, тебя мне жаль,
Из двух квадрат нельзя извлечь,
Бессильны здесь число и речь,
Не все имеет свой предел —
На втом тид бусуку съел.

Здесь выражение «тид съел бусуку» передает иррациональный, практически недостижимый характер извлечения квадратного корня из двух. Профессор посмотрел на толстую папку, где лежала рукопись его работы «Введение к бусуке». По своему объему рукопись во много раз превышала статью Рига. Ясно, что включать всю работу в комментарий не следует. Очевидно, придется выпустить ее отдельным изданием, а в комментарии к сочинению Рига сделать соответствующую сноску: см. «Введение к бусуке» профессора Ира. Это позволит своевременно выпустить в свет сочинение Рига и даст возможность профессору еще некоторое время поработать над своей рукописью, уточнить некоторые формулировки в главе о растопырках.

В правильности своих выводов о четырехках и вертуне профессор почти не сомневался, они естественно вытекали из лирической природы бусуки. Но растопырки продолжали его беспокоить. Что такое растопырки и зачем они нужны лирику, профессор не мог еще сформулировать достаточно точно. Между тем медлить с этим было нельзя, так как «Введение к бусуке» станет настоятельно необходимо сразу же после выхода в свет сочинений Рига. Профессор стал перечитывать раздел о растопырках, но громкий голос докладчика оторвал его от работы. Профессор досадливо поморщился и хотел выключить радио, но, вспомнив свое обещание, вздохнул и стал слушать.

— ...Живявки, — говорил оратор, — болезненное явление в среде нашего студенчества. Мы должны решительно

осудить живживок. Что такое живживчество? Это слепое поверхностное подражание жителям неизвестной нам планеты. Оно размагничивает нашу научную молодежь. (Голос из зала: «Неправда! Это еще требуется доказать!») Я как раз и собираюсь перейти к доказательствам и прошу не перебивать меня выкриками с места. Представители живживок получают слово и смогут высказаться. Некоторые думают, что живживчество — это всего лишь мохнатый беретик с торчащими ушками и пришитая сзади к брюкам или юбке длинная живживка из ворсистой материи. Некоторые утверждают, что это лишь невинные знаки межпланетной солидарности живых существ. Так ли это? Имеем ли мы дело с признаками межпланетной солидарности или, наоборот, с желанием противопоставить себя другим жителям своей собственной планеты?! Я думаю, что последнее гораздо вернее. (Голос из зала: «Неправда! Живживки хорошие товарищи!») Я не отрицаю, что среди живживок есть много хороших студентов, есть даже отлично успевающие по всем предметам и помогающие другим.

И все же я хочу остановиться на поведении живживок. Они дошли до того, что все свое свободное время отдают сочинению песен. Работники библиотеки могут подтвердить, что некоторые живживки часами просиживают в отделе древнелирической литературы. Не странно ли, что появление на нашей планете представителя другого научного мира, воплощающего в себе высшие достижения физики и математики, вызывает почему-то у живживок интерес к древней лирике. Казалось бы, следовало ожидать совершенно противоположного. Поймите меня правильно. Я не против лирики как таковой. Я не пытаюсь воскресить те времена, когда все лирическое подвергалось незаслуженному гонению. Я сам в детстве сочинял считалки и физматки. Чтобы не быть голословным, я даже могу прочесть вам одну из своих физматок. (Голоса из зала: «Не надо! Не надо!»).

Но посмотрите, посмотрите, какую песню сочинили живживки, ее текст очень показателен:

Мы веселые живживки,
живки,
Мы на всех планетах есть,
На лице у нас улыбки,
улыбки,
В них космическая весть.

Жививки в своей песне утверждают, что космическая весть — это улыбка, но на улыбке в космос не полетишь! Я уверен, что полет в космос, осуществленный жителями неизвестной нам планеты, это результат упорной научной работы, а не легковесных песенок и улыбочек. Готовясь к своему сегодняшнему докладу, я специально вновь прочитал все сводки, поступающие в академический вестник с Большого Сырта. В них ничего не говорится об улыбках уважаемого коллеги Живого. Тем более нечего улыбаться нам. Я вижу, что некоторые улыбаются, слыша эти мои слова, но это не мешает мне их повторить, да, нам нечего улыбаться.

Наукой доказано, что нельзя одновременно улыбаться и серьезно мыслить, а мы должны мыслить очень серьезно, наша серьезность должна соответствовать серьезности стоящих перед нами серьезных задач по ликвидации серьезного отставания в области освоения космоса. Пусть представители жививок объяснят нам, чему они улыбаются и долго ли они собираются улыбаться!

— ...Предыдущий оратор закончил свое выступление вопросом, почему мы, жививки, улыбаемся. Я отвечу ему, мы улыбаемся потому, что у нас очень хорошее настроение. Мы очень рады тому, что на нашей планете появилось новое живое существо. Я думаю, что когда наш уважаемый докладчик появился на свет, это тоже доставило всем окружающим радость, а не огорчение. Он говорил о том, что в сводках ничего не упоминается об улыбках почтенного коллеги Живого. Я позволю себе предположить, что когда родился докладчик, он тоже первое время не улыбался, никто не родится с улыбкой на губах, но рождение нового существа вызывает радостную улыбку на лицах других! Мы считаем, что мы должны приветствовать коллегу Живого улыбкой и мы верим в то, что когда-нибудь он улыбнется нам в ответ. (Возглас из зала: «Правильно!»).

Докладчик говорил, что нельзя одновременно улыбаться и серьезно мыслить. Это неверно. Рождение новой мысли ученый приветствует улыбкой! И, может быть, самая счастливая улыбка во вселенной была на лицах создателей космического корабля, когда они увидели торжество своих научных идей.

Докладчику не нравятся наши ушастые береты и жививки. Но пусть он ответит мне прямо: если бы уважаемый

коллега Живой подарил ему такой берет и живживку, отказался бы он их носить или нет? Я думаю, что он счел бы для себя высокой честью принять такой подарок. Возможно, в той части космического корабля, которая не попала на Марс, и были какие-нибудь подобные подарки, которые вез с собой Живой на другую планету. Что же дурного в том, что мы сами решили изготовить себе что-нибудь, постоянно напоминающее нам о Живом, и воспользовались для этого его характерными отличительными признаками? Напомню докладчику то, что известно каждому школьнику: «Подарок есть вещь, изготовленная для другого и несущая на себе отпечаток создавшей его личности». Коллега Живой не мог нам ничего подарить, мы сделали эти подарки сами. Сейчас мы думаем о том, какой приготовить подарок Живому от имени марсианского студенчества. Мы объявили конкурс на лучший подарок и предлагаем всем принять в нем участие.

— ...На нашем диспуте,— профессор Ир узнал голос молодой сотрудницы отдела звукозаписи,— обещал выступить директор библиотеки и издательства. Мы должны прислушаться к мнению старших товарищей... Я думаю, что профессор Ир...

Но сам профессор Ир решительно не знал, что и думать об этой странной дискуссии. Ему ясно было только то, что какие-то молодые люди в чем-то подражают в своей одежде космонавту, над изучением которого работает группа академика Ара. Но профессор был так увлечен все это время проблемой бусуки, что совсем перестал интересоваться сообщениями с Большого Сырта. «Пусть каждый занимается своим делом»,— такого правила профессор Ир придерживался с юношеских лет и никогда в этом не раскаивался. Однако надо все-таки спуститься в зал. Надо посмотреть на этих живживок. Во всяком случае, выступление их представителя пришлось профессору по душе. Конечно, он воздержится от того, чтобы навязывать кому бы то ни было свое мнение. Ну что может он, профессор Ир, сказать им полезного об этих самых живживках? В разгоревшемся в зале споре чувствуется, что обе стороны вкладывают в эту полемику весь жар своей души. И профессор, наверное, также бы горячился, если бы и перед ним стоял вопрос, носить ему эту живживку или нет. Но увы, он уже вышел из того возраста, когда фасон и покрой его брюк могли вызывать в нем какое бы то ни было волнение. А вот

насчет улыбки живживки, несомненно, правы. Тут он хотел бы их поддержать. Но надо это сделать как-нибудь потоньше, поделкатнее, чтобы никого не обидеть.

Выйдя из лифта, профессор направился по коридору к актовому залу, где происходила дискуссия. Но, не доходя нескольких шагов до двери, он вдруг остановился как вкопанный перед большим объявлением: «Все на дискуссию о живживках!» С листа бумаги прямо на него в упор смотрела... бусука! Четырки, вертун и злополучные загадочные растопырки—все мгновенно встало на свои места. Профессор распахнул двери, как вихрь, ворвался в зал, метнулся к представителям живживок, сорвал с первого же попавшегося ему под руку ушастый беретик и с торжествующим криком бросил его в воздух!

ЭПИЛОГ

РАЗГОВОР НА ПЛОЩАДИ ИМЕНИ ЖИВОГО

— Значит, он все-таки участвовал в создании межпланетного корабля?

— Да, несомненно, я мог бы назвать его нашим главным советчиком.

— Маэстро Кин тоже был в этом уверен. Они были неразлучными друзьями. После шести месяцев наблюдений академик Ар сказал: «Кин, вы—та среда, в которой Живой чувствует себя лучше всего, и он должен всегда оставаться с вами». Но в городе Живой очень грустил, и тогда было решено перенести Музей необычайных метеоритов сюда, на Большой Сырт. Живой прожил здесь двенадцать лет. Его все очень любили, он был веселый и добрый. Но иногда он тосковал, особенно в звездные ночи, он садился, прижимал к себе задние четыре и выл тихо и протяжно. Один маэстро Кин мог его тогда успокоить. Когда Живой заболел, его лечили наши лучшие доктора, они лечили его долго, но не смогли вылечить. Маэстро Кин очень боялся, что он не сумел окружить Живого всем необходимым и Живой умер от тоски.

— Нет, он умер от старости.

— Сначала мы хотели поставить ему очень большой памятник, чтобы он был виден издалека. Но ведь вы знаете,

Живой был невысокого роста, и поэтому маэстро Кин сказал, что статуя должна быть такой, каким был Живой, чтобы и через тысячи лет те, кто будет на него смотреть, видели его таким, каким мы его знали.

Маэстро Кин отобрал для статуи самый лучший метеоритный камень из сокровищницы своего музея. Он говорил, что статую надо обязательно изваять из метеорита, в память о том, что Живой пришел к нам из космоса. Было очень много проектов и памятника и постамента. Но в конце концов остановился на этом. На больших постаментах Живой смотрел на нас свысока, а это было не в его характере.

Вы хотели знать, что здесь написано? Эти несколько строк сочинила одна школьница:

ОН БЫЛ ВЕСЕЛЫЙ, ГРУСТНЫЙ И ЛОХМАТЫЙ,
ГОНЕЦ ВЕНЕРЫ ИЛИ СЫН ЗЕМЛИ,
ОН БЫЛ ВО МНОГО РАЗ СЛОЖНЕЙ, ЧЕМ АТОМ,
ВСЕХ ТАИН ЕГО ПОСТИЧЬ МЫ НЕ СМОГЛИ.
ОН БЫЛ СЛОЖНЕЕ И ГОРАЗДО ПРОЩЕ,
ДОВЕРЧИВЫЙ, ЖИВОЙ МЕТЕОРИТ.
МЫ В ЧЕСТЬ НЕГО НАЗВАЛИ ЭТУ ПЛОЩАДЬ.
ОН БЫЛ ЖИВОЙ. ЗДЕСЬ ПРАХ ЕГО ЗАРЫТ.

Высокий космонавт подошел к гранитному постаменту, ласково потрепал каменную голову собаки, потом вынул из петлицы комбинезона красный цветок и бережно положил его к ногам Живого.

Я ПРИЗНАТЕЛЕН АКАДЕМИКУ АРУ...

Есть ли жизнь на Марсе? Возможна ли «война между физиками и лириками»? Существует ли на какой-либо из планет «парфюмерическая цивилизация»? Прочитав маленькую юмористическую повесть «Четыре четвёрки», где, как принято говорить, «затрагиваются все эти вопросы», я не задумывался ни над одним из них. Очевидно, менее всего беспокоили они и самого автора, и Марс понадобился ему все-

то лишь как традиционная сценическая площадка, на которой испокон веков происходят разные фантастические события.

Марсиане, с которыми я познакомился, не похожи на тех с толочкой до ног механизированных завоевателей, которые смотрели на меня со страниц давно прочитанных книг. И я был признателен и академику Ару, и профессору Беру, и маэстро Кину за то, что они окружили таким вниманием и заботой случайно попавшую к ним в гости нашу земную собаку. Временами мне даже хотелось помочь им вывести их из тех заблуждений, в которые каждый из них попадал, «абсолютизируя» свою гипотезу и считая, что именно он нашел единственно правильный путь к решению загадки Живого. Но Живой в повести — это не только живой организм, но и подарок от земной человеческой жизни, причем именно такой, которая руководствуется высокими принципами. Кстати, к этому выводу постепенно приходят и герои повести, преодолевая свои ошибки и заблуждения. Над этими ошибками можно смеяться — особенно над выкладками профессора Ира, но в чем-то они поучительны и для нас. И, радуя за сотрудничество всех наук, за то, чтобы ученый имел широкий взгляд на мир, а не замыкался только в узких рамках своей профессии (помнится, еще Герцен писал об этом), автор повести защищает идею, дорогую сердцу каждого, кто имеет дело с подготовкой молодых специалистов, начинающейся, собственно говоря, со школьной скамьи.

В повести звучат любовь к жизни и глубокое уважение к науке, все отрасли которой в конечном счете служат защите и сохранению жизни, — в этом их великое, нерасторжимое единство.

В. В. ПАРИН, профессор,
действительный член
Академии медицинских наук СССР.

Артур Кларк

Артур Чарльз Кларк — один из крупнейших писателей-фантастов современной Англии. Английская литературная критика рассматривает его как современного Уэллса, отмечая особо его способность просто и увлекательно излагать сложнейшие философские и научные проблемы наших дней. Возможно, оценка эта несколько преувеличена, но факт остается фактом: по художественному мастерству, по серьезности подхода к научной стороне фантастики, наконец, по знанию материала и мощи воображения Артур Кларк бесспорно занимает выдающееся место среди западных фантастов.

Артур Кларк родился в 1917 году в Майнхед и окончил Лондонский королевский колледж по отделению математики и физики. Во время войны служил в ВВС, специализируясь на радарной технике. С 1949 года и до последнего времени он был председателем Британского общества межпланетных сообщений и членом как Королевского астрономического общества, так и Королевской ассоциации астрономов, двух ведущих государственных организаций в области астрономии. Сейчас он живет на Цейлоне и является Президентом Цейлонского астрономического общества.

Литературная деятельность А. Кларка началась с 1947 года, когда он выступил с первыми рассказами. С тех пор А. Кларк написал (не считая рассказов) более десяти крупных научно-фантастических романов и повестей, привлекающих читателя реалистичностью и глубоким знанием материала, а также более десяти научно-художественных произведений, большая часть которых может считаться классикой в этом жанре. В 1961 году А. Кларку за популяризацию науки была присуждена международная премия Калвини.

ПО ТУ СТОРОНУ НЕБА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГРУЗ

До сих пор помню, какое возбуждение царило в 1957 году, когда Советский Союз запустил первые искусственные спутники и сумел подвесить здесь, за пределами атмосферы, несколько фунтов приборов. Конечно, я тогда был ребенком, но как и все вечером спешил на улицу, старался рассмотреть крохотные светила, которые мелькали в сумеречных небесах над моей головой, на высоте сотен миль. Странно, как подумаешь, что некоторые из них летают до сих пор, но теперь они подо мной, и чтобы увидеть их, надо смотреть вниз, на Землю...

Да, многое переменялось за последние сорок лет. Иногда я начинаю даже опасаться, что для вас там, на Земле, космические станции нечто само собой разумеющееся, и вы забываете, сколько умения, знаний, отваги понадобилось, чтобы создать их. Часто ли вы задумываетесь над тем, что все ваши международные телефонные разговоры и большинство телевизионных программ передаются тем или иным спутником? И часто ли вспоминаете добрым словом здешних синоптиков, благодаря которым прогнозы погоды перестали быть предметом острот (как было во времена наших дедов) и попадают в самую точку в девяноста девяти случаях из ста?

Да, не сладко нам приходилось, когда я начинал работать на дальних станциях... Мы гнали, торопились закончить сборку и ввести в действие миллионы новых телевизионных и радиоканалов, которые должны были открыться, как только в космосе появится аппаратура, способная послать направленную передачу в любую точку земного шара.

Первые искусственные спутники летали сравнительно низко над Землей, тогда как три станции, образующие великий треугольник «Релейной Цепи», нужно было разместить на высоте двадцати двух тысяч миль, строго над экватором, на равном расстоянии друг от друга. На этой — и только на этой — высоте полный виток занимал бы ровно сутки, таким образом они всегда оставались бы над одной и той же точкой вращающегося земного шара.

Мне довелось поработать на всех трех станциях, но начинал я на «Второй Релейной». Она расположена почти точно над Энтеббе в Уганде, обслуживает Европу, Африку и большую часть Азии. Ныне это огромное сооружение, несколько сот ярдов в поперечнике, которое одновременно шлет на свое полушарие тысячи программ, обеспечивая полмира радиосвязью. Но когда я впервые увидел станцию из иллюминатора транспортной ракеты, которая доставила меня на орбиту, она больше всего напоминала плывущую в космосе гору металлолома. Готовые части парили вперемешку, как попало, и казалось, из этого хаоса никогда не возникнет порядок.

Жилые помещения для технического персонала и монтажников были примитивны: несколько отслуживших срок транспортных ракет, с которых сняли все, кроме регенераторов воздуха. Мы их окрестили «скорлупами»; каждому человеку было отведено минимально необходимое пространство для него самого и двух-трех кубических футов личного имущества. Забавно, не правда ли: живешь среди безграничного космоса, а тебе даже повернуться негде!

Понятно, мы пришли в восторг, услышав, что нам отпущены герметичные квартиры со всеми удобствами, включая душ с игольчатыми форсунками, работающий даже там, где вода — как и все остальное — невесома. Если вы не жили сами на борту набитого битком космического корабля, вам не понять, как это дорого. Наконец-то мы выбросим губки для обтирания и вспомним, что такое настоящая чистота!

И ведь нам обещали не одни только души. К нам с Земли летела надувная комната отдыха, в которой свободно могли разместиться восемь человек, библиотека с микрофильмами, магнитный бильярдный стол, портативные шахматы и прочие новинки для истомившихся космонавтов. Одна мысль обо всех этих удобствах делала наше спазматическое существование в «скорлупах» просто невыносимым,

хотя каждый из нас получал тысячу долларов в неделю за то, чтобы выносить его.

Покинув «Зону Второй Заправки», расположенную на высоте двух тысяч миль над Землей, долгожданная ракета с драгоценным грузом должна была за шесть часов дойти до нас. Я в это время был свободен от работы и прильнул к телескопу, у которого проводил большую часть своего скудного досуга. Было невозможно пресытиться изучением огромной планеты, висевшей в пространстве рядом с нами; если настроить телескоп на максимальную мощность, то впечатление такое, словно лишь несколько миль отделяет вас от поверхности Земли. При хорошей видимости, когда не было облаков, отчетливо различались объекты размером с маленький дом. Мне не довелось посетить Африку, однако я очень хорошо с ней ознакомился в свободное время на «Второй Релейной». Вы можете не поверить, но я часто видел в степи движущихся слонов, а огромные стада зебр или антилоп и подавно легко было различить — они перемещались на широких просторах резерватов, будто ожившие волны. Но больше всего я любил смотреть, как над горами в сердце континента занималась заря. Солнечный свет могучей полосой шел через Индийский океан, и новый день затмевал крохотные галактики городов, мерцающие во мраке подо мной. Задолго до того, как лучи светила дотягивались до окружающих равнин, вершины Килиманджаро и Маунт-Кения начинали сверкать, точно алмазные звезды в окружении ночи. Но солнце поднималось все выше, и день стремительно скатывался по склонам, наводняя светом долины. Я видел Землю в первой четверти, затем наступало «полноземие».

Двенадцать часов спустя можно было наблюдать все в обратном порядке, и те же вершины улавливали последний луч заходящего солнца. Некоторое время они еще сияли над узкой полосой сумерек, потом Земля, вращаясь, уходила во мрак, и над Африкой спускалась ночь...

Но сейчас меня занимала не красота земного шара. Я вообще не глядел на Землю, а только на бело-голубую звезду над западной каймой планетного диска. Транспортный корабль-автомат находился в тени Земли, и я видел жаркое пламя его ракетных двигателей, которые несли корабль на высоту двадцати тысяч миль.

Мне так часто приходилось следить за подходом ракет, что я знал наизусть все их маневры. И когда я заметил,

что ракетные двигатели, вместо того чтобы потухнуть, продолжают ярко светиться, мне тотчас стало ясно: что-то не так. С чувством бессильной ярости и отчаяния наблюдал я, как все наши долгожданные удобства — и, что хуже всего, наша почта! — набирая скорость, устремляются по непредусмотренной орбите. Автопилот отказал. Будь на борту человек, он взял бы на себя управление и выключил двигатели, теперь же все горючее, припасенное для возвращения, обратилось в непрерывный поток энергии.

К тому времени, как баки опустели и далекая звезда, погаснув, пропала из поля зрения моего телескопа, следящие устройства уже подтвердили то, что я и без того знал. Транспорт летел слишком быстро, чтобы земное тяготение могло удержать его, он мчался в космические дебри за Плутоном...

Мы надолго пали духом, а тут еще кому-то из вычислительного центра пришлось в голову рассчитать, что будет дальше с заблудившимся транспортом. Ведь в космосе ничто не пропадает безвозвратно. Определите орбиту ракеты, и до окончания времен будет известно, где она находится в каждый момент. И глядя на то, как наша комната отдыха, наша библиотека, наши шахматы, наша почта удаляются по направлению к периферии солнечной системы, мы знали, что в один прекрасный день все вернется, вернется в полной сохранности. Если у нас будет наготове корабль, ничего не стоит перехватить транспорт, когда он снова приблизится к Солнцу — ранней весной 15 862 года нашей эры.

ПЕРНАТЫЙ ДРУГ

Насколько мне известно, никто не издавал постановлений, запрещающих держать на космических станциях комнатных животных. Просто никому не приходило в голову, что такое постановление необходимо; но если бы даже запрет существовал, я уверен, что Свен Ульсен все равно пренебрег бы им.

Вы, конечно, представляете себе Свена этаким северным богатырем — рост шесть футов шесть дюймов, телосложение быка и соответствующий голосина. Будь это так, он вряд ли мог бы рассчитывать на работу в космосе; на деле

Свен, подобно всем «космачам» той поры, был жилистый коротышка, и ему не стоило никакого труда держаться в пределах 150-фунтовой весовой нормы, которая многих из нас вынуждала соблюдать голодную диету.

Свен был один из наших лучших монтажников, он отлично справлялся со своей работой, требующей искусных рук и особого навыка: ловить свободно парящие фермы того или иного комплекта, дирижировать своеобразным замедленным балетом в трех измерениях, в итоге которого фермы занимали предназначенное им место, и сваривать узлы, когда все части подогнаны в точном соответствии с чертежами... Я мог подолгу смотреть, как его бригада собирает космическую станцию, точно огромную мозаику. А работа была не только замысловатая, но и утомительная: космический скафандр — далеко не самая удобная спецодежда. Зато у людей Свена было большое преимущество перед высотниками, которые на Земле строят небоскребы. Они могли отойти назад и полюбоваться произведением своих рук, не опасаясь, что тяготение тотчас разлучит их с ним...

Не спрашивайте меня, почему Свен решил завести комнатное животное и чем объяснить его выбор. Я не психолог, но должен признать, что он выбрал очень разумно. Клерибел практически не занимала места, ее паек представлял собой бесконечно малую величину, наконец, она — в отличие от большинства других животных, очутись они на ее месте, — нисколько не страдала из-за невесомости.

Впервые я обнаружил присутствие на борту Клерибел, когда, сидя в закутке, смея ради именуемом моей конторой, проверял по спискам наличие в подведомственном мне техническом складе, чтобы знать, какие артикулы на исходе. Услышав над самым ухом мелодичный свист, я решил, что включилась внутренняя селекторная связь, и стал ждать объявления. Но объявления не последовало, зато прозвучала такая долгая и затейливая трель, что я рывком поднял голову, совершенно забыв о металлическом кронштейне в стенке за моей спиной. И когда звезды перестали взрываться у меня перед глазами, я впервые увидел Клерибел.

Крохотная желтая канарейка неподвижно висела в воздухе — совсем как колибри, с той разницей, что ей это не стоило никаких усилий, прижатые к туловищу крылышки отдыхали. С минуту мы глядели друг на друга, затем,

прежде чем я успел окончательно прийти в себя, она исполнила в воздухе этакое заднее сальто, которого ни одна земная канарейка не сумела бы повторить за ней, и исчезла, легонько взмахнув крыльями. Было очевидно, что она великолепно освоилась с отсутствием тяготения и не одобряла лишних усилий.

Свен долго не признавался, что он хозяин Клерибел, а потом это потеряло всякое значение, потому что она стала всеобщей любимицей. Он провез ее контрабандой с Земли на последней транспортной ракете, возвращаясь из отпуска,— отчасти, по его словам, из чисто научного интереса. Дескать, захотелось узнать, как поведет себя птица, утратив вес, но сохранив свои крылья.

Клерибел чувствовала себя отлично и поправлялась. В общем-то нам не стоило большого труда прятать недозволенного гостя, когда с Земли являлись Высокопоставленные Персоны. На космической станции несметное количество укромных уголков. Единственное затруднение было связано с тем, что Клерибел в минуту волнения становилась довольно шумной особой, и нам не раз приходилось на ходу придумывать объяснение странному писку или свисту, который вырывался из вентиляционных шахт или складских чуланов. Порой все висело на волоске, но кому придет в голову искать на космической станции канарейку?!

У нас была установлена двенадцатичасовая вахта — не так страшно, как это может показаться, потому что в космосе потребность в сне невелика. Разумеется, когда постоянно купаешься в лучах солнца, «день» и «ночь» не существуют, но все-таки мы соблюдали привычное деление суток. И уж во всяком случае, когда я проснулся в то «утро», ощущение было в точности, как в шесть утра на Земле: ноющая головная боль и смутные воспоминания о беспорядочных, путаных сновидениях. Прошла вечность, прежде чем я освободился от предохранительных ремней. Я еще не пришел как следует в себя, когда присоединился в столовой к остальной части дежурной смены. Завтрак проходил в непривычном молчании, одно место за столом пустовало.

— Где Свен? — спросил я довольно равнодушно.

— Ищет Клерибел, — ответил кто-то. — Говорит, куда-то запропастилась. Обычно она будит его по утрам.

Не успел я заметить, что она будит и меня тоже, как вошел Свен, и по его лицу сразу было видно, что случилась

беда. Он осторожно раскрыл ладонь — на ней лежал желтый комочек, печально торчали в воздухе две лапки с поджатыми когтями.

— Что с ней? — спросили мы.

Душераздирающее зрелище всех одинаково потрясло.

— Не знаю, — угрюмо ответил Свен. — Вот, нашел ее в таком состоянии...

— Ну-ка поглядим, — сказал Джок Дункан, наш повар-врач-диетолог.

Мы ждали, примолкнув, пока он, поднеся Клерибел к уху, пытался уловить биение сердца.

Джок покачал головой.

— Ничего не слышу. Но это еще не значит, что она мертва. Мне не приходилось прежде выслушивать канареек, — добавил он виновато.

— Дать ей глоток кислорода, — предложил кто-то, показывая на перепоясанный зеленой полоской аварийный баллон в нише возле двери.

Все согласились, что это отличная мысль, и Клерибел аккуратно накрыли маской, которая вполне могла заменить ей кислородную палатку.

К нашему облегчению, птаха тотчас ожила. Сияя всем лицом, Свен убрал маску, Клерибел вскочила на его палец, издала свои обычные трели на мотив «В камбуз, ребята!» — и тут же опять упала лапками кверху.

— Ничего не понимаю, — пожаловался Свен. — Что с ней такое? Никогда еще она так себя не вела.

Уже несколько минут что-то тихонько копошилось в моей памяти. В то утро мое сознание действовало очень вяло, я никак не мог окончательно сбросить оковы сна. Не мешало бы и мне кислорода вдохнуть... Но прежде чем рука дотянулась до маски, меня осенило. Я резко повернулся к дежурному инженеру:

— Джим! Что-то не в порядке с воздухом! Вот почему Клерибел не выдерживает. Я только что вспомнил: шахтеры в прошлом брали с собой канареек под землю, они предупреждали их о появлении газа.

— Вздор! — ответил Джим. — Приборы давно подняли бы тревогу. У нас параллельная сигнализация, работает независимо.

— Гм... Вторая система еще не включена, — напомнил ему помощник.

Джим переменялся в лице и молча исчез из столовой; мы стояли, толкуя о случившемся и передавая друг другу кислородный баллон наподобие трубки мира.

Джим вернулся через десять минут, и вид у него был слегка пришибленный. Случилось то, чего никто не мог предвидеть, несколько совпадений одновременно: ночью было солнечное затмение — мы попали в тень Земли (что случалось очень редко), замерзла одна из секций регенератора воздуха и не сработала единственная действующая сигнализация. Электронные и химические аппараты стоимостью в полмиллиона долларов подвели нас. Не будь Клеибел, мы очень скоро отправились бы к праотцам.

Так что если вы попадете на космическую станцию, не удивляйтесь, неожиданно услышав птичьи трели. Никакого повода для беспокойства, напротив: это будет означать, что вы застрахованы вдвойне, притом практически без дополнительных расходов.

СДЕЛАЙТЕ ГЛУБОКИЙ ВДОХ

Я уже давно заметил, что люди, которые никогда не покидали Землю, находятся в плену неверных представлений об условиях в космосе. Так, всякий «знает», что человека, очутившегося без скафандра в безвоздушном пространстве за пределами атмосферы, ожидает мгновенная страшная смерть. В популярной литературе вы найдете множество кровавых описаний, как взрываются космонавты, и я не буду портить вам аппетит пересказом. Кстати, в основе многие из этих рассказов справедливы. И мне самому приходилось в последний момент вытаскивать из воздушного шлюза растяп, которые не заслуживали славного звания космонавтов.

Но ведь из всякого правила есть исключение, так и тут. Мне ли не знать — на себе испытал!

Мы заканчивали монтаж «Второго Релейного Спутника»; все главные узлы были собраны, жилые помещения герметизированы, и станции придали медленное вращение вокруг собственной оси, восстановив ощущение тяжести, от которого мы успели отвыкнуть. Я сказал «медленное», однако обод нашего двухсотфутового колеса вращался со ско-

ростью тридцати миль в час. Движения мы, понятно, не замечали, но центробежная сила, вызванная вращением, вернула нам около половины нашего земного веса. Этого оказалось достаточно, чтобы предметы перестали произвольно парить в пространстве, и вместе с тем мы не чувствовали себя слишком уж неповоротливыми после многих недель полной невесомости.

В ту ночь, когда это произошло, наша четверка спала в тесной цилиндрической кабине, известной под наименованием «Шестого Кубрика». Она находилась на самом краю обода станции. Представьте себе велосипедное колесо, у которого шину заменяет гирлянда сосисок, ну так вот — «Шестой Кубрик» был одной из «сосисок», и мы мирно дремали внутри нее.

Разбудил меня внезапный толчок — не такой сильный, чтобы я встревожился, но, во всяком случае, я сел на койке, недоумевая, что случилось. На космической станции любое необычное явление требует немедленной проверки, и я нажал тумблер возле койки, включая внутренний селектор.

— Алло, Центральная, что случилось?

Никакого ответа, линия не работала.

Серьезно обеспокоенный, я соскочил с койки — и испытал еще большее потрясение: *тяготение отсутствовало*. Я взлетел к потолку, но успел схватиться за стойку и остановить полет, растянув руку.

Не может вся космическая станция вдруг перестать вращаться. Ответ мог быть лишь один... Выход из строя селектора и — как я тотчас обнаружил — осветительной сети открыл нам страшную истину: мы не составляли больше части станции, каким-то образом наша кабина оторвалась, и ее швырнуло в пространство подобно тому, как отлетает, упав на вращающийся маховик, дождевая капля.

Иллюминаторов не было, наружу не выглянешь, однако мы не сидели в кромешной тьме — включилось аварийное освещение, работающее от батарей. Клапаны воздушной магистрали автоматически замкнулись, едва стало падать давление, и мы могли бы некоторое время существовать в нашей маленькой атмосфере, хотя она и не обновлялась. Увы, непрекращающийся свист дал нам понять, что воздух, которым мы располагаем, уходит в какую-то пробойну.

Можно было только гадать, какова судьба космической станции. Не исключено, что все сооружение разбито вдребезги и наши товарищи либо погибли, либо находятся в

столь же незавидном положении, как и мы, лезя через космос в дырявых банках с воздухом... Наша единственная, очень слабая надежда заключалась в том, что мы одни оказались жертвами крушения, что станция в остальном цела и за нами послан спасательный отряд. Все-таки мы удалялись со скоростью не больше тридцати миль в час, и любой из реактивных скутеров мог за несколько минут догнать нас.

В действительности на это потребовалось около часа, хотя если бы не мои часы, я никогда бы не поверил, что нас нашли так быстро. Мы уже начали задыхаться, всего лишь одно деление отделяло от нуля стрелку прибора на нашем единственном аварийном кислородном баллоне...

Стук в обшивку прозвучал для нас словно сигнал из другого мира. Мы отчаянно застучали в ответ, мгновение спустя к нам донесся глухой голос. Кто-то снаружи прижался шлемом скафандра к металлу обшивки, и простейшая звукопроводимость позволяла нам слышать его. Не так отчетливо, как радио, разумеется, но понять можно.

Пока шел военный совет, стрелка манометра медленно ползла к нулю. Прежде чем нас отбуксируют к станции, мы будем мертвы... Но спасательный корабль рядом, в нескольких футах от нас, его воздушный шлюз открыт, вся задача в том, как пересечь эти несколько футов без скафандра.

Мы очень тщательно все подготовили, снова и снова разбирали предстоящие действия, отлично понимая, что бисировать не придется. В заключение сделали по последнему глубокому вдоху из кислородного прибора, очищая легкие. И когда все приготовились, я постучал в стенку, давая сигнал нашим друзьям.

Прерывистый стрекот... Это механические инструменты принялись обрабатывать тонкую скорлупу кабины. Зная, что последует, мы изо всех сил ухватились за стойки, стараясь держаться подальше от будущего входа. Все произошло настолько быстро и внезапно, что сознание было бессильно регистрировать последовательность событий. Кабина словно взорвалась, меня обдал могучий вихрь, последние остатки воздуха вырвались из легких через непроизвольно открывшийся рот. А затем — предельная тишина и алмазы звезд в зияющем отверстии, которое обозначало путь к жизни.

232 Уверю вас, мне некогда было анализировать свои ощу-

щения. Кажется (хотя я отнюдь не уверен, что все это не плод воображения), я ощутил резь в глазах, я словно иголки кололи все тело. И было очень холодно, возможно потому, что тотчас началось испарение влаги с поверхности тела.

Единственное, что я помню совершенно точно, — это жуткая тишина. На космической станции не бывает полного безмолвия, всегда рокочит двигатели или шумят воздушные насосы. А тут — абсолютная тишина вакуума, пустоты, где нет ни одной частицы воздуха, которая могла бы переносить звук.

Мы почти одновременно бросились в брешь в корпусе, под лучи пылающего солнца. Меня тотчас ослепило, но это не играло роли, потому что спасатели в скафандрах сразу же подхватили нас и толкнули в переходную камеру. По мере того, как в ней накапливался воздух, постепенно возник звук, и мы вспомнили, что здесь можно дышать. Потом нам рассказали, что вся операция длилась двадцать секунд..

Итак, мы оказались членами-учредителями клуба «Глотателей Пустоты». Впоследствии не менее дюжины человек в подобных обстоятельствах проделали то же самое. Рекорд пребывания в пустоте равен теперь двум минутам; затем кровь начинает пузыриться, так как закипает при температуре тела, и пузырьки быстро попадают в сердце.

Для меня последствия оказались минимальными. С четверть минуты пробыл я в лучах настоящего солнца, а не того хилого сияния, которое просачивается сквозь земную атмосферу. Глоток космоса не принес мне ни малейшего вреда, но загорел я так, как никогда в жизни не загорал.

КОСМИЧЕСКАЯ СВОБОДА

Полагаю, мало кто из вас способен представить себе, как жили люди, прежде чем релейные спутники дали нам действующую ныне систему всемирной связи. В моем детстве было невозможно передавать телевизионные программы через океан, даже обеспечить надежную дальнюю радиосвязь, не подцепив по пути богатой коллекции шумов и разрядов. А теперь свободные от помех каналы для нас самое есте-

ственное дело, мы ничуть не удивляемся, когда видим друзей на противоположном конце земного шара так же отчетливо, как если бы стояли лицом к лицу с ними. И ведь это факт, что без релейных спутников рухнула бы вся система мировой индустрии и торговли. Не будь космических станций и нас, передающих деловые послания вокруг шарика, смогла ли бы хоть какая-нибудь из ведущих мировых экономических организаций сопрягать разбросанные по всему миру центры «электронного мозга»?

Но когда мы в конце семидесятых годов заканчивали создание «Релейной Цепи», все это было еще делом будущего. Я уже рассказывал о некоторых наших проблемах и заключениях; они были достаточно серьезны, однако в конечном счете мы одолели все трудности. Три станции в космосе вокруг Земли перестали быть беспорядочным нагромождением ферм, воздушных баллонов и герметичных пластиковых кабин. Кончилась сборка, мы заняли свои отсеки и приступили к работе в человеческих условиях, не стесненные скафандрами. Медленное вращение станций вернуло нам тяготение. Не настоящее земное тяготение, конечно, но центробежная сила создает и в космосе те же самые ощущения. Приятно было налить бокал и сесть в кресло не опасаясь, что малейшее дуновение воздуха унесет тебя.

После завершения монтажа трех станций еще не меньше года упорного труда ушло на установку радио- и телевизионной аппаратуры, которой предстояло взять на свои космические плечи бремя земных коммуникаций. Наконец настал день, когда мы пустили первый телевизионный канал между Англией и Австралией. Направленный сигнал поступил с Земли к нам на «Вторую Релейную», расположенную над центром Африки, мы ретранслировали его на «Третью Релейную», подвешенную над Новой Гвинеей, а оттуда он вернулся на Землю, чистенький, как стеклышко, несмотря на путешествие длиной в девяносто тысяч миль.

Впрочем, это была лишь проверка, инженеры испытывали аппаратуру. Официальное открытие линии должно было стать величайшим событием в истории мировых коммуникаций. Готовилась тщательно разработанная глобальная телепередача с участием всех стран; впервые телевизионным камерам предстояло за три часа обрыскать весь свет, возвещая человечеству, что рухнул последний барьер, воздвигнутый расстояниями.

Циники уверяли, что разработка этой программы потребовала не меньших усилий, чем само создание космических станций. Причем из всех проблем наиболее трудной оказался выбор «церемониймейстера» — ведущего, которому предстояло объявлять номера небывалого глобального спектакля для половины человечества.

Одному богу известно, что делалось за кулисами: сговор, шантаж, явное подсиживание... Так или иначе за неделю до великого дня к нам прилетела внеочередная ракета с Грегори Уэнделлом на борту. Это было полной неожиданностью, ведь Грегори не пользовался среди телезрителей такой известностью как, скажем, Джефферс Джексон в США или Винс Клиффорд в Англии. Видно, главные фавориты подсидели-таки друг друга, и Грег получил заманчивое назначение благодаря одному из тех компромиссов, которые так хорошо известны политикам.

Уэнделл начинал свою карьеру рядовым диктором одной из университетских радиостанций американского Среднего Запада, потом вел программы ночных клубов Голливуда и Манхеттена, и наконец ему поручили ежедневную передачу во всеамериканском вещании. Наряду с покровительственно-непринужденным тоном главным активом Грега был глубокий, бархатный голос — видимо, дар негритянских предков. Даже если вы совершенно не соглашались с тем, что он говорил, если он всю душу из вас выматывал своим интервью, все равно слушать его было одно удовольствие.

Мы показали Грегу всю космическую станцию, даже (вопреки правилам) вывели его через воздушный шлюз в космос, облачив в скафандр. Ему все пришлось по душе, но две вещи особенно понравились.

— Воздух, который вы здесь готовите, — сказал он, — куда лучше той дряни, которой мы дышим в Нью-Йорке. Впервые с тех пор, как я на телевидении, моя носоглотка в порядке.

И еще он одобрил меньшее тяготение; на ободке станции человек весил половину земного веса, а возле оси — вообще ничего.

Однако новизна окружения не отвлекла Грега от работы. Он по многу часов проводил в «Центральной Аппаратной» — размечал сценарий, отработывал свои реплики, изучал дюжины мониторов, которым предстояло быть его окнами в мир. Однажды я застал его в тот момент, когда он репетировал представление королевы Елизаветы, которая

должна была говорить из Бекингемского дворца в самом конце программы. Он настолько увлекся, что даже не заметил меня, хотя я стоял рядом с ним.

Да, эта телепередача вошла в историю. Впервые миллиард людей одновременно смотрел программу, которая создавала эффект присутствия в любом уголке Земли, зрители наблюдали переключку виднейших граждан мира. Сотни камер на земле, в небесах и на море пытливо всматривались во вращающийся земной шар; и в заключение на экране появилась великолепная панорама Земли. Благодаря применению особой линзы в камере, установленной на спутнике, наша планета как бы медленно удалялась, пока не затерялась среди звезд...

Конечно, не обошлось без накладок. Одна камера, установленная на дне Атлантического океана, не включилась своевременно, и пришлось зрителям дольше задуманного любоваться Тадж Махалом. Из-за неправильного соединения русские субтитры легли на изображение, идущее на Южную Америку; в то же время половина Советского Союза пыталась читать по-испански. Но это мелочи по сравнению с тем, что могло случиться...

На протяжении всех трех часов, одинаково непринужденно представляя знаменитых людей и неизвестных, звучал густой, лишенный какого-либо самолюбования голос Грега. Он превосходно выполнил свою задачу, и как только кончилась передача, с Земли посыпались поздравления. Правда, ведущий их не слышал: после короткого разговора со своим агентом он тотчас лег спать.

На следующее утро его ждала идущая на Землю ракета, а на Земле — любая должность, какую он только пожелает. Но ракета ушла без Грега Уэнделла, отныне младшего диктора «Второй Релейной».

— Они решат, что я свихнулся, — сказал он, радостно улыбаясь. — Но на что мне сдалась вся их мышиная возня там, внизу? Отсюда я вижу вселенную, здесь могу вдыхать чистый от смога воздух, благодаря малому тяготению я чувствую себя Геркулесом, и мои бывшие жены, эти три душки, не смогут до меня добраться.

Грег послал воздушный поцелуй вслед уходящей ракете.

— До свидания, Земля! — крикнул он. — Я вернусь, как только начну тосковать по заторам на Бродвее и мглистым рассветам. А станет одолевать ностальгия — достаточно нажать кнопку, и я увижу любой уголок планеты. Да здесь

я в центре событий в гораздо большей мере, чем где-либо на Земле. И в любой миг могу изолироваться от человеческой расы.

Продолжая улыбаться, он смотрел, как ракета начинает свое долгое падение на Землю, туда, где богатство и слава тщательно ждали его. Затем, весело насвистывая, восьмифутовыми шагами вышел из контрольного пункта: ему надо было читать прогноз погоды для Южной Патагонии.

СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА

Должен сразу же вас предупредить: у этой истории нет конца. Зато начало можно установить совершенно точно — мы с Джулией учились вместе в Астротехе, когда я познакомился с ней. Я уже был в аспирантуре, она перешла на последний курс факультета физики солнца, и весь последний год в институте мы встречались довольно часто. У меня до сих пор целая шерстяная шапочка, которую она связала мне, чтобы защищать голову от ударов о шлем космического скафандра. (Нет-нет, я никогда ее не надевал, это было бы кощунство!)

Увы, когда меня назначили на «Второй Релейный», Джулия попала на «Солнечную Обсерваторию» — на таком же расстоянии от Земли, но несколько градусов восточнее по орбите. Вот так: оба на высоте двадцати двух тысяч миль над центром Африки — разделенные девятьюстами милями пустынного, враждебного космоса.

Первое время мы были настолько поглощены своими делами, что не так сильно ощущали боль разлуки. Но когда прошла прелесть новизны и жизнь в космосе стала привычной, наши мысли принялись перебрасывать мост через разделяющую нас бездну. И не только мысли: я наладил дружбу со связистами, и нам с Джулией удавалось побеседовать, пользуясь межстанционным телеканалом. Правда, почему-то на душе только хуже, когда глядишь друг на друга и не знаешь, сколько еще людей видит вас в то же время. Космическая станция не самое благоприятное место для личных дел...

Иногда я наводил один из наших телескопов на недостижимую сверкающую звезду обсерватории. Кристальная чи-

стота космоса позволяла прибегать к огромным увеличениям, и я видел все детали оборудования нашего соседа — солнечные телескопы, герметичные сферы, которые служили жильем для сотрудников, карандашники транспортных ракет, прилетевших с Земли. Часто среди аппаратуры двигались фигурки в скафандрах, и я тщетно напрягал зрение, пытаясь их распознать. Даже на расстоянии нескольких футов трудно узнать человека, облаченного в космический скафандр, и все-таки я не мог удержаться от попытки.

Мы уже покорились необходимости ждать, мобилизовав все свое терпение, ждать шесть месяцев, пока не подойдет время отпуска, и вдруг нам повезло. Еще не прошло и половины нашего срока, когда начальник транспортной секции внезапно объявил, что отправляется с сачком ловить метеоры. Буйным он не стал, но все-таки пришлось отправить его на Землю. А меня назначили врио; таким образом я — во всяком случае теоретически — отныне стал вольным сыном космоса.

В моем распоряжении было десять небольших маломощных реактивных скутеров, а также четыре ракеты покрупнее для переброски людей и грузов с орбиты на орбиту. Разумеется, я не мог рассчитывать на то, чтобы позаимствовать какую-либо из них, однако несколько недель тщательной подготовки позволили мне осуществить план, который родился в моей голове через две микросекунды после того, как я услышал о своем назначении на пост руководителя транспортом.

Не стану рассказывать, как я мудрил с расписанием, бортовыми журналами и горючим, как уговорил товарищей не выдавать меня. Факт тот, что примерно раз в неделю я влезал в свой скафандр, пристегивался к каркасу «Скутера № 3» и на минимальной скорости покидал станцию. Отойдя подальше, давал полный газ, и маленький реактивный мотор мчал меня через девятисотмильную пропасть к обсерватории. Весь путь отнимал минут тридцать, и управление было предельно простое. Я без приборов видел, куда и откуда лечу. И все-таки должен признать, что примерно на полпути я иногда чувствовал себя — как бы это сказать — несколько одиноким, что ли. На пятьсот миль вокруг — ничего плотного, вещественного, и Земля казалась невообразимо далекой. В такие мгновения очень помогало настроить свой приемник на волну главной сети и послушать, как переругиваются корабли и станции.

На полпути я разворачивал скутер на сто восемьдесят градусов и начинал торможение. Десять минут спустя обсерватория приближалась настолько, что можно было невооруженным глазом различить детали ее конструкции. И вот уже я подплываю к герметичному пластиковому пузырю, в котором оборудовали спектроскопическую лабораторию. Теперь только воздушный шлюз отделял меня от Джулии...

Не буду утверждать, что наши разговоры вращались вокруг последних достижений астрофизики или выполнения графика монтажа спутников. А точнее, мы меньше всего думали о подобных вещах; и на обратном пути мне всегда казалось, что я лечу невероятно быстро.

Я как раз возвращался домой, когда вспыхнул сигналами радар на моей приборной доске. Какой-то крупный предмет стремительно приближался. Метеор, решил я, возможно даже небольшой астероид. Но при такой мощности сигналов я должен его видеть. Определив направление, я стал рассматривать созвездия. Мысль о столкновении мне даже не приходила в голову: космос столь невообразимо велик, что я чувствовал себя в тысячу раз надежнее, нежели человек, переходящий улицу на Земле.

Вот она — яркая, заметно растущая звездочка в нижней части Ориона. Уже превосходит по яркости Ригель, а еще через несколько секунд я видел не точку, а диск. Он двигался так быстро, что я едва поспевал поворачивать голову за ним. Мелькнула крохотная, неправильной формы луна. Замерцала и потухла, удаляясь в своем неотвратимом безмолвном движении.

Наверно, я всего полсекунды отчетливо видел этот... предмет, но эти полсекунды с тех пор всегда меня преследуют. Когда я вспомнил про радар, предмет исчез, так что мне не удалось заметить, на какое расстояние он приближался, не успел я определить и его истинных размеров. Он мог быть совсем небольшой — если прошел в ста футах от меня, или огромный — если пронесся в десяти милях. В космосе нет чувства перспективы, и если вы не знаете, что у вас перед глазами, вам не определить расстояния.

Разумеется, это мог быть огромный метеор необычной формы; я не берусь гарантировать на сто процентов, что мои глаза, силясь схватить детали быстро движущегося объекта, не были обмануты. Возможно, я только вообразил, будто увидел смятый, искореженный нос и ряд темных иллюминаторов, напоминающих незрячие глазницы черепа.

В одном я не сомневался, несмотря на мимолетность и фрагментарность видения. Если это был космический корабль, то не из наших. Он выглядел совершенно иначе и был очень старый.

Быть может, величайшее открытие всех времен выскользнуло из моих рук, пока я пытался разобраться в своих смятенных мыслях на полпути между двумя станциями. Но я не знал ни скорости, ни направления промелькнувшего предмета, и он уже бесследно исчез в безднах солнечной системы, унося с собой свою тайну.

Как я должен был поступить? Никто бы не поверил мне, ведь у меня не было никаких доказательств. И напиши я докладную, начались бы бесконечные осложнения. Я стал бы посмешищем всей «Космической Службы», получила бы высылку за злоупотребление снаряжением — и, конечно же, потерял бы возможность видаться с Джулией. А это для меня в том возрасте было важнее всего. Если вы любите, вы поймете меня, если нет — объяснить бесполезно.

Итак, я промолчал. Кто-то иной (сколько веков спустя?) пожнет славу, доказав, что мы не первенцы среди детей солнца. Чем бы ни был этот предмет, кружащийся по своей вечной орбите, он может ждать, как ждет уже много столетий.

И все-таки я иногда спрашиваю себя: написал бы я докладную, если бы знал тогда, что Джулия выйдет замуж за другого?

ЗОВ ЗВЕЗД

Внизу, на Земле, подходит к концу двадцатый век. Глядя на темный шар, заслонивший звезды, я вижу огни сотен бессонных городов, и минутами хочется даже влиться в возбужденные, поющие толпы на улицах Лондона, Кейптауна, Рима, Парижа, Берлина, Мадрида... Да, да, я все их могу охватить одним взглядом — горят, будто светлячки, на фоне ночной планеты. Линия полночи рассекает сейчас Европу. В восточной части Средиземного моря мерцает яркая звездочка: какой-нибудь ликующий увеселительный корабль расписывает небо лучами своих прожекторов. Уж не нам ли предназначены сигналы? Почему-то вспышки стали

особенно яркими и приобрели регулярный характер. Вызову узел связи, выясню, что это за корабль, чтобы послать ответный радиопривет от нас...

Уходит в историю, навсегда исчезает в токе времени самое поразительное столетие, какое когда-либо знал мир. Открылось оно покорением воздуха, в середине века отомкнули атом, а конец столетия мы отмечаем переброской мостов в космосе.

(Последние пять минут я пытался понять, что происходит с Найроби, теперь сообразил: там устроили могучий фейерверк. У нас здесь ракеты с химическим горючим — анахронизм, на Земле они сегодня ночью горят повсюду.)

Конец века — и конец тысячелетия. Что принесут столетия, счет которым начинается с двойки и нуля? Планеты, разумеется; в космосе, всего в миле от меня, сейчас парят корабли первой Марсианской экспедиции. Два года я наблюдал, как они постепенно возникают из множества разрозненных частей, подобно этой космической станции, созданной несколько десятилетий назад людьми, вместе с которыми работал я.

Десять космических кораблей готовы, команды на борту, ждут только последней проверки аппаратуры и стартового сигнала. Прежде чем настанет полдень первого дня нового века, они порвут путы Земли и улетят к неизведанному миру, который может стать вторым приютом человечества.

И глядя теперь на небольшой отважный флот, готовый бросить вызов бесконечности, я вспоминаю события сорокалетней давности, дни, когда были запущены первые спутники и Луна еще казалась очень далекой. Вспоминаю также, — впрочем, я этого никогда не забывал, — как отец силлся удержать меня на Земле.

К каким только средствам он ни прибегал! Начал с насмешки:

— Разумеется, — говорил он, — они это сделают. Но смысл какой? Кому это нужно — выходить в космос, когда еще столько несделанного на Земле? Во всей солнечной системе нет больше ни одной планеты, на которой мог бы жить человек. Луна — куча перегоревшего шлака, остальные еще хуже. Мы созданы для жизни на Земле.

Уже тогда (мне было лет восемнадцать) я мог потягаться с ним в вопросах логики. Помню свой ответ:

— Откуда ты можешь знать, где нам предназначено жить, папа? Ведь мы почти миллиард лет пребывали в мо-

ре, прежде чем решили освоить сушу. Теперь делаем следующий огромный скачок. Я не знаю, куда он нас приведет, как не знала первая рыба, когда выползла на берег и стала нюхать, чем пахнет воздух.

Ему не удалось меня переспорить, и он прибег к более изощренным приемам. Без конца рассказывал об опасностях космических путешествий, о том, что всякий, кто по собственному недомыслию связывается с ракетами, сам сокращает себе жизнь. В те времена человек еще побаивался метеоров и космического излучения, они играли роль мифических чудовищ на никем не заполненных небесных картах — так древние картографы писали: «Здесь есмь драконы». Но меня они не пугали, скорее, придавали острый привкус опасности моим мечтаниям.

Пока я учился в колледже, отец еще был относительно спокоен. Учеба только на пользу, какую бы профессию я ни избрал впоследствии, так что у него не было оснований жаловаться. Правда, иногда он ворчал, видя, сколько денег я трачу на приобретение книг и журналов по астронавтике. Учился я хорошо, что, естественно, радовало отца; возможно, он не задумывался над тем, что успехи в учении помогут мне добиться своего.

На протяжении последнего года учебы я избегал говорить о своих планах. Постарался даже создать впечатление (теперь-то я сожалею об этом), будто оставил мечты о космосе. Ничего не говоря отцу, я подал заявление в Астротех и был принят, как только закончил колледж.

Буря разразилась, когда в нашем почтовом ящике очутился длинный голубой конверт со штампом «Институт технологии астронавтики». Я выслушал обвинение в предательстве и неблагодарности; похоже, я так никогда и не простил отцу то, как он испортил мне удовольствие от сознания, что меня отобрали в самое изысканное и почетное учебное заведение, какое когда-либо знал мир.

Каждые каникулы были испытанием. Если бы не мама, я, наверно, наведывался бы домой не чаще одного раза в год. И всякий раз я старался как можно скорее уехать. Мечтал я: отец, смирившись с неизбежным, мало-помалу смягчится, но этого не произошло.

И вот настала минута натянутого, ужасного прощания на космодроме. Дождь, падая со свинцового неба, барабанил по гладкой обшивке корабля, который нетерпеливо ждал возможности взмыть к немеркнущему солнечному

свету, подальше от всех бурь. Я знаю, чего стоило отцу смотреть, как ненавистная машина поглощает его единственного сына; сегодня я понимаю многое, что было скрыто от меня тогда.

Когда мы прощались у корабля, он знал, что нам уже не свидеться. И, однако же, упрямая гордость не дала ему произнести единственные слова, которые могли меня удержать. Мне было известно, что отец болен, но он никому не говорил насколько. Это единственное оружие, которого он не пустил в ход против меня, и я уважаю его за это.

Остался бы я, если бы знал? Строить предположения о необратимом прошлом еще более пустое занятие, чем гадать о не поддающемся предвидению будущем. Могу только сказать: я рад, что мне не пришлось выбирать. В конце концов он отпустил меня, сдался в борьбе с моими устремлениями, а немного позже — и в борьбе со своей смертью.

Итак, я сказал «до свидания» Земле и отцу, который любил меня, но не умел этого выразить. Он лежит там внизу, на планете, которую я могу заслонить ладонью. Странно подумать, что из множества миллиардов человеческих созданий, чья кровь струится в моих жилах, мне первому выпало оставить родной мир...

Новый день занимается над Азией, чуть заметная полоска огня обрамляет восточный край Земли. Скоро, как только Солнце вынырнет из Тихого океана, полоска обратится в пламенный полукруг, а между тем Европа еще готовится ко сну, не считая гуляк, которые встретят рассвет на ногах.

А вот — вон там, со стороны флагманского корабля, — и транспортная ракета идет за последними посетителями со станции. Вот и послание, которого я ждал:

КАПИТАН СТИВЕНС ПРИВЕТСТВУЕТ НАЧАЛЬНИКА КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ. СТАРТ ЧЕРЕЗ ДЕВЯНОСТО МИНУТ: ОН БЫЛ БЫ РАД ПРИНЯТЬ ВАС СЕЙЧАС НА ВОРТУ.

Да, отец, теперь я знаю, что ты чувствовал; время завершило полный круг. Надеюсь, однако, что я извлек урок из ошибок, которые мы с тобой совершили тогда, много лет назад. Я буду помнить о тебе, направляясь на флагманский корабль «Старфайр» и прощаясь с твоим внуком, которого ты так и не увидел.

Перевод с английского А. Жданова

Если вы жили только на Земле, вы не видели Солнца. Разумеется, мы смотрели на него не прямо, а через мощные фильтры, которые умеряли его яркость, делая ее терпимой для глаз. Солнце неизменно висело над низкими зазубренными утесами к западу от обсерватории, не восходя и не заходя, лишь описывая небольшой круг на небе за год, который в нашем маленьком мире длился восемьдесят восемь земных дней. Не совсем верно говорить о Меркурии, что он всегда обращен к Солнцу одной стороной: планета чуть вихляется на своей оси, поэтому есть узкий сумеречный пояс, где применимы такие обычные земные понятия, как утренняя и вечерняя зоря.

Мы находились на краю сумеречной области, что позволяло нам пользоваться преимуществами прохладной зоны и вместе с тем постоянно наблюдать Солнце, парящее над утесами. Круглосуточная работа для пяти десятков астрономов и иных научных сотрудников; по истечении лет этак ста мы, возможно, будем кое-что знать о небольшой звезде, давшей Земле жизнь.

Не было той области солнечного излучения, исследованию которой не посвятил бы свою жизнь кто-нибудь из сотрудников обсерватории; и уж следили мы, как коршуны. От рентгеновских лучей до самых длинных радиоволн — на всех частотах мы расставили свои ловушки и капканы; стоило Солнцу придумать что-нибудь новое — мы уж тут как тут. Так мы полагали...

Пылающее сердце Солнца пульсирует в медленном, одиннадцатилетнем ритме, и как раз по приближалась вершина цикла. Два пятна, из числа самых крупных, какие когда-

либо наблюдались (одно из них — достаточно большое, чтобы поглотить сто земных шаров), проплыли вдоль солнечного диска, подобные исполинским черным воронкам, уходящим далеко в глубь беспокойных верхних слоев звезды. Разумеется, черными они казались только по контрасту с окружающим их ослепительным сиянием; даже их темные, прохладные ядра жарче и ярче вольтовой дуги. Мы как раз проследили, как второе пятно исчезло за краем диска (интересно, уцелеет ли оно, появится ли вновь через две недели?), и вдруг на экваторе выросла шапка взрыва!

Сперва зрелище было не особенно эффектное, потому что выброс произошел как раз в центре солнечного диска. Случись он возле края, с проекцией на космос, картина, наверно, была бы потрясающая.

Представьте себе одновременный взрыв миллиона водородных бомб. Не можете? Никто не может. И однако же нечто в этом роде видели мы. Прямо к нам из вращающегося солнечного экватора со скоростью сотен миль в секунду мчалось выброшенное взрывом вещество. Сперва — узкой струей, однако края струи быстро превратились в бахрому под действием противоборствующих ей магнитных и гравитационных сил. Но центральное ядро продолжало свое движение, и вскоре стало очевидно, что оно совсем оторвалось от Солнца и устремилось в космос, причем мы — его ближайшая мишень.

Хотя такое случалось уже не раз, мы всегда одинаково волновались. Представлялась возможность поймать толику солнечного вещества, летящего в гигантском облаке ионизованного газа. Опасности никакой: пока вещество достигнет нас, оно окажется слишком разреженным, чтобы причинить какой-либо вред. Больше того, потребуются очень чувствительные приборы, чтобы вообще его обнаружить.

Одним из таких приборов был радар обсерватории; он постоянно находился в действии, нащупывая невидимые ионизованные слои, на миллионы миль опоясавшие Солнце. Эти наблюдения входили в мою обязанность. И как только появилась надежда выделить на фоне Солнца надвигающееся облако, я направил на него свое гигантское «радиозеркало».

Вот он, отчетливо виден на «дальнобойном» экране — огромный светящийся остров, удаляющийся от Солнца со скоростью сотен миль в секунду. Пока что расстояние не

позволяло различить какие-либо детали, волны радара не одну минуту тратили на то, чтобы совершить путь в оба конца и доставить информацию на мой экран. Несмотря на скорость примерно миллион миль в час, вырвавшийся протуберанец лишь через двое суток достигнет орбиты Меркурия и умчится дальше, к другим планетам. Но ни Венера, ни Земля не отметят его прохождения, так как он пролетит далеко в стороне от них.

Шли часы. Солнце утихомирилось после непостижимой конвульсии, которая безвозвратно извергла столько миллионов тонн материи в межпланетное пространство. Результатом извержения было медленно извивающееся и вращающееся облако размером в сто раз больше Земли; вскоре оно окажется достаточно близко, чтобы радар показал нам подробности его строения.

Сколько лет я здесь работаю, а до сих пор не могу без волнения видеть, как светящийся след, сопряженный с пучком радиоволн передатчика, рисует изображение на экране. Я иногда вижу себя слепцом, который прощупывает окружающее его пространство палкой длиной в сто миллионов миль. Ведь человек и впрямь слеп, поскольку речь идет о предметах, которые я изучаю. Исполинские облака ионизованного газа, улетающие далеко прочь от Солнца, совершенно невидимы глазу, их не заметит даже самая чувствительная фотографическая пластинка. Они — призраки, витающие в солнечной системе на протяжении немногих часов своего существования. Если бы они не отражали колебаний, излученных нашими радаром, и не влияли на наши магнитометры, мы бы и не знали об их присутствии.

Изображение на экране напоминало фотоснимок спиральной туманности: медленно вращаясь, облако на десятки тысяч миль вокруг разбросало лохматые щупальца газа. А можно сравнить его с наблюдаемым сверху циклоном в атмосфере Земли. Внутреннее строение облака было чрезвычайно сложно, и оно ежеминутно менялось под воздействием сил, далеко еще не изученных нами. Реки огня скользили в причудливых руслах, которые могли быть созданы только электрическими полями. Но почему они возникали из ничего и вновь исчезали, точно происходило сотворение и уничтожение материи? И что это за мерцающие гранулы, каждая размером больше Луны, подобные валунам, влекомым бурным потоком?

еще какой-нибудь час, и оно будет здесь. Автоматические съемочные камеры фиксировали каждый кадр на экране радара, накапливая свидетельства, которых нам хватило на много лет спора. Магнитное возмущение, опережающее облако, уже достигло нас; кажется, во всей обсерватории не было прибора, который так или иначе не отзывался бы на стремительное приближение призрака.

Я изменил настройку радара; сразу изображение выросло настолько, что на экране умещалась только его центральная часть. Одновременно я стал менять частоту импульсов, стараясь различить слои. Чем короче волна, тем глубже можно проникнуть в толщу ионизированного газа. Таким способом я надеялся получить своего рода рентгеновский снимок внутренности облака.

Казалось, оно меняется у меня на глазах, по мере того как я проникал сквозь разреженную оболочку с ее щупальцами и приближался к более плотному ядру. Слово «плотный» применимо здесь, конечно, лишь относительно; по нашим земным меркам даже самые компактные участки облака были вакуумом. Я почти достиг предела моей шкалы частот и уже не мог получать более коротких волн, когда приметил по соседству с центром экрана необычный по виду, яркий след отраженного сигнала.

Он был овальный, с четко очерченными краями, гораздо более ясный, чем «гранулы» газа, которые мы наблюдали в струях пламенного потока. С первого взгляда я понял, что речь идет с своеобразном явлении, какого еще никто не наблюдал. Электронный луч нарисовал еще дюжину кадров, наконец я подозвал своего ассистента, который стоял у радиоспектрографа, анализируя скорости летящих к нам газовых вихрей.

— Глянь-ка, Дон,— сказал я ему,— видал ты когда-нибудь что-либо подобное?

— Нет,— ответил он, внимательно изучив изображение.— Какие силы его образуют? Вот уже две минуты оно не меняет очертаний!

— Это-то меня и озадачивает. Что бы это ни было, ему давно пора распадаться, такая свистопляска вокруг! А оно все остается стабильным.

— А размеры его, по-твоему?

Я включил шкалу и быстро снял показания.

— Длина около пятисот миль, ширина наполовину меньше.

— Это самое крупное изображение, какое ты можешь получить?

— Боюсь, что да. Придется подождать, когда подойдет ближе, чтобы разглядеть, откуда такая плотность.

Дон нервно усмехнулся.

— Нелепо, конечно, — сказал он, — но знаешь, что оно мне напоминает? Точно я разглядываю амебу в микроскоп.

Я не ответил, потому что та же мысль, будто проникнув откуда-то извне, пронизала мое сознание.

Мы даже позабыли об остальной части облака, но, к счастью, автоматические камеры продолжали свою работу и не было упущено ничего существенного. А мы не сводили глаз с ясно очерченной газовой чечевицы, которая поминутно увеличивалась на экране, мчась к нам. И когда до облака оставалось не больше, чем от Земли до Луны, стали выделяться первые детали внутреннего строения. Это было какое-то странное крапчатое образование, и каждый последующий кадр развертки давал иную, новую картину.

К этому времени половина сотрудников обсерватории столпилась в радарной, но царила полная тишина, все смотрели, как на экране стремительно растет надвигающаяся загадка. Она летела прямо на нас; еще несколько минут — и «амеба» столкнется с Меркурием где-то в его дневной части. Столкнется и погибнет... С момента получения нами первого детального изображения и до того мгновения, когда экран снова опустел, прошло не больше пяти минут. Эти пять минут на всю жизнь запомнились каждому из нас.

Мы видели некий прозрачный овал, внутренность которого была пронизана переплетением едва видимых линий. В местах пересечения линий словно пульсировали крохотные узелки света. Мы не могли совершенно уверенно судить об их существовании, ведь радар тратил почти минуту на то, чтобы дать на экран полное изображение, а объект успевал за это время переместиться на несколько тысяч миль. Но переплетение существовало, в этом не было никакого сомнения, камеры ясно его запечатлели.

Иллюзия, будто мы смотрим на нечто плотное, была настолько сильна, что я на мгновение оторвался от экрана радара и поспешно навел резкость направленного в небо оптического телескопа. Разумеется, я ничего не увидел, даже намек на какой-либо силуэт на фоне помеченного оспинами солнечного диска. Это был один из тех случаев, когда зре-

ние оказывается бессильным и только электрические органы чувств радара могут что-то уловить. Летящее к нам из солнечного чрева образование было прозрачным, как воздух, и куда более разреженным.

Истекали последние секунды; и мы все — я уверен — уже пришли к одному и тому же выводу, ждали только, кто первый его выскажет. Да, это невозможно — и все-таки доказательство у нас перед глазами... Мы видели жизнь там, где жизнь не может существовать!

Извержение вырвало это создание из его обычной среды в недрах пылающей атмосферы Солнца. Оно чудом пережило долгое путешествие в космосе, но теперь, видимо, умирало, по мере того как силы, контролирующие исполинское невидимое тело, теряли власть над ионизованным газом, его единственной субстанцией.

Ныне, когда я сотни раз просмотрел заснятые пленки, идея эта уже не кажется мне столь необычной. Ведь что такое жизнь, как не организованная энергия? Вид энергии решающего значения не имеет — будь она химическая, известная нам по Земле, или чисто электрическая, как это проявилось тут... Не род субстанции главное, а ее организация. Но тогда я не думал об этом, мной владело сознание огромного, потрясающего чуда при виде того, как доживает последние мгновения это творение Солнца.

Было ли оно разумным? Понимало ли, сколь необычный рок его постиг? Можно задать тысячу подобных вопросов и никогда не получить на них ответа. Трудно допустить, чтобы создание, родившееся в горниле самого Солнца, могло что-либо знать о внешней вселенной или хотя бы вообразить существование чего-то столь невыразимо холодного, как жесткая негазообразная материя. Падающий на нас из космоса живой остров не мог, будь он трижды разумен, представить себе мир, к которому так стремительно приближался.

Уже он заполнил наше небо и, быть может, в эти последние секунды понял, что впереди появилось нечто необычное. То ли воспринял далеко простирающееся магнитное поле Меркурия, то ли ощутил рывок гравитационных сил нашего маленького мира. Во всяком случае, он стал меняться: светящиеся волокна (хочется сравнить их с нервной системой) стягивались вместе, образуя новые узоры, смысл которых я бы не прочь разгадать. Быть может, я заглянул в мозг не наделенного разумом чудовища в момент послед-

него приступа страха — или небожителя, прощающего со вселенной...

И вот экран радара пуст, светящийся след все с него стер в своем беге. Создание упало за пределами нашего горизонта, скрытое кривизной планеты. Где-то на жаркой дневной стороне Меркурия, в аду, куда сумело проникнуть всего около дюжины человек — и еще меньше вернулось живыми, — оно незримо и беззвучно разбилось о моря расплавленного металла, о горы медленно ползущей лавы. Само по себе столкновение для такого существа никакой роли не играло, но соприкосновение с непостижимым холодом плотной материи оказалось роковым.

Да, да, холодом. Оно упало в самом жарком месте солнечной системы, где температура никогда не спускается ниже семисот градусов по Фаренгейту, а порой достигает и тысячи. Но для него это было несравненно холоднее, чем для обнаженного человека самая суровая антарктическая зима.

Мы не видели его смерти в ледящем пламени, существо очутилось за пределами досягаемости наших приборов, ни один из них не зарегистрировал кончины. И все-таки каждый из нас знал, когда наступил этот момент, вот почему мы безучастно слушаем тех, кто смотрел только фильмы и ленты, но уверяют нас, будто мы наблюдали обыкновенное природное явление.

Как описать, что мы ощущали в тот последний миг, когда половина нашего маленького мира была опутана распадающимися щупальцами исполинского, хотя и бестелесного мозга? Могу только сказать, что это было вроде беззвучного крика, исполненного предельной тоски, выражение смертной муки, которое проникло в наше сознание, минуя ворота чувств. Ни тогда, ни после никто из нас не сомневался, что был свидетелем гибели гиганта.

Быть может, мы первые и последние люди, кому довелось наблюдать столь величественную кончину. Кем бы они ни были, эти обитатели невообразимого мира в солнечных недрах, возможно, что наши пути уже никогда более не скрестятся. Трудно представить себе, чтобы мы могли вступить в контакт с ними, даже если их разум превосходит наш.

И так ли это? Может быть, нам же лучше не знать ответа на этот вопрос... Возможно, они живут внутри Солнца с момента зарождения вселенной и достигли таких вер-

шин мудрости, на какие нам никогда не подняться. Быть может, будущее принадлежит им, а не нам: быть может, они уже переговариваются через тысячи световых лет со своими собратьями внутри других звезд.

Настанет, возможно, день, когда они посредством того или иного присущего им особого чувства обнаружат нас, вращающихся вокруг их могучей древней родины, нас, гордых своими знаниями, почитающих себя властелинами мироздания. И возможно, открытие их не обрадует, ведь для них мы будем всего лишь червяками, точащими кожуру планет, которые чересчур холодны, чтобы своими силами очиститься от заразы органической жизни.

Перевод с английского Л. Жданова

ПРИШЕСТВИЕ И ГИБЕЛЬ СОБСТВЕННИКА

Фантастический памфлет

1

— Я совершенно не считаю себя ученым, — сказал высокий и юношески стройный человек. — Никакого отношения к науке!

— Кто сомневается в этом? — отозвался другой чрезвычайно серьезно.

— Вы, — живо парировал первый.

Живость и какая-то особенная быстрота были свойственны ему. Живость и быстрота жестов. Живость и молодость взгляда — не приходило в голову спрашивать, как она вяжется с сильной проседью в волнистых волосах, наоборот, именно это придавало его облику то, вовсе не стариковское, своеобразие, которое невольно заставляло обращаться ему вслед. И, кроме того, свое признание (чем только хвастался!) он сделал с явным удовольствием и блеском глаз.

— Вы! — сказал он. — Чего бы ради иначе вы пришли слушать меня?

— Чтобы удержать вас, хотя бы своим присутствием, от крайностей. И потому, что я иногда люблю скачки вашего воображения. Я люблю вас, — добавил второй, оставаясь чрезвычайно серьезным. — Но все эти, вас не знающие... И, во имя любезных вам муз и граций, что побудило вас объявить этот доклад, беседу, проповедь — как хотите — на тему бесконечно далекую от всего, что вы делали? Вы, для которого только и существовал человек сегодняшнего дня!

— Сердце, душа и правда человека, скажем так. И это тоже будет о людях. О людях, поправших правду. Так что не «бесконечно далеко». А что толкнуло меня...

— Вот именно: что?

— Посмотрите, сколько собралось «этих, не знающих» меня! Лучше я отвечу всем. Пора начинать.

2

Помещение было полукруглое. Сад охватывал его зеленой дугой и, казалось, вступал внутрь сквозь прозрачный выступ — стену-окно. Можно не сомневаться, что деревья в том саду останутся деревьями — как и в наших садах, на дорожках будут кучки от дождевых червей, и никакой синтетический состав — торжество химии — не заменит почвы, кое-где припудренной пылью в сухой зной, грязной в непогоду, с обрывком колена и следом чьей-то неловкой ступни там, где поворачивали газонную косилку.

Человек, стоявший в выступе, на возвышении, на фоне сада, видел зыбкую сетку отсветов на стенах и потолке и множество повернутых к нему внимательных лиц. Бессмысленно строить предположения, как будут одеты все эти люди. Но глаза их мы узнали бы сразу, глаза юношей, девушек, подростков — тех, кто начинает жизнь самого дивного существа на земле.

Он поблагодарил пришедших, может быть прибывших даже из дальних районов континента утренними средствами сообщения. Вот те, к кому он обращался, для кого работал всю жизнь. Юноши, девушки, молодежь. Его читатели, его слушатели, его зрители. Он-то не сомневался, что именно они лучше всех знают его. И когда он позвал, объявил это необычное сообщение — вот они!..

Он улыбнулся мальчику, смотревшему на него, живого, не «телеэкранного», во все глаза из самого первого ряда.

Образ Рухнувшего Мира! Рухнувшего и погребенного! Да, в самом деле, что заставило его пытаться вообразить свирепую бессмыслицу этого мира накануне его падения? С чего началось? Что послужило первым толчком?

Он рылся однажды в горах неразобранного, в мусоре веков, который мало интересовал кодификаторов. И там он

нашел этот документ. В нем изображалось общество, еще свободное от кровавой бессмыслицы. И как бы мгновенная химическая реакция при столкновении этого общества с обществом пушек и фрегатов.

— Я нашел лакмусовую бумажку,— сказал оратор.

Любопытная фигура — автор письма, потрясенный свидетель! Он колеблется между завистью и высокомерием. Поработитель, он клеймит порабощение. Говорит, говорит,— он речист, даже всплескивает руками,— а чуть до дела, трусливо и послушно хватается, не хуже иных, за окровавленный нож. Он заглядывает в будущее и ошибается во всем. Бог и бессмертные души удостоверяют ему нерушимость вкладов в банкирских конторах. Снисходя с некоей головокружительной высоты — вот как он судит о чудесной встрече. И не замечает, что во встрече этой обнажилась абсурдность именно его мира!

— Вдруг с потрясающей силой поразил меня смысл слова: а б с у р д! Но конец того мира еще не наступил. Суждено было еще расти его чудовищности. И я, в своем воображении, как бы следовал за ним по пятам — до конца, до самого края, все время видя наготу уродства. Я шел словно с путеводной нитью и уже не выпускал ее.

И голосом, чуть монотонным, со спокойной точностью человека, которому меньше жить, чем он жил, оратор вызвал перед слушателями — точно кидая один уверенный мазок за другим — причудливые образы давно прошедшего, рухнувшего мира. Мира Последнего Часа. Циклопическая техника перепахивала землю, сдобренную трупным гноем. Гигантские заводы выстраивались на сотнях гектаров. Он рассказывал о них с изумлением, потому что и люди далекого века не отучатся им удивляться. Их машины и приборы, цепочки, линии, агрегаты станут экономны. В малом объеме они сумеют достигать желаемого. И остоны древних сооружений будут поражать, как пирамиды.

Оратор вызвал из забвения имена, некогда наполнявшие своим звоном воздух того мира. Эхо столетий донесло их до места последнего, медленного тления в склепах древлехранилищ. Призрачные мертвецы вступили в аудиторию. Форды — от властного мастеровщины-миллиардера Генри Старшего до внуков и правнуков. Хлипкая, с голоском, как вздох, старушка Тюссо, перевоплощенная потом, вместе с придуманной ею выставкой восковых фигур, в ловкую компанию ражик молодцов, сто лет и после ее смерти называв-

ших себя: «Мадам Тюссо». Изобретатель жевательной резинки. Спичечный король Крейгер.

И тут по рядам пробежит шепоток. Поднимется тот самый подросток из первого ряда и спросит (как видите, нравы в этой аудитории будут отличаться свободой):

— Простите. Три миллиона автомобилей! Или пять? И, как вы сказали, династия. Форды. А спички. Это же горы коробков! Если чиркать по одной... И всего один человек — Крейгер. Зачем вы сказали так? Простите.

— Очень просто. Это владельцы. Им принадлежали заводы.

— Такие заводы, как... целый город? И даже много городов, потому что много заводов? В разных странах? По обе стороны океана? Одному владельцу? Он что — камень за камнем выстроил их?

— Нет. Их строили десятки тысяч других людей. Каменщики и крановщики. Монтажники, арматурщики, техники. Архитекторы и, полагаю, конструкторы. Все, кроме владельца, который совсем не строил их.

— Тогда он... Простите: мы пытаемся уловить мысль. Он один работал на них?

— Он никогда не становился к станку. Цех — вы представляете себе? Толпы рабочих. Мастера. Инженеры, руководящие делом. Миллионер у станка! Невообразимо!

— Но... оплата, деньги — вы говорили. Что значит «принадлежали»? Он, обходя всех, платил всем?

— Нет! Многолюдные сидячие команды — бухгалтерии — вели хитрейшие математические расчеты. Кассиры, разложив перед собой таблицы, испещренные именами и числами, вручали из окошек таким тончайшим путем рассчитанный заработок. И эти деньги даже не проходили через руки владельца.

— Пожалуй, это слишком для меня... Крейгер.. Он все-таки один сжигал все спички? Или Форд-внук — вообразить только: один у руля трех миллионов автомобилей!

— Не пытайтесь воображать. Я ровно ничего не знаю о любви Форда-Младшего к автомобильной езде. И легко допускаю, что любой шофер или гонщик испытал за свою жизнь намного больше машин, чем...

— Поразительно! — сказал подросток и посмотрел вокруг себя, ища сочувствия. Его все это раззадорило, как игра.— В таком случае, владелец подвозил к каждому станку то, что нужно для работы? Нянчил всех детей и забав-

лял всех жен работающих? Быть может, он пользовался дымом из труб, чтобы иметь возможность на разных параллелях пускать в небо, под напором теплого воздуха, красивые разноцветные бумажные змеи? Не завещал ли он превратить заводы после своей смерти в танцклассы? Устранял в них грибные хозяйства? Бассейны для плавания? Снимал с места и перевозил с собой? Время от времени для развлечения сверлил в них дыры? Разрушал по мере того, как строили? И если он не делал ничего такого...

Оратор, казалось, не дослушал.

— Развлечение! — задумчиво повторил он. — У Ивара Крейгера были квартиры в дюжинные столицы. Гардеробы с благоухающим бельем и костюмами любых оттенков. Тикающие часы и ночные туфли. С той же тросточкой он отправлялся в кафе на углу и за тридцать земель. Дюжина смиренных, готовых к услугам жизней... Ивар Крейгер пустил себе пулю в лоб. Я стараюсь передать вам, как мне рисуется феномен частной собственности — непостижимое соглашение, по которому несчетное множество людей, изнурявших себя в пещероподобных цехах, и еще несчетное множество потреблявших изготовленные первыми вещи считали себя обязанными по отношению к одному человеку, Собственнику! И платили ему дань! О, я замечаю ваш укоризненный взгляд, взыскательный друг! Но так мне легче вообразить себе все это. Постепенно происхождение соглашения забылось. И так как его нельзя было объяснить, то его стали считать священным. По крайней мере нам сохранены предания о боговдохновенных документах. Несомненно, что истории так называемых религий имеют в виду обожествление соглашения о собственности.

Но тут — в громадном отдалении — я вижу особенно смутно. Это словно на иной планете. Н а ч а л о.

Он остановился.

— Вот то самое письмо, — сказал он. — Я все время думаю о нем. Письмо о том, что было д о н а ч а л а — пусть в исключительном случае. Но это внутренняя кухня моей мысли. В конце концов, для вас она...

Он резко оборвал.

— Итак, первые собственники. И первые наследники. Собственность и право наследования. Спаянность одного с другим — вам ясно? И вот почему столько ролей, столько «клеток», обитаемых людьми, стали наследственными в об-

ществе косном и тщеславном! Владения, титулы, звания, профессии — твоя клетка с запретом для тебя и твоих потомков выскочить из нее в другую, повыше...

А собственник... Собственник провозглашал свою собственность табу для всего человечества. Он окружал ее рвами, бастионами, колючей изгородью. Да, да, чтоб никто не переступил священной черты. И помогали ему группы людей, не делавших ничего и только носивших с собой нелепые и устрашающие машины для убийства. Такие машины выделялись массами в эпоху религиозной морали и кодексов, запрещавших убийство.

Потом он приступал к сбору дани. Он брал с тех, кто строил, кто творил, кто работал. Он брал на себя, на детей и жен, на понравившихся ему мальчиков и девочек, банщиков и клоунов, а также для вооруженной банды, помогавшей ему возводить изгородь. Кого могла занимать такая игра? Варварская, абсурдная, бесчеловечная. Но что знаем мы о пристрастиях, легковерии минувших времен!

Тогда, кажется, не видели ни одного предмета, как он есть. К каждому примыслили собственника. Собственники разделили пищу, механизмы, города и земли, мысли, открытия и вдохновения поэтов. Человек, не выезжавший из Лондона, мог считаться владельцем индийских рудников и лебединого шага неоперившейся девочки-балерины в канадском городе Торонто, даже не подозревавшей об этом. Иные никогда не сумели бы исчислить свое имущество. Взорность разверстки заставляет снова всерьез отнестись к мысли о жребии. Собственник, не знающий даже, кто и чем занят на его заводе, мог отдать завод другому собственнику... или взорвать его! И собственники действительно периодически уничтожали производство. Они делали так, вероятно, потому же, почему Нерон жег Рим, а Калигула мечтал о единой шее для человечества, — чтобы перерубить ее. Не положивший ни одного кирпича, не пустивший в ход ни одного агрегата останавливал работу, производившуюся другими и для других. И эта бессмыслица принималась настолько всерьез, что тысячи работающих и тех, для кого работали, позволяли себя губить ради нее. Безумие, о природе которого я не решаюсь сделать никаких допущений!

— Но, простите еще раз, тогда, возможно, кому-нибудь принадлежало и солнце?

— Я обдумываю это. Вполне вероятно, что именно так

и было. Скорее всего, им владело общество богачей. Они жили в роскошных отелях, залитых светом с восхода до заката сквозь зеркальные витрины. Они присвоили себе витраж, чтобы не упустить ультрафиолетовых лучей, исцеляющих рахит и тбс. Немногие могли позволить себе роскошь обитать в домах, обращенных к солнцу. К большинству оно заглядывало слабым утренним или последним вечерним лучом. Те, кто мучительно подсчитывал, отходя ко сну, расходы, садились за окнами на север. Для бедняков отводили сырые подвалы, где дети никогда не видели дневного света. Их родителям было нечем платить акционерному обществу владельцев солнца.

3

— Кривое зеркало. Потешное зеркало. Вы неисправимы.

— Я ждал вашей критики.

— Подумайте, что вы хотели заронить в умы тех, кто слушал вас?

Но собеседник, опершись кистями рук, неожиданно подбросил свое большое тело в стенную нишу, временно заместив отсутствующий там бюст. Ниша была прорезана высоко, он, устроившись, перекинул по-домашнему свои не достававшие до полу ноги одну на другую.

— Силу смеха. Непримируемость смеха. Любовь и ненависть смеха, — ответил он.

— Непорочно легкомысленны, — уточнил второй, подняв худое лицо к его буйной пегой шевелюре и отблескам, которые зыбились подле нее по краям ниши, точно две стайки серебристых рыб в аквариуме. — Так трактовать тему исключительной серьезности! Что за письмо вы там откопали?

— Частное, очень литературное письмо... Восемнадцатый век.

— И общество без собственности? «Начало»? Вы смеетесь.

— Прочтите. Оно здесь. Хранители за него не держатся.

— Литература! — поморщился ученый собеседник. — Фантастика! Существует жизнь, исполнинский поток...

— Чертовски чудесный поток.

— И существуют законы этой жизни. Неотвратимые законы развития и преодоления, смены.

— Героического преодоления. Не забудьте: борются и преодолевают люди. Люди, слышите, а не геологические напластования!

— Так вот: дали вы себе труд изложить эти законы?

— Я хотел говорить о людях. О мерзости Собственника. О воинствующем себялюбии крошечного «я». Чтобы не существовало моего корыта. И любого зародыша его. Где бы и как бы он ни проклюнулся. Но я в самом деле не рассказал о длительности, тяжести и красоте борьбы, которая привела к подлинному началу нашей эры. Когда, сперва в одной стране, потом в нескольких, затем во всех люди, вместе взявшись, переломили хребет той, которую находчиво называл Старой Ведьмой писатель-современник, чье имя, жаль, не сохранилось. Я признаю это. Вы правы.

— Давайте ваш документ.

— Старофранцузский вас не смутит?

Он спрыгнул из ниши. Щелкнул замок. Ученый, сухо усмехаясь (шутку он счел неуместной и неумной), открыл защитную герметическую папку-футляр, где хранилось письмо.

4

Любезный друг!

Вы удивитесь, без сомнения, вести, которой не ждали. Я отдаю себе отчет в шаткости прав, основанных на кратковременном вашем расположении, давно, может быть, отданном другому...

Но как не воспользоваться счастливой случайностью, позволяющей переслать эти листки — неожиданное, поражающее продолжение наших бесед? Вот мое оправдание! Бог весть, когда я вновь увижу вас и увижу ли...

Опасности, которые подстерегают нас здесь, многочисленны и разнообразны. Искусство мореплавания не стоит еще на такой высоте (несмотря на примеры бесстрашных путешественников), чтобы сделать блуждание в Тихом океане увеселительной прогулкой...

В течение пятнадцати месяцев все наше человечество — это офицеры «Маркизы Наннеты» (я могу не упоминать простых моряков). Новости и сплетни рождаются тут, на палубе славной бригантины. И они кочуют вместе с ней, как океаны, народы и короли кочуют вместе с Землей вокруг великого светила.

Я сказал: наше человечество. Ибо своим мы называем тот мир, частью которого сознаем себя, который делает нас тем, что мы есть. Мы видели также другие миры. На островах, где растет камфара и мускат, мы находили чернокожих. Они соперничали с обезьянами в лазанье по ветвям и с попугаями в гортанных выкриках. Вы прочтите описание всего этого в трех томах, которыми Ле-Кордек, наш командир, готовится затмить знаменитого Бугенвиля. Отлично представляю, как недоуменно и капризно взлетает ваша бровь: Ле-Кордек, морской волк с лицом, иссеченным багровыми шрамами, голосом, гремящим нерихонской трубой над грозными валами океана, — и одинокие бдения у письменного стола, безмолвная, неустанная борьба с неподатливым словом, руки рубакки, нанизывающие ожерелья изящных фраз! Я не выдам никакого секрета, признавшись, что на титуле этого труда (появится ли он вообще?) было бы уместнее найти иное имя, некогда небезразличное вам. Но опыт отучил меня от поисков справедливости в людских делах. Мудрость состоит в покорности неизбежному порядку вещей.

Итак, я упомянул о туземцах. Черные, цвета золы или в пестрой раскраске — да, дорогая, все они также люди, и равно перед ними растворены врата спасения искупительной кровью. Это наши братья, но мы не помним родства с ними. Они нам далеки, как созвездия.

Счастливые или несчастные братья? Вы знаете, что философы до хрипоты спорят об этом и не пришли ни к какому заключению. Я не стану решать за них. Я хочу только рассказать об одном видении другого мира, явившемся мне в знойной Океании, видении, которое будет лучшим из всего, что похоронят со мною в гробу.

Именно так я хочу продолжить наши беседы о золотом веке.

Есть несравнимое очарование, когда за пеной бурунов, в серебряном потоке дня или ночными отсветами дрожащих костров встанет перед вами земля, которой еще не видел никто. Я выражаюсь точно. Никто из людей нашего ми-

ра — для нас это и есть: никто. И не будет высокомерием, если мореплаватель откажет туземцам в праве оспаривать у него первенство в открытии их родины.

На волнах ветви и плоды — западный ветер когда-то пригнал такие же с берегов Нового Света навстречу каравеллам Колумба; возглас вахтенного; доносится свист птицы; скрипнули реи, и с пассатом пахнул жар накаленной почвы, ропот и запах земли. Рядом смеются; в волчьих коричневых морщинах у кого-то слезы — старик плачет, как женщина, под хлопающими парусами, обнажив десны, взрыленные цингой. Что там, за этим низким прибрежьем в сизом оперении пальм, — в этом странном, опаленном, оплывающем в тусклой дымке очерке неведомой земли?

Вот мгновенья, которыми искуплены для мореплавателя беды, труды и опасности длинного пути, бури и штили, более страшные, чем бури!

Сейчас весна. Она размягчает снег на северных полях и человеческое сердце. Она срывает людей с самых насиженных мест и увлекает за собой: я не забыл этого. Мне особенно беспокойно весной. И больше всего вспоминать о мгновеньях счастья, недоступного больше мне.

Как долго, как жестоко трепал нас шторм! Ореховой скорлупкой была для его неистовой ярости «Маркиза Нанета». Он откинул нас прочь от морских дорог. Где мы очутились? Гладь этих наконец умиротворившихся вод, возможно, никогда не рассекали судовые кили. То было пустынное сердце великого Океана. Где-то в неизмеримых просторах рассеяны острова Дружбы, Мореплавателей и Товарищества. Ничего не оставалось, как взять курс к какому-либо из них, если новый шторм не добьет полумертвый корабль.

И тут вахтенный оповестил о суше. Мы наткнулись на осколок ее — такой плоский, что становилось понятным, почему до сих пор ни один корабль не замечал этой отмели.

Дождались рассвета. Брешь в коралловом рифе позволила войти в лагуну. Разноцветные рыбы сновали в глубокой и прозрачной воде. Земля была рядом; казалось, достаточно протянуть руку, чтобы сорвать зрелый плод.

Но мы совершенно ошиблись ночью в характере острова. Он вовсе не был ни пустынно безжизненным, ни даже плоским! Отмели наносила быстрая речонка. Тяжелое плодородие благословляло ее берега. Душный чистый аромат тропиков неподвижно висел над нею. Ветви встре-

чались через реку, лианы свивали их в сплошной зеленый полог. Впрочем, он не оставался зеленым. Драгоценные камни птиц сверкали в нем. Гигантские бабочки колыхались на гигантских цветах, образуя двойное соцветие. Цветущие гирлянды обрамляли их, более прекрасные, чем короны царей. Орхидеи походили на колибри. Сладостные шишки ананасов соперничали с полновесными громадинами, спеющими на хлебном дереве. Ваниль обнимала теоброму, дающую напиток богов. Флора раскрыла свой рог изобилия, как на полотнах Рубенса. Конусообразный пик дымился вдали.

И еще раз я почувствовал бессилие человека рядом с неиссякаемой щедрой мощью природы. Как жалки казались здесь попытки прибрать к рукам, занумеровать, назвать, вся эта игра в латинские системы, забавляющая наших Линнеев, — какое безумие думать, что можно втиснуть в застывшие рамки вечную творящую силу!

Мы берем от природы одну десятичную, то, до чего дотянутся наши руки и наш разум, то, что пригодно для наших маленьких целей. Это мы умеем называть и в этом наша наука. Не довольно ли с нас?..

Так думаю я теперь, оглядываясь на неожиданно подаренное мне и так быстро утраченное... А тогда? Тогда я, как и все мы, горел лишь одним желанием — скорее ступить на берег острова.

И уже первые шаги убедили нас, что действительность превосходит самые пылкие наши ожидания. Остров был сказочно богат. Целые флотилии не смогли бы вывезти всех его сокровищ, и десятки торговых компаний составили бы тут себе капиталы.

Мы непонятным образом ошиблись и в размерах острова. Он оказался гораздо обширнее, чем можно было ожидать. Мы не отваживались, однако, особенно удаляться от судна, хотя прохладный лиственный навес умерял зной, неприметно было ни хищников, ни ядовитых змей, а чистота воздуха ручалась, что нам не грозят лихорадки, порождение болотных миазмов, или москиты, бич тропиков.

Первая ночь в палатках показала, что земля эта обитаема. Люди приближались к кострам, они не боялись нас. То были статные молодцы с шапкой курчавых волос и повязкой на бедрах. Они не походили на других туземцев Океании. Вы знаете, что те, потрясая дротиками, окружают приближающийся корабль на своих долбленых лодках.

Назойливо лезут на палубу, за пустяки, которые природа дает им даром, стараются выменять все привезенное вами с собой, затем наливаются алкоголем, которого никогда не пробовали, и огнестрельное оружие в конце концов лучший язык для переговоров с ними.

Туземцы этого острова не досаждали ни враждебностью, ни назойливостью. С молчаливым любопытством они разглядывали нас из отдаления.

Следовало на что-нибудь решиться, если мы хотели остаться здесь столько, сколько потребуется, чтобы привести потрепанную бурей бригантину в состояние, пригодное для дальнейшего плавания, исследовать страну и запастись провиантом. Следовало также позаботиться о сборе и доставке на корабль ценнейших пряностей и копры. Экипаж не сумел бы со всем этим справиться сам: ведь нас окружали неизмеримые богатства. К тому же болезни ослабили людей. Значит, необходимо привлечь туземцев.

Ле-Кордек выслал отряды. Они не обнаружили поселений. У прибрежных скал, куда вышли разведчики, резвились дельфины.

Наконец удалось захватить туземца. Казалось, больше всего он был этим удивлен. Но нашим искусникам ничего не стоило заставить его разжать рот и указать путь в деревню.

Мы двинулись с карабинами, блестящими безделушками в тючках и достаточно емкими вместилищами для водки. В кольце черных тел мы прошли к большому шалашу предводителя. Навстречу нам поднялся величественный и нагой патриарх. Мне вспомнились семь бронзовых мудрецов Лисиппа, о которых говорит Диоген. Приведенные нами переводчики, предусмотрительно захваченные Ле-Кордеком на нескольких островах Океании, тщетно пробовали двадцать наречий, похожих на птичий щебет. Наконец старик кивнул. Он помолчал еще несколько минут, опираясь на посох. Затем он заговорил. Нам переводили его слова с пятого на десятое. Но жесты досказали остальное.

Я передам вам его речь так, как она врзалась мне в память.

— Ты хочешь, чтобы я пошел и повел, как ты говоришь, «мой народ» сдирать для тебя кору с живых деревьев и все кокосовые орехи с пальм, хотя это проворнее сделали бы обезьяны. Ты хочешь еще, чтобы мы обшарили леса и поляны, собрав все до одного зерна из тонких стручков: тебе

полезнее были бы птицы. Ты хочешь также, чтобы наши юноши, не дыша, доставали с морского дна ракушки, выбирая с маленькими светлыми камешками внутри: попроси об этом рыб! Ты хочешь... Да, ты хочешь, чтобы мы, как дети, перебирали песчинки в реке, вылавливая желтые крошки, в которых вовсе нет ни смысла, ни красоты. И чтобы мы долбили горы. А затем всем народом сложили к твоим ногам тяжкие ноши — дань изуродованных лесов, обобранных вод, обезображенной земли.

Вот чего ты хочешь, ты и приведенные тобой люди, которых во сто раз меньше, чем нас, населяющих эту землю с тех пор, как небо, прильнувшее к океану, крышей выгнулось над ней. Нашего неба, моря, страны и всех сил нашего народа — вот чего ты хочешь. Зачем? Какая тебе польза в горе и бедствиях других людей? Впрочем, это твое дело, а не мое. Но я не могу понять еще, почему ты, не зная нас, думаешь о нас так дурно, что ожидаешь, будто сами мы призовем к себе горе и бедствия для этой твоей, неведомой нам пользы.

Ты говоришь, что дашь нам за это разные вещи, чтобы мы украсили себя, наших женщин и утолили жажду. Я не знаю вещей, которые ты хочешь мне дать, но мне и не надо их знать. Разве тебе не понятно, что не может быть таких вещей, какие нужны мне, а имел бы их ты, а не я? День и ночь каждому дают то, что ему нужно. И давая, ничего не просят взамен. Ибо нет дара в том, что отбираешь обратно. Они одаривают только за то, что мы живем. Разве ты не понимаешь этого? Такой же человек, как мы, что ты можешь прибавить к их дарам? Свое тело — единственное, о чем скажешь: мое? Но оно не нужно нам. Оно никому не нужно, кроме тебя. И ты еще беднее нас, ибо тело у тебя не имеет даже цвета, и ты вынужден прикрывать его!

Взгляни, вот я хочу есть, и ветви наклоняют ко мне свои плоды. Большого мне не надо. В плодах и побегах зреет вино для наших юношей, чтобы они были неустрашимы. Что прибавишь ты?

Ты сказал: вот украшения для женщин, чтобы слаще казалась их любовь. Но разве те, что ты принес, прекраснее раковин и цветов? Легких опахал бабочек и огня заката? И разве тобой сделаны главные украшения девушек — их глаза, и узкие ноздри, и горячие груди, и твердые бедра? Оглянись, вот юноши и девушки. Они молоды,

и юноша избирает девушку. Он вплетает ей в волосы лепестки. Солнце светит им, и они веселы. Они кружатся, не видя никого, кроме друг друга. И на закате он поведет ее в лес. Они будут любить друг друга, пока с ними останется счастье. Может быть, так будет всю их жизнь. А если нет, он еще найдет себе верную жену, а она мужа. Он поедет на рыбную ловлю, и прибой оближет ноги жены, ожидающей на рифах. Она намастит ему волосы, напоит соком кокоса и научит детей улыбаться отцу. Что прибавишь ты?

Ты сказал: «мой народ». Я не могу понять, что ты думал при этом. Если меня слушают во всех хижинах и шалашах, то это потому, что я лучше знаю, как жить мудро и справедливо. Я учу тому, чему научила меня жизнь. Старость — печальная вещь, но она постигла меня, как постигает всякого, и надо, чтобы не пропала даром та единственная выгода, которую дает она. Меня слушают потому, что, уча других, я говорю о них, а не о себе! Я ничего не прошу, как равно ничего не даю: старик ничего не может дать сильным и молодым.

Но я помогаю им взять то, что есть у них самих и чего больше нет у меня. Если бы я не делал этого, моя жизнь слилась бы уже с вечным Ничем. Когда же старость поглощает силы кого-либо из слушающих меня, они перестают нуждаться во мне. Они уже сами, как я. Но им нечем гордиться и незачем сожалеть о них: ибо ни гордости, ни жалости не подлежит то, над чем не властен человек. И когда исполнится срок моей жизни, один из них, по согласию всех, заступит на мое место...

И если ты все это имел в виду, говоря «мой народ», то как же ты, не имеющий ничего, предлагаешь, чтобы я заставил моих сограждан, богатых всем, бросить тебе свое достояние — свою свободу, свою радость, свою жизнь, то есть совершить поступок бессмысленный и безрассудный? Может быть, я кажусь тебе сумасшедшим; но разве ты думаешь, что один безумец может сделать безумными сотни не потерявших разума?

— Уходи же, чужестранец, лишенный цвета! Я сказал все. Уходи и подумай о простых вещах, которых не видит твой затуманенный взор. Мы попросим великое море быть благосклонным к тебе на твоём пути.

Старец умолк. Невозможно выразить, что я почувствовал, услышав под сенью ланан бессмертные принципы «Ко-

декса природы», начертанные, как рассказывают, золотым пером Дидро, — мне не забыть, пусть случайного, рукопожатия этого человека под вашим гостеприимным кровом! *.

Ошеломленные, мы не шелохнулись. Нужно ли добавлять, что многие из нас в душе возблагодарили Создателя, убежденного счастливых детей блаженного острова от бесчеловечной руки работорговцев-англичан. О, если бы я мог навсегда остаться тут, сбросив оболочку белой кожи и бесполезное бремя культуры! Вашему чувствительному сердцу был бы любезен этот мир, где не отделяют «мое» от «твоего» и где не начиналась еще история, состоявшая, как говорит Гроций, в том, что народы передали себя королям.

Между тем положение становилось запутанным. Сумел ли я внятно объяснить, что повлек бы за собой для нас поворот — прочь от Сезама с его уже растворенными воротами? Прочь от славы, богатства, удачи всей жизни! Подумайте: завершены скитания, впереди, за в т р а домашний верблюд. Сны о дивном минувшем и сбывшиеся мечты наяву. Все. Навсегда. Вы знаете, что это для моряка? «Для меня и моих детей», — скажет он.

Следовало помнить, наконец, об интересах французской короны, осеняющей пути далеких странствий — ради познания неведомого и приращения сокровищ королевства торговлей и мореплаванием.

Ле-Кордек проявил неожиданное терпение. Напрасно прибегали к доводам — не нашлось неотразимых для старца. Оставалось дать слово силе вместо бессильной кротости. Я хотел бы опустить завесу. Пролилась кровь. Б е с п о л е з н а я к р о в ь — мы располагали лишь ничтожной силой, ярость шторма не пощадила пороховых чуланов — к клочку суши в морской пустыне прибило искалеченное судно с экипажем, вооруженным хлопушками!

И все же этого было бы довольно, чтобы в Океании вас признали богом... или дьяволом. Но здесь... Страх не со-

* «Кодекс природы, как истинный дух ее законов, во все времена пренебреженный или не признанный» напечатан в Амстердаме с таким обозначением года, места издания и типографа: «1755. — В с ю д у. — У настоящего мудреца». Мы теперь знаем автора: Морелли, почти ничего не зная об этом замечательном коммунисте-утописте. А долго знаменитую книгу приписывали Дидро. Даже помещали в его сочинениях. (Примеч. автора).

гнул позвоночника наконец-то покорившимся усердным работникам. Нет! Черные грибы дыма тщетно выросли над жалкими шалашами деревни. Остров вымер. Туземцы исчезли. Бесплезная кровь!..

А ночная тьма тучей ладей обступила корабль. Мы больше не решались ночевать на берегу. Отряды не смели углубляться в леса. Умолчу ли о негаданном? Я ошибся, воображая, будто лишь немногие из наших, изощренные в диалектике, поняли речь старика. Оборачиваясь, мы ловили косые взгляды. Матросы забывчиво пренебрегали самыми категорическими приказами. Мачта, которую укрепляли, вырвалась из гнезда, конец ее просвистел у головы Ле-Кордека.

И вот — через волны, хребты, дебри и пески я обращаюсь к вам. Друзья мой! Не слишком ли громко беседуем мы при бесшумных слугах? При земледельцах, возделывающих наши сады и поля? Даже при рыночных торговках? Что, если близок — пусть звучит это абсурдом — страшный день, который мы сами торопливо готовим, — день, когда — чересчур поздно! — слетит повязка с наших глаз?

Видите, какие мысли внушают Южный Крест и досуг моряка!

Итак, медлить у острова сделалось невозможно. Заспешили плотничьи топоры и кривые иглы парусинщиков. Офицеры не уставали подгонять. Нет места жалости к другим, когда презираешь собственную слабость. Мы должны отчалить, чтобы начать все сначала, по крохам, у побережий, облепленных европейскими кораблями, как мед мухами...

Теперь, когда все ушло в невозвратное, я и шлю вам письмо — горькая удача! — с капитаном одного из этих кораблей, тех, что опередили нас... Трюмы полны, капитан возвращается на родину, — тем труднее наполнить их нам, тем дальше она от нас!

Мне приходится упомянуть еще отчаянную «кухонную» вылазку, предпринятую Ле-Кордеком ради повара и его кладовой. В решающий час не жалели зарядов. Заговорила единственная пушка, сохранившая голос.

Последний возврат на борт. Поверка. Не досчитались одного. Он нарушил строжайший запрет не отлучаться из рядов. С мешком за плечами, размахивая свободной рукой, ослушник показался, когда уже захлопали паруса. Упал, поднялся, что-то выкрикивал. Никогда не забуду ледяного

презрения, с каким глядел Ле-Кордек на заплетающиеся ноги человека, бежавшего изо всех сил, не выпуская мешка. Приготовившись командовать, я запнулся.

— Вы что, французский дворянин или... — с грубой угрозой, без обращения сказал Ле-Кордек. — Якорь!

Дисциплина на судне жестче, чем в осажденной крепости. По моему знаку младший офицер обнажил кортик. Люди взялись за рукоятки. Заскрежетал ворот. Тяжелые звенья поползли на палубу, мокрые и лоснящиеся. Как фарш из мясорубки. Так я подумал в первый раз в жизни.

— Я покажу каналье! Я проучу всех каналий, — сквозь зубы пробормотал Ле-Кордек. Он думал о мачте, просвистевшей мимо его виска.

Матрос все бежал по берегу, за кораблем; одна нога его, в кромке прибоа, зарывалась в песок, точно он был хром или изувечен в сражении, — вымоченный до пояса, он не замечал ничего, и все махал рукой, и все придерживал мешок, оттягивающий ему плечи (Что было там? Золото, жемчужницы, откопанные в пепле сожженной деревни, или, скорее, куски алебаstra, принятого за драгоценность?) Из рта, зияющего как рана, вылетал непрерывный, на одной ноте, хриплый, уже почти беззвучный вой. Я не видел никогда ужаса, подобного тому, какой исказил каждую черту этого человека. Еще живой, рядом с нами, он был мертвец, непереходимой гранью отрезанный от жизни. И с каждым мгновением ширилось то, что отделяло, отсекало его. Он остановился наконец. Гримасничал и дергался и все, как заводной, зывал рукой — далекий, чуждый, под блистающим солнцем, будто зарытый в могиле. Словно я, черным волшебством, подсмотрел муки души у еще не остывшего трупа, в ее страшном одиночестве смерти — на том, уходящем в забвение берегу, откуда никто не возвращается...

Судно ускоряло ход.

Итак, прощай, сладостное видение потерянного рая!

Корабль со ржавой надписью «Цивилизация» причалил к тебе — и оставил кровавый след в твоей лагуне. А что же увез с собой?

Я знаю, что и а ш у историю назад не поворачишь, как бы ни был печален ее бег, и право наследования, опору общества с его неравенством, нельзя уничтожить, поскольку нам открыто бессмертие души.

По секрету вам скажу, что свои надежды я возлагаю не на дряхлую Европу, но на Америку, смело восставшую

против лондонского деспота. Сильные люди, свободные от величия и гербов предков... Найдется ли в среде их философ, который укажет им правый путь?

Вот, дорогой и милый друг, то, что я хотел вам написать. Я стал болтлив. Простите мне это. Вспоминайте обо мне.

Остров мы назвали (я так предложил): Святое Упование. И водрузили на нем лилии Бурбонов.

Я уповаю.

Целую ваши ручки, так как больше не смею сделать того же с самыми прелестными губками на земле».

— Я прочитал, — сказал ученый.

— Да? — отозвался друг.

— Литература, разумеется. Ф и к ц и я, как справедливо предпочитали обозначать это англичане. Но в основе тут что-то есть.

— А вам не приходит в голову, что именно литература и искусство рассказали человеку главную правду о нем самом?

— Признаем просто, что памятник любопытен. Кодификаторы пропускают многое. И я хотел бы опубликовать его, сославшись, само собой, на вас.

О НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКЕ



С. ЛАРИН

Пафос современной фантастики

Когда-то автор книги об Уэллсе, написанной в первые годы революции, Евгений Замятин, говоря об отсутствии фантастической традиции в русской литературе, верно объяснил причины этого явления «окаменелой жизнью старой дореволюционной России». Однако, как казалось ему, нарождающаяся новая действительность внесет сюда свои коррективы. «Россия послереволюционная, — писал он, — ставшая фантастичнейшей из стран современной Европы, несомненно отразит этот период своей истории в фантастике литературной».

Дальнейшее развитие нашей литературы подтвердило справедливость этих слов. Сейчас можно говорить не об отдельных образцах научной фантастики, как это было в 30—40-е или первые послевоенные годы, но обо многих десятках произведений этого жанра, о целой фантастической литературе, которая особенно бурно развивается сейчас, во время, отмеченное поразительными успехами нашей науки в освоении космоса.

Появляются не только фантастические романы, но и книги о самой научной фантастике. Я имею в виду вышедшую недавно работу молодого критика Юрия Рюрикова «Через 100 и 1000 лет». Книга Рюрикова не просто работа обзорного характера, анализирующая ряд научно-фантастических произведений последнего времени. Основное внимание критика сконцентрировано вокруг одной из центральных проблем современной фантасти-

ки — на вопросе о том, как она изображает человека будущего. В этом смысле его работа в чем-то сродни самим произведениям фантастов. Сопоставляя характеры героев книг, созданные писателями-фантастами, с данными науки, исследованиями, экспериментами ученых, психологов, социологов, с рассуждениями философов, Ю. Рюриков стремится как бы вслед за писателями спроецировать на своем экране облик нового, грядущего человека. Книга привлекает широкой эрудицией автора, свободной манерой разговора, который он ведет с читателем, умея о самых сложных и мало изученных наукой понятиях и гипотезах говорить просто, увлекательно, ярко и образно. Эти достоинства книги тем более дороги, что автор ее в нашей весьма небогатой критической литературе о фантастике идет, что называется, по первопутку.

— А может, это схоластика? — скажут нам некоторые нелюбители фантастики, которые, сохранив смутное воспоминание о двух-трех книжках Жюль Верна, прочитанных в далеком детстве, с тех пор считают фантастику таким легким чтивом «для младшего школьного возраста». — Тоже, мол, «проблема» — человек будущего да еще в фантастическом романе!

А между тем ведь это не столь уж отвлеченный вопрос. Та же дискуссия «физиков» и «лириков» имеет самое прямое отношение к разговору о человеке будущего, о том, что ожидает его в недалеком завтра. Недаром и сам автор книги «Через 100 и 1000 лет» буквально с первых же страниц «подключается» к этому спору. В чем существо этой полемики? «Ноль или бесконечность» — так определил ее сущность Ю. Рюриков, то есть, другими словами, говорит он, оппонентов «физиков» беспокоит вопрос: «Что сделает будущее с человеком: нивелируется ли человеческая личность, упадет ли ее значение до нуля или она будет расти и ценность ее станет беспредельной?»

Любопытно, что эти споры идут параллельно тем процессам, которые совершаются сейчас в нашей жизни, когда наука, технический прогресс начинают играть все большую и все более важную роль. Или, как заметил И. Ефремов в одной из своих недавних статей, «современная наука настолько проникла во все стороны жизни общества, что стала решающим фактором в развитии

производительных сил. Ее успехи — такой же исторический общественный процесс, как и все остальные стороны и пути развития человечества».

В этих спорах отражается подчас своеобразный испуг человека перед все возрастающим могуществом техники и науки. Корни этой настороженности в человеческой психике имеют весьма давнюю и темную историю. В сущности, уже первым робким шагам науки сопутствовали недоверие и подозрительность какой-то части человеческого общества. Темнота, невежество, непросвещенность, прикрываясь в далекие времена религиозными предрассудками, шли по пятам первых искателей и изобретателей. Собственно, даже через легендарную ткань древнего и прекрасного мифа об Икаре прорывается эта торжествующая ухмылка тогдашнего обывателя, который вполне удовлетворен тем, что юноша, дерзнувший взметнуться к солнцу, пал жертвой собственного безрассудства...

И когда сегодня приходится еще читать в нашей прессе нападки на фантастов, которые-де пытаются убедить читателя, что наступят времена, когда представителей рода человеческого заменит «машина, более совершенная, чем сам человек», то невольно думаешь, что в условиях нашего общества подобные опасения продиктованы скорее какой-то гипертрофированной «автоматобоязнью», а вовсе не реальными опасениями. Вдвойне досадно, что эти «соображения» высказываются писателем В. Немцовым, тоже называющим себя фантастом.

Следует, конечно, различать две вещи. В условиях капиталистического общества даже начало процесса постепенной автоматизации современного производства, как верно подмечает Ю. Рюриков, несет еще большее обострение тех антагонистических противоречий, которые присущи этому обществу. Вот почему полны тревоги высказывания кибернетика Н. Винера, восклицającego, что «новая промышленная революция является обоюдоострым мечом», вот почему французский кибернетик П. Косса опасается, что этот грандиозный промышленный переворот приведет «к созданию безработицы и отчания».

Но может ли что-то подобное угрожать и коммунистическому обществу? «Ясно, что у нас промышленная революция, — замечает автор книги, — не приведет к взрыву, ясно, что она будет не злом, а благом. Но чем станут за-

ниматься в будущем огромные массы людей, которых автоматика освободит от непосредственной работы на машинах? В каких сферах труда смогут применить они свои способности?»

Как действительно этот сложный вопрос будет решаться у нас, как он решается уже сейчас, когда каждый новый день знаменуется новым внедрением автоматики в нашу промышленность?

На примере фантастического рассказа В. Сапарина «Последний извозчик» Ю. Рюриков интересно анализирует один из возможных вариантов решения подобной проблемы в социалистическом обществе. Герой Сапарина — пилот, которого процесс автоматизации службы управления все больше «отчуждает» от его любимой профессии и даже начинает постепенно внушать к ней полное равнодушие, чуть ли не ненависть. Чуткие, совершенные приборы не только способны отлично вести самолет, но могут и сами предотвратить внезапную аварию, исправить во время воздушного рейса каждую поломку. Бывший ас нужен еще в кабине самолета лишь для того, чтобы суметь предотвратить одну из тысячи возможных комбинаций при аварии, именно ту, что пока не предусмотрена, не записана на реле автоматической памяти прибора. Когда же однажды такое сложнейшее сочетание все-таки наступает и пилот уже счастлив, что его искусство, наконец, понадобилось, в действие вступает новый, еще неиспытанный механизм, и быстрее человека устраняет аварию.

Значит, капитуляция? Значит, окончательная отмена человека, его знаний, его опыта? К этой ли мысли подводит читателя автор? Нет. Сапарин иначе решает эту проблему. Да, новый прибор совершеннее, его реакция оказывается более быстрой. Но человек будет теперь занимать иной командный пост: ему поручат с Земли, с помощью приборов, вести управление сразу несколькими десятками самолетов. Словом, «уступая» машине в одном, он с помощью тех же машин становится еще более могущественным, техника вовсе не «подминает» его.

Вот, собственно, одно из тех возможных направлений, по какому может пойти в будущем внедрение сложнейших автоматических устройств в нашу жизнь. Думается поэтому, что глубоко прав Ю. Рюриков, когда он, говоря о судьбе такого «лишнего человека» в будущем комму-

нистическом обществе, подчеркивает, что проблема «лишних людей» станет решаться совсем иначе, не так, как она решалась прежде, как решается сейчас на Западе. «Конечно, — пишет Рюриков, — они будут «лишними» совсем не в старом смысле этого слова... не как личности, и не вообще в сфере труда, а только в старых профессиях. Их функции в этих профессиях возьмет на себя автоматика... Люди освободятся от черновой, «серийной» работы, смогут полностью отдать свои силы творческому труду».

Со всей остротой перед человеком коммунизма встанет, однако, другая проблема: внедрение автоматике, усложнение производства заставит его постоянно совершенствоваться, расти интеллектуально, если он действительно захочет сохранить свое главенствующее положение и впредь не спасовать перед «разумными машинами». Как и перед пилотом рассказа Сапарина, перед ним встанет однажды проблема: необходимость расширить шкалу своих профессий, постоянно идти в ногу со временем, не отставать от него, чтобы не очутиться в хвосте...

Рюрикову подобный «зачин» книги — с рассуждений о проблеме «ноль или бесконечность» — необходим для широкого разговора об идеале человека будущего, каким он встает на страницах наших научно-фантастических книг. Потому что не узкая профессионализация, а разносторонность, а значит, и масштабность взглядов, духовных горизонтов — вот что станет необходимым условием, определяющим весь облик грядущего человека.

Рассуждения о гармонически развитой личности — это опять же вовсе не пустая схоластическая проблема. Истоки ее Рюриков верно нащупывает все в том же споре «физиков» и «лириков», когда на стороне этих последних вступает в полемику с инженером Полетаевым. Мы помним, как на страницах «Комсомольской правды» Полетаев писал: «Наука и техника создают лицо сегодняшней эпохи... Мы живем творчеством разума, а не чувства, поэзией идей, теорий, экспериментов, строительства. Это наша эпоха. Она требует всего человека без остатка, и некогда нам восклицать «ах, Бах! ах, Блок!» Конечно же, они устарели и стали не в рост с нашей жизнью. Хотим мы этого или нет, они стали досугом, развлечением, а не жизнью».

ков видит в них как бы своеобразное «теоретическое» подведение итогов тем суждениям, которые уже довольно продолжительное время высказывались авторами многих фантастических произведений. Рисуя картины будущего мира, фантасты прошлого представляли его подчас таким царством абсолютной технократии, когда у людей не останется ни времени, ни желания заниматься столь бесполезным делом, как искусство.

Да, именно из прошлого выводит критик «родословную» всех этих теорий, из эпохи, когда капиталистическое производство привело к тому, что человек сделался близким придатком машин, был лишен возможности всестороннего развития. Социалистическое же общество, подчеркивает автор книги, вместе с уничтожением классового гнета приступило к ликвидации и классового разделения труда, к уничтожению человеческой «частичности».

Рюриков стремится доказать, что для человека коммунистического будущего трагического в своей неразрешимости противопоставления науки и искусства не возникнет. Не возникнет именно потому, что по своему складу он станет иным — гармонически развитой личностью, а не тем узким специалистом, о котором Козьма Прутков говорил, что он «похожен флюсу».

Но может быть, в этих утверждениях критика больше заклинаний и громких фраз, чем убедительности и логики? Возможна ли в самом деле та широкая универсальность, единение в одном человеке той «алгебры и гармонии», которое, например, доступно героям «Туманности Андромеды» Ефремова? Может быть, все это лишь свободная фантазия писателя, не имеющая никаких «опор» в действительности?

Рюриков, однако, стремится своеобразно «подтвердить» гипотезу Ефремова теми данными, которые свидетельствуют, что для завтрашних устремлений науки будет неизбежен именно синтез наук, а не рассредоточение на разных полюсах. Уже в современной науке при всем ее дроблении и делении заметны тенденции к новому синтезу на более высокой основе. Доказателем под этим углом зрения тот анализ Рюриковым романа «Генератор чудес» Ю. Долгушина, где, рассказывая о новых открытиях в физике, химии, биологии, писатель всей логикой своего произведения подводит читателя к мысли, что но-

вый скачок в развитии этих наук по плечу только ученому энциклопедическим знаниям, ученому-«совместителю». Именно таким совместителем у Долгушина оказывается физиолог Ридан, который, стремясь постигнуть сложнейшие процессы, происходящие в коре головного мозга человека, убеждается, что для продвижения вперед в своей области науки ему недостает познаний в современной физике. И вот Ридан становится физиком, ломая старые рамки своей узкой специализации, и тем самым добивается искомого результата.

Процесс, который запечатлен в романе Долгушина, становится своего рода закономерностью в науке, все перспективы которой устремлены в будущее. Недаром, как заметил Н. Винер, ныне именно «пограничные области науки открывают перед надлежаще подготовленным исследователем богатейшие возможности». Именно на стыке двух смежных наук начинается сейчас «родословная» новой более сложной науки, рождается неожиданное открытие. Подчас даже совмещение очень далеких, казалось бы, вовсе не связанных друг с другом областей знаний дает неожиданный и яркий результат. Достаточно вспомнить хотя бы эпизод из нашей научной практики последних лет, когда математика со своими мудрыми помощниками — электронными машинами — помогла ученым-лингвистам разгадать вековую научную загадку — письменность майя. Некоторые факты говорят даже о своеобразном сближении, почти слиянии науки с искусством. Взять хотя бы факт создания электронного инструмента, исполняющего «музыку цвета». Инструмент вобрал в себя достижения кибернетики, акустики, светотехники. А ведь основы этой музыки были заложены еще композитором Скрябиным!..

Вот почему мне кажется, что Ю. Рюриков не совсем прав, полемизируя с Полетаевым, так сказать, по всему фронту. Конечно, крайность полетаевских высказываний едва ли приемлема, особенно этот его своеобразный призыв — сбросить Баха и Блока «с корабля современности». Но есть, однако, в его словах и несомненная скрытая тоска по большому современному искусству, которое впечатляло бы человека нашей эпохи сильнее, чем пусть самое высокое, но все же искусство прошлого. Есть в полетаевской фразе эта, невысказанная прямо мысль о том, чтобы современное искусство шло вровень с современной

наукой, вбирало бы все ее богатство и глубину. Ведь часто именно этой оснащенности мыслью и недостает сегодняшнему искусству. Это и рождает известную диспропорцию между запросами современного человека и современным искусством. Если у Полетаева сказывается определенная нигилистическая крайность в суждениях об искусстве, то в этом уж никак нельзя заподозрить академика Л. Ландау, а ведь именно он, делясь недавно своими мыслями о современном фильме, заметил: «Чего я не люблю в кино — это скуки. Да простят мне некоторую резкость, но я называю подобные произведения «тянучкой».

А чем, как не такой «тянучкой», являются многие современные фантастические романы, в коих, по образному выражению Рюрикова, человек «заставлен техникой, как стены в тесной комнате мебелью». Поскольку процесс «старения» в научно-фантастической литературе идет очень быстро, поскольку современная наука все время наступает «на пятки» фантастике, фантаст все время должен опережать науку. Для этого ему необходимо «быть ученым, стоящим на переднем крае исследований, широкообразованным в области истории науки и накопленных ею фактов». Это высказывание Н. Ефремова продиктовано писателю всей логикой развития современной науки и его собственным опытом фантаста и ученого.

Действительно, сама живая практика нашей науки, развитие космонавтики ставят массу новых проблем перед литературой, перед фантастом. Недаром Ю. Гагарин, выступая перед писателями, призывал их показать те новые широкие горизонты, которые открываются перед человеком, выходящим в космос, отразить новую эстетику, новую красоту, новые понятия, рождаемые этими процессами. Ведь выход в космическое пространство изменил многое в самом нашем понимании героизма. До сих пор еще продолжают появляться фантастические романы, в которых героизм космонавта показан или в борьбе с чудовищами на далекой планете или же в ликвидации неожиданной аварии звездолета. Ну, а если все идет безукоризненно, как это и было при полетах наших космонавтов? Значит, не было и героизма? Не было волнений, переживаний, волевого напряжения, как до полета, так и во время него? Тут жизнь вносит свои неожиданные коррективы. Не физические трудности подстерегают

здесь человека. Как свидетельствуют научные авторитеты, «космос отличен от Земли прежде всего новизной обстановки, к которой психика человека не всегда может оказаться подготовленной и в силу которой и чисто физические трудности приобретут новый оттенок... Поэтому и развивается сейчас столь бурно новая ветвь науки — космическая психология. Она заранее ищет ответа на вопрос, какие свойства космического пространства и как могут повлиять на психику человека». Вот, например, по свидетельству самих космонавтов, даже в период подготовки к полету одним из самых тяжелых предварительных испытаний силы воли, характера, психики было испытание тишиной — долгие дни, проведенные в полном одиночестве в герметически изолированной камере...

С. Лем в своем романе «Магелланово облако» изображает как раз конфликт такого рода: часть экипажа космического корабля переживает нечто вроде коллективного массового шока, нанесенного космической тишиной, бесконечностью космического пространства, она готова открыть люки, ринуться в черную бездну вселенной, лишь бы нарушить это невыносимое, непроницаемое однообразие полета...

Да, жизнь подсказывает много нового фантастам. Она же рождает нового читателя, который весьма придирчиво читает многие книги этого жанра, читает, сопоставляя их с жизнью, с тем запасом своих собственных знаний, которые подчас бывают у него гораздо богаче, чем у автора юного романа. Недаром сейчас на первый план выдвигается фантастика большого философского звучания, страстной, ищущей мысли — книги И. Ефремова, С. Лема, Г. Гора, братьев Стругацких, — фантастика, ничего общего не имеющая с мещанскими или упрощенно-вулгаризаторскими представлениями о будущем, о космосе.

Подобные мотивы встречаются и в творчестве других советских писателей-фантастов. В «Балладе о звездах» Альтова и Журавлевой нет, к примеру, захватывающих дух космических приключений, хотя и рассказывается в ней о полете на неизвестную, загадочную планету. Кое-кого из любителей острых, конфликтных произведений подобного жанра эта «Баллада» попросту может разочаровать. Основу ее составляют «приключения мысли», переживания и раздумья космонавта, пытающегося постигнуть тайну неизвестной ему формы жизни, с которой

он столкнулся на далекой планете. Авторам удалось передать как раз самое трудное, избежав обычных «космических ужасов». С большой увлекательностью они рассказали о неудержимом стремлении будущего человека Земли любой ценой приобщиться к неведомому, о том его новом прекрасном свойстве, которое Горький определил как «инстинкт познания». Мы с интересом следим в «Балладе» за напряженной работой человеческого интеллекта, присутствуем как бы при самом процессе познания, который, пожалуй, и является одним из величайших чудес природы, несравнимым ни с какими космическо-детективными «чудесами».

Именно за фантастикой такого большого полета, фантастикой высокой мечты, устремленности человеческой мысли — будущее. Поэтому и автор книги «Через 100 и 1000 лет» свои размышления об облике героев современных фантастических произведений заключает словами о том, что настоящая фантастика ошеломляет человека размахом своих предвидений, «не дает ему стоять на месте, не позволяет застыть в самодовольстве. Она будит в человеке творца, взрывает доты его застывших взглядов, учит его быть революционером, искать новое и ломать старое, омертвелое».

В этом итоге, к которому Рюриков постепенно, с привлечением многих конкретных литературных примеров и фактов науки подводит читателя, — одно из главных достоинств его талантливой книги.

В. ТРАВИНСКИЙ

Раскроем сборник «Фантастика, 1962 год»

1

Спящий проснулся. Точнее, кончилось «отчуждение временной смерти», как определил состояние Павла Погодина его врач и одновременно его дальний потомок, он же тезка Павел Погодин. Пра-пра-прадед Павел Погодин, беседующий со своим пра-пра-правнуком Павлом Погодиным — это первая, но отнюдь не самая парадоксальная ситуация, возникающая на страницах повести Г. Гора «Странник и время».

Смелый научный эксперимент окончен. Человек XX века оказывается в XXIII веке. Мир далекого будущего открыт перед ним. Великолепный, могущественный, яркий и... не совсем понятный и не во всем приятный мир.

Г. Гор в своей новой фантастической повести остается верен себе. Никаких сюжетно-композиционных трюков, столь соблазнительных в данном случае, никакого нагнетания романтизированных или сентиментальных коллизий... Внешняя канва повести очень проста, очень спокойна и до конца логична. Рядовой средний интеллигент нашего времени, волей науки перенесенный в будущее, не торопясь, без экзальтации и предвзятости вглядывается в окружающее, стараясь его понять и принять.

Принять — проще... Мир будущего — добрый, умный, ласковый мир, где даже странник, перескочивший через временной провал, может почувствовать себя уютно. Подчеркиваем: может... Не должен, не обязан, не — обязательно, не — безусловно, а может... Самое интересное и оригинальное

нальное в горовской трактовке этого традиционного фантастического варианта — путешествие во времени — именно в том, что писатель вводит в него мотив одиночества странника. И одиночество это не зависит от степени благоустройства будущего мира, от чуткости его обитателей, от характера странника. Это относительное одиночество неизбежно для человека, вырванного из своего «интеллектуального ареала» и поставленного перед целым рядом явлений, которые он не может принять, хотя и безоговорочно принимает морально.

Такой поворот темы вкладывает в фантастическую ситуацию ту необходимую дозу психологического реализма, без которой нельзя относиться серьезно к рассматриваемым проблемам.

Именно потому, что Погодин никак не может примириться со случившимся — со своим скачком через время — мы вместе с ним задумываемся над парадоксом сна. Действительно, что произошло с Погодиным? Он закрыл глаза, время перестало течь для него, он провалился во вневременное состояние, потом открыл глаза — а прошло триста лет, все изменилось, кроме него самого. То же самое, в принципе, происходит с каждым из нас ежедневно, когда мы закрываем глаза, засыпая, и открываем их, проснувшись. То же самое — или не то же самое? Задумываешься...

А что же сохраняет для нас цельность восприятия мира, сохраняет нас, как личность, хотя мы 365 раз в году на несколько часов проваливаемся во вневременное состояние? Память, по-видимому, «прошрое, резервированное в тех участках мозга, которые умеют остановить миг, спрятать его впрок, чтобы повторить, когда в этом возникает надобность», как пишет Г. Гор. Участки мозга, которые умеют прятать впрок миг? Задумываешься...

Людмила Сергеевна невзлюбила Погодина. Она возмущена противоестественным «вторым рождением» Погодина: «Если все будут шляться во времени...» И в самом деле: не противоречат ли выводы науки о разном течении времени (вспомним о космонавтах, летящих со скоростью, близкой к скорости света) нашим сегодняшним представлениям о родстве, преемственности поколений, возрастных отношениях, поступательном движении познания? Этичны ли исследования времени? Задумываешься...

Повесть Г. Гора заставляет задумываться. Полностью использовав свое право фантаста ставить обычных людей

в необычные обстоятельства, писатель тем самым в неожиданном, особенно впечатляющем ракурсе поворачивает наши самые обычные, самые вроде бы правильные представления «о времени и о себе». Попытка художественного осмысления и переосмысления основ человеческой психологии, морали, познания ставит повесть Г. Гора в ряд интереснейших художественно-философских произведений.

2

В отличие от Г. Гора братья Стругацкие не пытаются найти научного сюжетного объяснения тому факту, что герой повести «Попытка к бегству» Саул перенесся из XX века вперед чуть ли не на тысячелетие. Он перенесся — и все. Как? Об этом не говорят авторы, об этом не знают ни Антон, ни Вадим, спутники Саула в их совместном путешествии на страшную планету Саулу. Больше того, Вадим и Антон почти до самого конца и не подозревают, что имеют дело отнюдь не с кабинетным ученым, «книжным червем», историком, изучающим далекий XX век. Саул кажется им немного странным — и только. И, пораженные, читают они в самом конце записку исчезнувшего Саула: «...Я просто дезертир. Я сбежал к вам, потому что хотел спастись. Вы этого не поймете. У меня осталась всего одна обойма, и меня взяла тоска. А теперь мне стыдно, и я возвращаюсь...» Они переворачивают записку и видят донесение обершарфюреру СС господину Вирту от блокфризера шестого блока...

Савел Петрович Репнин, командир Красной Армии, военнопленный, взятый немцами в плен под Ржевом, заключенный № 819360, использовал свою последнюю обойму. Попытка к бегству в будущее не удалась. Саул слишком честен для того, чтобы спасти только себя. Он возвращается из будущего на свое место доделывать свое горькое, но необходимое дело. И гибнет. И труп его сапогом переворачивает на спину эсэсовец. И жирный дым валит из труб лагерных печей... Надо, чтоб Саул погиб. Надо, чтоб он стрелял даже тогда, когда это заведомо безнадежно. Попад в будущее, Саул убедился, что если такие, как он, не сделают все, что они могут сделать сегодня, то

завтра не наступит. «Никто не придет и никто не снимет...» Никто за нас ничего не сделает, в наших руках не только сегодняшний день, но и будущее. Будущее — это мы, наша воля, наша вера, наша жизнь — и наша смерть. И когда читаешь последнюю фразу повести, вспоминаешь слова поэта:

Глаза их полны заката,
Сердца их полны рассвета.

«Попытка к бегству» — сложное произведение. В нем Стругацкие впервые уходят от дорогого их сердцу мира добрых камерных коллизий и своеобразных, но частных проблем науки в мир острых социальных конфликтов, дерзких контрастных всечеловеческих обобщений — в большой мир большой литературы. И туда им удалось принести все скопленное на подходе: индивидуальность стиля, добротный естественный юмор, сюжетную остроту, энергичный «сценарный» диалог. И если повесть Г. Гора «Стравник и время» продолжает и развивает уэллсовские традиции фантастики («Когда спящий проснется», «Машина времени»), хотя и внутренне полемизирует с идейной позицией Уэллса, то «Попытка к бегству» Стругацких ассоциируется с яростной повестью Бруно Ясенского «Я жгу Париж».

«Попытка к бегству» не только самое интересное произведение сборника, но и лучшее из всего, что до сих пор написано Стругацкими.

3

Со времен «Машины времени» Г. Уэллса и «Железной пяди» Д. Лондона «зигзаг одичания цивилизаций» стал постоянным сюжетом в фантастике. Очень своеобразно, со множеством новых оттенков, акцентов и небольших открытий этот сюжет продолжает разрабатывать А. Громова в рассказе «Глеги». Громова удалось неназойливо и умно противопоставить очередной «зигзагообразной» ситуации представителей человечества, сумевшего избежать «зигзага». Хорошо продумана композиция этого довольно большого рассказа: описательство и объяснительство, которых не сумел преодолеть в подобном положении даже Д. Лон-

дон, сведены к минимуму. Интересен и свеж образ Виктора. Радует разработанность фантастической темы, довольно сложной и громоздкой самой по себе. И еще — авторский такт, который явно нелегко было соблюдать, описывая эту жутковатую драму.

Рассказ А. Глебова «Большой день на планете Чунгр» читается с удовольствием. Чувствуешь, что автор сам искренне увлечен идеей рассказа и, посмеиваясь, вписывает деталь за деталью в свое полнокровное фантастическое полотно. Цивилизация марсианских муравьев у Глебова выглядит весьма занимательной, в должной мере — странной, где надо — неприятной, где требуется — беззащитной. Да и написан рассказ не ради еще одного «варианта», нет; главная мысль рассказа и очень современна и очень тревожна. В тему о космических контактах цивилизаций Глебов вносит свое уточнение: если не произойдет разоружения, то половина землян — Запад — будет не слишком желательными гостями в мирах иных.

Майор Велл Эндью — еще один вариант Примо Падрели и Вандерхунда в галерее сатирических образов «героев», создаваемых мастером советского фантастического памфлета Л. Лагиным. «Космический Квислинг» выписан Лагиным с обычной его тщательностью и беспощадностью. Сюда же примыкает написанный в лагиновских традициях рассказ Ю. Цветкова «995-й святой».

Рассказ А. Днепров «Подвиг» — неудача талантливого писателя. Написанный невыразительным языком, посвященный не слишком интересной, достаточно сомнительной, да к тому же плохо разработанной автором теме, рассказ получился скучным. Переживания героев кажутся надуманными, их речи — выспренними.

Не удался и С. Илличевскому его рассказ «Исчезло время в Аризоне». Рассказ напоминает некоторые вещи А. Беляева, когда тот переступал незримую границу между фантастом и фантазером, писал «в плохом ключе».

Сборник завершается статьей И. Ефремова, поднимающей важные проблемы жанра*.

Когда закрываешь сборник, остается впечатление свежести, силы, задора. В общем, это цельный сборник, сборник

* В одном из ближайших выпусков альманаха редакция предполагает поместить статью о творчестве известного советского писателя И. Ефремова, в том числе и о ряде его статей, посвященных научной фантастике.

хороших произведений. Уровень нашей фантастики растет стремительно. Давно ли еще спорили, должны или не должны фантасты выходить за пределы науки! А теперь — что ж спорить, вот они, фантасты, взяли и все разом, все восемь авторов сборника, отмахнулись от пределов и пишут, как подсказывает талант. Социально-психологическая, а не научно-техническая тема стала главной темой нашей фантастики. Так и должно было стать, если фантасты намеревались работать в общем русле художественной литературы.

Лабиринт чудес

Есть двери, бесстрастные и молчаливые, за которыми лежит удивительный и сверкающий мир. Ничем неприметная и скромная калитка может скрывать за собой чудеса Альгамбры.

Есть и иные двери, влекущие к себе из глубины пышных порталов, сверкающие зеркалами бронзовых дощечек. За ними иногда не скрывается ничего, кроме скучных и пустых комнат. Возможно, вы никогда и не были здесь, но вас не покидает ощущение, что все это уже где-то когда-то видно, и видно много раз.

Это чувство пустоты, разочарования и обиды всякий раз охватывает вас, когда вы захлопываете только что прочитанную книгу с броским и заманчивым заголовком. Такой заголовок — это палка о двух концах, вещь, как известно, коварная и обманчивая.

Только что перечитав «Повесть об ужасающей жизни великого Гаргантюа, отца Пантагрюэля», вы с тихой благодарной улыбкой погладите ее переплет. Извлекатель квинтэссенции щедро одарил вас за оказанное ему доверие.

Но кто помнит авторов пышных фоллиантов об «ужасающих и достопамятных деяниях» всевозможных Амадисов Галльских, Галлахадов и Ланселотов? Случайно встречая претенциозные названия этого излюбленного юношами среднего и старшего возрастов феодальной эпохи чтива, вряд ли можно сдержатъ усмешку.

Конечно, скромный и серый заголовок не спасет плохую книгу, но пышный только добьет ее. Усмешка читателя —

вот расплата за обманутые ожидания. А какая будет пища для жаждущего крови рецензента!

Перед вами дверь, которую не назовешь ни бесстрашной, ни молчаливой. Скорее напротив, она откровенна и многообещающа. Отполированная медь возвещает, что это «Экипаж «Меконга», книга о новейших фантастических открытиях и старинных происшествиях, о тайнах вещества и о многих приключениях на суше и на море».

Читатель вправе требовать от авторов выполнения взятых ими на себя обязательств. Искушенный же читатель даже с некоторым недоверием перевернет титульный лист. И это недоверие только усилится, когда он прочтет название первой части: «Ртутное сердце». Не слишком ли того... много?

И тут-то начинается удивительная метаморфоза. Читатель забывает не только о недоверии, но даже о том длинном перечне чудес, которые так щедро обещали ему поведать авторы.

Причудливая, невероятная и вместе с тем какая-то осязаемая, почти достоверная выдумка, как нить Ариадны, ведет вас по сложному, почти до самого конца непонятному лабиринту. Именно лабиринту, петляющему в пространстве и времени, можно уподобить фабулу повести молодых бакинских писателей Е. Войскунского и И. Лукодянова.

Прочитана последняя страница, и... лабиринт исчезает. Все становится на свои места. Чудесное превращение свершилось. Авторам удалось провести читателя через все галереи, туннели и коридоры. И читатель ни разу не усомнился, не остановился, чтобы перевести дух. Более того, пробежав заключительные строки эпилога, сейчас же хочется перечитать книгу еще раз. Но пока она не прочитана — это лабиринт, тайна за семью печатями. Поэтому бесцельной была бы попытка коротко изложить основное содержание повести. Можно лишь попытаться передать впечатление, которое она оставляет.

Удивительное начинается сразу же. Оно подстерегает на каждом шагу, прячется за обыденной внешностью как будто бы самых простых вещей. На первых страницах появляется необыкновенный нож, который нельзя схватить, который проходит сквозь тело совершенно бесследно. Но только вы собираетесь узнать тайну клинка-неоощутимки, как он падает в дрожащую солнечными бликами воду

Каспия. А потом проходят как будто бы самые прозаические сцены: маленькая яхта, барахолка, коридоры и лаборатории «НИИТранснефти», где занимаются хотя и интересными, но опять как будто совсем не фантастическими вещами. Действительно, что может скрываться за такой обыденной вещью, как поверхностное натяжение?

И вдруг — неожиданный поворот. Один из героев случайно проваливается в подземелье и обнаруживает труп диверсанта. Фонарик вырывает из тьмы типичное шпионское снаряжение: радио, взрывчатку, пистолет, акваланг и... странный предмет со старинным вензелем отцов-иезуитов. Впрочем, пытаться пересказывать совершенно бесполезно. Это значило бы вконец запутаться среди буддийских статуй, которые скрывают в себе исполнинские лейденские банки, и среди магических фокусов старого мистификатора Жозефа де Местра.

Читатель встречает на страницах повести индийских йогов, которые проходят сквозь стены, и бросающихся под колесницу Джаггернаута париев, иранских контрабандистов и оживающих под ударами молний покойников. Причем все дается с соответствующими аксессуарами, вплоть до ожерелья из черепов на исполнинской шее богини Кали в сумрачном индуистском храме.

Попутно авторы легко и непринужденно сообщают массу самых разнообразных сведений: об оснастке парусных судов и о движении жидкости через жидкость, об ионофореze и об эволюции каретных осей, которая прослеживается от времен кавалера Д'Артаньяна (он тоже, кстати, входит в число действующих лиц повести) до появления первого автомобиля. Такие внезапные отступления как будто рассеивают внимание, дают небольшую передышку от каскадов тайн и чудес. Порой даже трудно определить, какую смысловую нагрузку они несут, как работают на сюжет. Это тоже одна из тайн лабиринта, которая сразу же проявляется, когда книга подходит к концу. Оказывается, все это не случайно, а наоборот, очень нужно, даже подчас единственно необходимо.

Так начинает появляться основной фон, проявляется великая преемственность достижений человеческой цивилизации. Ничто не проходит бесследно. Все так или иначе отзывается в последующих поколениях. Отсюда и берет начало диалектическое русло повести, хитроумно сплетенные воедино противоречия, между которыми кипит не

всегда видимая, но непрекращающаяся и упорная борьба. Тысячи ручейков, сливаясь и расходясь, появляясь и исчезая, дают начало реке, которая становится все шире и полноводнее. Некоторые ручейки юлят, стараются повернуть вспять, задержать бег других, но бесполезно — все они работают на реку.

Флота поручик Федор Матвеев, посланный Петром I с секретным поручением сначала во Францию, а потом на Восток, неожиданно сталкивается с непонятной тайной и также неожиданно, но тем не менее стремительно и необходимо вступает в борьбу с миром насилия и тьмы. Эстафета взята.

Теперь она пойдет от поколения к поколению. Будут меняться люди и века, но борьба останется. Она не затухает и не ослабевает.

И не пестрая, непонятная толпа разноликих и разноязыких людей наполняет повесть. В этой толпе четко прослеживается демаркационная линия, государственная граница, баррикады, огневой рубеж. Это два непримиримых мира. И не важно, что бестелесных йогов сменяют сначала отцы-иезуиты, а потом фашистские диверсанты. Меняются формы — остаются цели.

Михайло Ломоносов ведет борьбу с невеждами и пети-метрами от науки, молодые советские ученые вступают в борьбу с ловко замаскированными научными бюрократами и карьеристами. Иное время, иные методы, но предмет борьбы один и тот же. Тянется нить из глубины веков, питает темные силы. Не иссякает животворный родник, бегущий по камням истории, рождает молодые и неодолимые всходы нового.

И главное в повести — это новые всходы. Замечательные ребята с яхты «Меконг», эти физики-лирики Юрий и Николай, их научный руководитель Привалов, лукавый и упорный Колтухов. Между ними и внешне благообразным кандидатом наук Опрятным, готовым ради карьеры предать любые знамена, оплевать любые святыни, лег огневой рубеж. Это главный движущий конфликт повести, не выдуманный.

Ребята с «Меконга» и опрятныны всегда стояли по разные стороны баррикады. Не всегда это было осознанно и обна-женно. Мы помним годы, когда опрятныны анонимными до-носами прокладывали свой грязный путь к высоким долж-ностям, ученым степеням. После двадцатого съезда они

изменили тактику, замаскировались под энтузиастов и труженников.

В повести ничего не говорится об эволюции опрятных. Опрятин появляется на страницах в современном обличье. Но мысленно мы легко прослеживаем связь, тянущуюся из тьмы веков, и легко восстанавливаем недостающие звенья. Нам не страшны теперь ни Бестелесные, ни иезуиты, но опрятны еще опасны, они притаились. Их внутренняя сущность, отвратительное лицо, скрытое под благородной маской исследователя, предстают перед нами во всей полноте, преломленные сквозь призму веков, освещенные залпами непримиримой исторической борьбы в науке и обществе.

В этой борьбе не может быть ничейной земли, в ней нет нейтральных. И со всей обнаженной болью, беспощадной ясностью встает со страниц повести очень интересный, внутренне противоречивый и трагический образ Бенедиктова, глубоко запутавшегося и исключительно талантливого ученого.

Падение и гибель Бенедиктова — это тоже счет, который мы предъявляем опрятным и тому темному миру, который их породил.

Но солнце редко омрачается тучами в тех водах, где плавают «Меконг». Вокруг него кипит и сверкает мир, полный творческого труда, увлекательных приключений, забавных эпизодов, здорового молодого смеха. Борьба — это не всегда потеря и кровь, это прежде всего ощущение жизни и радость победы.

Сквозь глубины каспийских вод сплошной слитной струей идет нефть, сжатая побежденными силами поверхностного натяжения. Так замкнулся круг от всепроникающего ножа до всепроникающей нефтяной струи. Долгой была эта борьба. Обширно было поле битвы — вся земля и история человечества. Но радостна и неизбежно закономерна победа. Физики-лирики с «Меконга», их учителя, близкие и друзья вырвали одну из многочисленных тайн природы. И нефть идет сквозь стокилометровые водные толщи, идет без всяких труб. И в черном зеркале ее поверхности сверкают искры света, как глаза и улыбки ребят с «Меконга».

Не все главы повести одинаково хороши, не всегда авторам сопутствует чувство меры и хорошего вкуса. Можно спорить по поводу некоторых острот. Местами повесть

чересчур перегружена научно-популярными отступлениями, некоторые из них, как, например, описание хатха- и раджа-йоги, просто примитивны. Отдельные эпизоды неубедительны и не очень-то нужны для раскрытия основного фона, например описание схватки экипажа «Меконга» с контрабандистами здорово смахивает на весьма стандартный и дешевый детектив.

Но в целом эту интересную научно-фантастическую повесть безусловно можно отнести к лучшим образцам научной фантастики последних лет.

ОБ АВТОРАХ НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Е. ВОЙСКУНСКИЙ и И. ЛУКОДЬЯНОВ — бакинцы. Первый из них — писатель, член ССП, второй — инженер-нефтяник. В жанре научной фантастики начали выступать сравнительно недавно. В ряде журналов были напечатаны их научно-фантастические рассказы, а в Детгизе в 1962 году вышла отдельной книгой повесть «Экипаж Меконга».

* * *

А. ДНЕПРОВ — известный писатель-фантаст. Советским читателям хорошо знакомы такие его сборники рассказов и повестей, как «Формула Максвелла», «Мир, в котором я исчез» и другие. А. Днепров — псевдоним А. П. Мицкевича, ученого, кандидата физико-математических наук, написавшего большое число научных работ.

* * *

И. МИРОНОВ — инженер-механик. Печатал научно-популярные статьи и очерки. Публикуемый в нашем сборнике рассказ — первое научно-фантастическое произведение молодого автора.

* * *

Н. РАЗГОВОРОВ — журналист, специальный корреспондент «Литературной газеты». Печатал статьи и очерки в газетах и журналах. Публикуемая в сборнике повесть — первое произведение автора в жанре фантастики.

* * *

В. САФОНОВ — известный советский писатель, популяризатор науки, лауреат Государственной премии, автор таких книг, как «Земля в цвету» и «Гумбольдт».

СОДЕРЖАНИЕ

Е. ВОЙСКУНСКИЙ, И. ЛУКОДЬЯНОВ	
Черный столб	3
Т. Корнев. О повести «Черный столб»	109
А. ДНЕПРОВ	
Разговор с чужой тенью	114
И. МИРОНОВ	
Двое под гамаком	134
А. АЗИМОВ	
Хоровод	150
А. Мицкевич. Роботы — что они могут?	169
Н. РАЗГОВОРОВ	
Четыре четверки	176
В. Парин. Я признателен академику Ару	220
А. КЛАРК	
По ту сторону неба	223
Из солнечного чрева	244
В. САФОНОВ	
Пришествие и гибель собственника	252
О научной фантастике	
С. ЛАРИН	
Пафос современной фантастики	270
В. ТРАВИНСКИЙ	
Раскроем сборник «Фантастика, 1962 год»	280
М. ЕМЦЕВ, Е. ПАРНОВ	
Лабиринт чудес	286

РЕДАКТОР *Г. МАЛНИНА*
ОФОРМЛЕНИЕ ХУДОЖНИКА
А. БРУСИЛОВСКОГО
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Ю. СОБОЛЕВ
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР *Л. АТРОЩЕНКО*
КОРРЕКТОР *Ф. НУСБАУМ*

Сдано в набор 6.VIII 1963 г. Подписано в печать
29.X 1963 г. Изд. № 230. Бумага 84X108/з.
Бум. л. 4,625. Печ. л. 9,25. Условн. печ. л. 15,17.
Учетно-издат. л. 15,18. А 04463. Цена 65 коп.
Тираж 315 000 экз. (1-я завод 165 000). Заказ типо-
графии 02242.

Издательство «Знание». Москва, Центр, Новая пл.,
дом 3/4.

Издательство в комбинат печати «Радянська
Україна», Киев, Анри Барбюса, 51/2.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Присылайте свои отзывы об этой книге и пожелания по адресу: Москва, Новая площадь, 3/4, издательство «Знание».

В издательстве «ЗНАНИЕ»
выходят в свет следующие научно-
фантастические книги:

1. С. Лем. *«Формула Лимфатера»*.
2. Сборник *«Новая сигнальная»*.
3. Сборник *«Фантастика Рея Бредбери»*.
4. Емцев, Е. Парнов. *«Падение сверхновой»*.
5. Е. Войскунский, И. Лукодянов. *«На перекрестках времени»*.

Цена 65 коп.

